МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Русская сатира и юмор второй половины XIX– начала XX в.



МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Русская сатира и юмор второй половины XIX — начала XX в.



Москва
«Художественная литература»
1988

ББК 84 Р1
М 47

Классики и современники

Русская классическая литература



Составление,
вступительная статья и примечания
ФЕЛИКСА КРИВИНА

Рецензенты
О. МИХАЙЛОВ, З. ПАПЕРНЫЙ

Художник
В. КОНОПКИН

М $\frac{4702010100-136}{028(01)-88}$ 20-88

ISBN 5-280-00026-4

© Составление, вступительная статья, примечания, оформление. Издательство «Художественная литература», 1988 г.

ДОЛЯ ШУТКИ — ДОЛЯ ПРАВДЫ

...и смешная же она, Русь-то, не глядя на весь трагизм ее жизни.

М. Горький

У каждой шутки доля правды — такая же, как у правды, нелегкая судьба. У каждой, которая связывает свою судьбу с правдой.

Зачем?

Зачем ей, беспечной дочери вымысла, брать на себя чужие заботы? Зачем связываться с правдой, которая зачастую не приносит радости — ей, приносящей всем только радость?

Правду хотя и уважают, но многие недолюбливают. А шутку любят все, хотя особого уважения к ней не питают.

Вот тут-то и соединяются любовь и уважение, которыми издавна пользуется юмористическая и сатирическая литература. Если больше шутки — юмористическая, если больше правды — сатирическая...

Две неравные части, две равные участи. Две доли в разных значениях: доля-часть, вырастающая в долю-участь.

И тут не забыть бы еще одно родственное слово: участие. Участие — со-действие и участие — со-чувствие.

Не только сочувствие правде, но и содействие правде — вот что поднимает шутку на немыслимую для нее высоту и определяет в конце концов ее участь.

Шутка — любимица общества и держится в нем легко и непринужденно, а правда — что слон в посудной лавке: куда ни повернется, всюду что-то летит. Вот почему она часто появляется в сопровождении шутки.

Шутка идет впереди, показывая слону дорогу, чтобы он не разнес всю лавку, иначе и говорить будет не о чем. Осторожно! Вот сюда можно ступить... А сюда нельзя, здесь все шутки кончаются!

Там, где шутки кончаются, правде рискованно появляться

даже в сопровождении шутки. Ее не поймут. Вернее, поймут, но не там, где должны понять, а значительно раньше. И высадят из поезда, не дав доехать до конечного пункта.

Чтобы этого не произошло, шутка наряжает правду в фантастические одежды, будто они явились на маскарад. Жизнь действительно нередко похожа на маскарад: пороки разгуливают в масках добродетелей — вот и приходится правде, чтобы их развенчать, самой надеть маску... Точнее — сказку... «Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался. И стала вобла жить да поживать».

Вот, казалось бы, сказка, шутка, а какая правда за ней стоит! Конечно, вывяленными мозгами до нее не додуматься, но если мозги здоровые, нормальные, тогда все понятно.

Чехов восхищался смелостью сказок Щедрина. Сатиру всегда ценили за смелость. Иногда за одно это достоинство прощали недостаток таланта и мастерства. И если бы в один прекрасный день смелость сатире вдруг не понадобилась, многие бы в ней разочаровались, не зная, за что ее можно любить.

Впрочем, такие времена никогда не настанут. Сатире смелость будет нужна всегда — чтобы не бить лежачего, за что осуждал ее еще Добролюбов, а критиковать тех, кто стоит, и не просто стоит, а стоит у власти.

В сказках Салтыкова-Щедрина правда и шутка существуют как бы отдельно друг от друга: правда отступает на второй план, в подтекст, а шутка остается полновластной хозяйкой в тексте. Но она не хозяйка. Она делает лишь то, что ей правда подсказывает. И прикрывает она собой правду так, чтоб ее, правду, можно было лучше увидеть.

Заслонить так, чтоб можно было лучше увидеть,— в этом и состоит прием аллегории. Скрыть, чтобы выпятить. Затушевать, чтобы подчеркнуть.

Такая это математика: шутку пишем, правда в уме. Поэтому сказка, что бы в ней ни было напридумано, не фантастическая, а вполне реалистическая литература.

У Чехова шутка сливается с правдой, растворяет ее в себе или сама в ней растворяется. Когда шутка растворяет в себе правду, хочется больше смеяться, а когда она сама в правде растворяется, становится грустно, смеяться уже не хочется, хотя нам вроде бы рассказывают смешное. Это у нас пошло

еще от Акакия Акакиевича: вроде бы смешной человек и все над ним у Гоголя в повести смеются, а нам почему-то смеяться не хочется. И смешно — а смеяться не хочется.

В рассказах раннего Чехова, во многих рассказах Аверченко, Тэффи, Бухова правда растворяется в шутке до того, что над ней уже можно не задумываться. Поэтому эти рассказы такие смешные: смеешься ведь тем больше, чем меньше задумываешься.

А в рассказах зрелого Чехова шутка растворяется в правде и становится почти совсем незаметной. Попробуйте посмеяться над рассказами «Ванька» или «Тоска». Если у вас получится, плохо ваше дело!

Алексей Константинович Толстой, автор исторических трагедий, баллад, а также исторического романа «Князь Серебряный», написал и шуточную «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева» — от новгородского посадника девятого века до министра внутренних дел второй половины девятнадцатого. Он довел свою историю до 1868 года, до того самого года, когда бывший начальник и управляющий Третьим отделением был назначен на пост министра внутренних дел (мог ли древний посадник предположить, что история, начатая им, совершит такую головокружительную карьеру?).

Татарское иго автор шуточной истории благополучно прошел, Ивана Грозного прошел, а тут остановился:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

Он не зря употребил местоимение «мы»: умалчивал он не без посторонней помощи. Его шуточная «История» была напечатана только через пятнадцать лет — через восемь лет после смерти автора.

История — дело нешуточное.

Призыв умалчивать о том, что близко, не был, однако, поддержан современниками, и уже год спустя после написания «Истории государства Российского...» Салтыков-Щедрин пишет «Историю одного города», повествующую как раз о том, что близко. («Мне нет никакого дела до истории, я имею в виду лишь настоящее»,— писал по этому поводу сам Щедрин.)

А. К. Толстой тоже не умалчивал о настоящем, о чем ярко свидетельствует его сатира «Сон Попова», напечатанная через семь лет после смерти автора.

А все его трагедии были опубликованы при жизни.

В литературе трагедиям всегда везло больше, чем шуткам. То, что для трагедии было шуткой, для шутки нередко становилось трагедией.

Потому что за шуткой стояла правда. Не историческая, а современная. А за трагедией — только историческая. Да и то не всегда.

Знаменитый Козьма Прутков, одновременно и автор, и сатирический персонаж, созданный фантазией А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых, имел единомышленника и собрата по духу — генерала Дитятина.

Генерал Дитятин тоже сочинял, но предпочитал устное творчество. Он сочинял экспромты — тосты, юбилейные поздравления, а также речи, сказанные при различных событиях,— например, при освящении танцевальной залы в дирекции императорских театров. Некоторые его слова, как и слова Козьмы Пруткова, стали крылатыми: «Солдат создан не для войны, а для караульной службы», «В России всякое движение начинается с левой ноги, но с равнением направо»...

Сочинил эти слова, как и самого генерала Дитятина, автор и исполнитель устных рассказов Иван Федорович Горбунов. Многие его рассказы до нас не дошли, но отдельные крылатые фразы долетели: «Ндраву моему не препятствуй», «От хорошей жизни не полетишь»... Или вот это... На уроке истории учитель диктует: «История мидян... история... мидян... точка и подчеркнуть. С новой строки: введение в историю мидян... Точка и подчеркнуть. С красной строки: история мидян... история мидян... темна и непонятна... темна и не-по-нятна. С красной строки: конец истории мидян. Точка и подчеркнуть». Вся эта история сохранилась только в одном крылатом выражении: «История мидян темна и непонятна».

Юмор помогает словам обрести крылья. Из нескольких сценок Горбунова крылатых слов до нас дошло больше, чем из всех романов Гончарова, а из произведений Салтыкова-Щедрина — больше, чем из произведений Тургенева, Достоевского, Льва Толстого вместе взятых. И какие это крылатые слова! «Головотяпы», «пенкосниматели», «государственные младенцы»,— каждое — законченное художественное произведение.

Приезжий Сельдяев в одноименном рассказе Аверченко, когда ему показывают Петербург, остается равнодушен к самым невероятным столичным историям, но оживляется, лишь речь заходит о его родном Армавире.

Провинция!

Ярославский вице-губернатор никак не мог понять, в чем состоят заслуги педагога Ушинского. Почему о нем нужно писать в газете? Но услыхав, что Ушинский начинал свою деятельность в Ярославле, вице-губернатор вздохнул с облегчением: с этого нужно было начинать!

Именно с этого нужно начинать, когда говоришь с псковским вице-губернатором о Пушкине, с тульским — о Толстом, с архангельским — о Ломоносове.

Провинция!

Провинция гордится только своим, а все остальное оставляет без внимания. Это ей помогает не падать в своих глазах. Но есть и у нее свои трудности. То, что трудно в столице, в провинции трудно вдвойне. Например, указ 1865 года, отменивший предварительную цензуру в Петербурге и Москве, сохранил ее в провинции. И цензура эта дважды запрещала сборники стихов земляка ярославского вице-губернатора замечательного поэта Леонида Николаевича Трефолева. Разговор вице-губернатора об Ушинском — это с ним, с Трефолевым, разговор.

Нигде на человека не нагоняется столько страха, как в провинции. «Мир поэзии не тесен, но в кутузке очень тесно»,— так здесь формулируется свобода творчества.

Тесно было в кутузке, тесно было в провинции, хотя провинция намного шире, чем столица. Но столичных поэтов не называли ни московскими, ни петербургскими, а Трефолев даже после смерти остался «ярославским поэтом», с трудом пробиваясь в литературу из своей географии, между тем как песня его «Когда я на почте служил ямщиком» гуляла по всей России.

Идут шутка с правдой рука об руку, деля одну судьбу на двоих, и уже, глядишь, шутка тоже у кого-то вызывает неодобрение, иногда даже большее, чем сама правда. Потому что не каждому видно, какая правда за ней стоит, а когда не видно, предполагаешь самое худшее.

После покушения Каракозова на царя в числе прочих опасных лиц были арестованы два поэта-сатирика: Василий Курочкин и Дмитрий Минаев. Они уже и раньше находились под присмотром полиции, а после выстрела Каракозова на два месяца были заключены в Петропавловскую крепость.

Так редакция сатирического журнала «Искра» частично переместилась в Петропавловскую крепость, но работу не прекратила. И редактор журнала Курочкин тут же, в крепости, в эпиграмме на председателя следственной комиссии Муравьева недоумевал: «Сто человек ты запер в казематы. И мало все

тебе, все мрачен, как чума ты!» На что Муравьев — тут же, в эпиграмме,— ему отвечает, что он заморил бы и сто тысяч в крепости, если б Каракозов не промахнулся.

И не поймешь: то ли радуется жандарм, что Каракозов промахнулся, то ли сожалеет, что не удалось заморить сто тысяч в крепости. Поди догадайся, какая правда за этой шуткой стоит.

Но логика жандарма понятна: литература воздействует на читателей, читатели стреляют в царя. И хочется заморить всех — и тех, кто действует, и тех, кто воздействует.

«Из событий, явлений и веяний, особенно сильно повлиявших на меня... я должен упомянуть встречу с Вл. Соловьевым...» — пишет Блок в «Автобиографии».

Нет, они не разговаривали. Блок видел Соловьева издали, совсем недолго, несколько минут. Но осталась в его памяти длинная фигура, стальная грива, долгий сине-серый взгляд...

Больше Блок с ним не виделся, но и не расставался. С его стихами, статьями, с единственным этим воспоминанием.

Он называл Соловьева своим учителем.

Владимир Соловьев, поэт и философ, открыто выразивший сочувствие осужденным на казнь участникам убийства Александра Второго, приковал к себе внимание не одного Блока. Достоевский писал с него Алешу, а по другому свидетельству — Ивана Карамазова. Какой же была эта личность, вместившая две такие несовместимости!

Он был прекрасный лирический поэт...

Дождались меня белые ночи
Над простором густых островов...
Снова смотрят знакомые очи,
И мелькает былое без слов...—

...но не чуждался юмора и даже сатиры:

Уж мальчики, резвясь, бросают к черту книжки,
Пример с городовых берут профессора.
Под розгою в руках у земского ярыжки,
Довольный участью, холоп кричит: ура!

Алексей и Иван, задушевность и насмешка, два полюса, соединенные в одном, носящем имя Владимира Соловьева.

Полюса для того и существуют — для соединения. Что стоит радость без грусти, вера без сомнения, сила без доброты?

В письмах Чехова к разным лицам то и дело встречается упоминание о Билибине: «Познакомился с Билибиным...», «Познакомьтесь с Билибиным...», «Здоров ли Билибин?», «Что поде-

лывает Билибин?». И опять: «Что поделывает Билибин?» И наконец: «Авось мы с Билибиным золотых медальонов дождемся».

Виктор Викторович Билибин, тихий, молчаливый чиновник управления почт и телеграфа, в свободное от этой работы время редактировал юмористический журнал. Это он-то, «вялый и скучный», по характеристике Чехова, «немножко сухарь и немножко чиновник», но — опять же по характеристике Чехова — «большой талант», «остроумнейший», «неиссякаемый»...

Чехов его любил и даже кое-что написал с ним в соавторстве. Он не раз рекомендовал Билибина друзьям как очень порядочного, заслуживающего полного доверия человека.

Билибин был правой рукой самого Лейкина.

Это сейчас Николай Александрович Лейкин полузабытый писатель, а в то время он был очень популярным и читаемым. По статистике самарского фельетониста Иегудиила Хламиды (М. Горького), среди самарских канцеляристов Лейкина читали в два раза больше, чем Тургенева, почти в два раза больше, чем Чехова. Молодой Чехов в письме к брату ссылался на авторитет «самого Лейкина».

Билибин, помогавший Лейкину редактировать журнал, волей случая оказался в центре юмористической журналистики: он родился в год рождения журнала «Искра», умер в год рождения журнала «Сатирикон», а всю остальную жизнь посвятил журналу «Осколки».

Журнал «Осколки» не был таким острым, как «Искра», не был таким смешным, как «Сатирикон».

Но он дал миру Чехова.

А Билибина он не дал. «Талант у него большой,— писал Чехов,— но знания жизни ни на грош, а где нет знания, нет и смелости».

Опять эта смелость! Никак без нее в сатире не обойтись. Она должна быть смелой — шутка, которая скрывает за собой и одновременно открывает читателям — правду.

Она должна быть смелой. И острой. Не зря Аркадий Аверченко начинал свою литературную деятельность «Штыком» и «Мечом» — так назывались журналы, которые он редактировал, а точнее — писал, вырабатывая стиль будущего знаменитого юмориста.

Он наточил ш т ы к и м е ч для главного дела своей жизни. Он создал журнал в себе, а себя — в журнале. И дал ему имя: «Сатирикон».

В трудные для России годы реакции журнал был на стороне России, а не реакции. Но пресловутая «свобода печати»,

которую называли то «свободой от печати», то «свободой пищати», все свои силы обрушила на этот журнал, единственный сатирический журнал, уцелевший в годы реакции.

И он постепенно отступал — то ли под напором реакции, то ли под напором собственного головокружительного успеха, который требовал от него смеха, одного только смеха — и больше ничего. И по мере того, как мельчали объекты его сатиры, мельчала и она сама, отходя на удобные позиции безопасного, бездумного юмора.

На смену «Сатирикону» пришел «Новый Сатирикон», но новое это было старее, чем старое. Юмор быстро стареет, когда его покидает мысль.

А по возрасту они были все молодые. И самый старший сатириконец был самым молодым...

Потому что был этот сатириконец женщиной.

Теперь, по прошествии более чем ста лет, уже можно сказать, что Надежда Александровна Тэффи (Бучинская) родилась в 1876 году и была на пять лет старше самого редактора — Аркадия Аверченко. По примеру своей сестры, известной поэтессы Мирры Лохвицкой, она начинала со стихов, но потом перешла на прозу — хотя женщины, как показывает опыт, обычно не переходят на прозу: лета, которые, по выражению Пушкина, к смиренной прозе клонят, не имеют власти над женщинами.

Родившись за двадцать четыре года до двадцатого столетия, она умерла за двадцать четыре года до собственного столетия и пережила всех сатириконцев, хотя они были моложе ее.

Может быть, потому, что смеялась она не так громко.

Юмор Тэффи — думающий, сострадающий, а иногда и страдающий, чего почти нет у Аверченко периода его расцвета, когда его называли королем юмора.

Король смеялся. Это он потом загрустил. Когда потерял и успех, и славу, и родину...

И это было — как нож в спину. Дюжина ножей.

Названия его книг — словно вехи на его жизненном пути: «Веселые устрицы» — «Зайчики на стене» — «Позолоченные пилюли» — «Сорные травы» — «Волчьи ямы» — «Кипящий котел» — «Отдых на крапиве» — «Рассказы циника»...

И еще очень много книг. И много журналов. А всей жизни — сорок четыре года.

Возраст Чехова.

Тэффи сказала о нем: «Он русский чистокровный юморист, без надрыва и смеха сквозь слезы. Место его в русской литературе свое собственное, я бы сказала — единственного русского юмориста».

Гоголь и Чехов не были русскими юмористами. Они были русскими писателями.

Самый молодой из сатириконцев, Аркадий Бухов, родившийся в год смерти Салтыкова-Щедрина и Минаева и, словно спеша заменить их обоих, писавший и смешную прозу, и смешные стихи,— однажды в своем рассказе сказал: «Каждый смеется, как может. Особенно когда ему хочется плакать».

Ах, жизнь полна суровости,
Заплачешь над судьбой:
Единственные новости —
Парад и мордобой.

Поэт, пришедший к этому смешному и грустному выводу, был до того скромен, что даже стеснялся быть собой, а потому нацепил на себя маску распоясавшегося, наглого обывателя. Вместо того, чтобы держать объект сатиры на расстоянии, соорудить из него какого-нибудь Козьму Пруткова или генерала Дитятина, он нацепил его маску на самого себя. Он вложил в него не чужую, не придуманную, а свою собственную душу. В сатирический образ — собственную душу!

Он смеялся над тем, чего следовало бояться. И смеялся тогда, когда было совсем не смешно. А когда было смешно — не смеялся.

Он ушел из «Сатирикона», который не решался больше смеяться над несмешным, предпочитая смеяться над смешным,— что подходит юмору, но никак не сатире. Задача сатиры — несмешное делать смешным. Даже страшное делать смешным.

Вероятно, он и тут не был собой, потому что совсем не боялся страшного.

И когда он ушел на войну — маленький, тщедушный, самый невоенный из всех сатириков, может быть, за все времена,— причем ушел добровольцем,— разве он был собой? Он был солдатом, героем — но только не собой.

Потом, в эмиграции, вдали от себя, потому что себя он оставил в России, он, конечно, не был собой. Там, вдали от себя, он вспоминал свою жизнь, свою литературную работу. Она начиналась в Житомире, где его выгнали из гимназии и приютили в плохой провинциальной газете, которая платила своим сотрудникам не деньгами, а контрамарками в плохой провинциальный театр. Ему всю жизнь платили чем-то не тем, словно не ему, а кому-то другому. Потому что он стеснялся быть собой.

Он жил в эмиграции, оставаясь при этом в России. И однажды, проходя по чужой, заграничной улице, он бросился тушить чужой, заграничный пожар. Разве он был пожарни-

ком? Он был всего лишь случайный прохожий. Но он помог погасить пожар.

А потом пришел домой и умер.

Не дома, конечно, потому что жил он в чужой стране.

Но умер он по-настоящему.

Его звали Саша Черный. Кто-то мог бы подумать, что он и тут не был собой, потому что это был его псевдоним, а настоящее имя — Александр Михайлович Гликберг. Но все знали его как Сашу Черного. И только под этим именем он мог быть собой. И русская девочка в нерусской стране спросила у писателя Куприна: «Это правда, что больше нет моего Саши Черного?»

Но Куприн ей ответил, что ее Саша Черный есть, потому что человек умирает, как умирают листья на дереве. А само дерево остается, и Саша Черный будет еще долго жить, потому что сделанное им сделано навсегда и овеяно юмором, который сам по себе бессмертен.

Бессмертен юмор. И тем бессмертней, чем трудней и смертельней времена, чем неблагоприятней они для юмора.

А они бывали весьма неблагоприятными. Потому что доля шутки — доля правды.

И бывало шутке трудно, и бывало невесело. Как правде.

И запрещали ее, и гнали, и преследовали. Как правду.

И отправляли в ссылку, и заточали в крепость. Как правду.

И притесняли, третировали, зажимали ей рот.

Времена ведь как люди: они любят посмеяться над другими временами, но не терпят смеха над собой. Время Щедрина охотно смеялось над временем Гоголя, время Чехова — над временем Щедрина. И даже заявляло, что ему нужны Щедрины. Не Чеховы, не Аверченки, а именно Щедрины.

И оно их имело. Потому что и Гоголь, и Чехов, и Щедрин смеются и над грядущими временами. Какое время ни наступит, сатирики прошлого смеются и над ним.

Вот почему юмор бессмертен.

Когда у старика Демокрита спросили, как он понимает истину, он ответил коротко:

— Я смеюсь.

Феликс Кривин

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

(Отрывок)

...Ах, эти мелочи! Как чесоточный зудень, впиваются они в организм человека, и точат, и жгут его. Сколько всевозможных «союзов» опутало человека со всех сторон; сколько каждый индивидуум ухитряется придумать лично для себя всяких стеснений! И всему этому, и пришедшему извне, и придуманному ради удовлетворения личной мнительности, он обязывается послужить, то есть отдать всю свою жизнь. Нет места для работы здоровой мысли, нет свободной минуты для плодотворного труда! Мелочи, мелочи, мелочи — заполонили всю жизнь.

Возьмем для примера хоть страх завтрашнего дня. Сколько постыдного заключается в этой трехсловной мелочи! Каким образом она могла въесться в существование человека, существа по преимуществу предусмотрительного, обладающего зиждительною силою? Что придавило его? что заставило так безусловно подчиниться простой и постыдной мелочи?

Встречаете на улице приятеля и видите, что он задумчив и угнетен.

— Что так задумались?

— Да как-то не по себе... Боюсь.

— Боитесь? чего же?

— Да завтрашнего дня. Все думается: что-то завтра будет! Не то боязнь, не то раздраженье чувствуешь... смутное что-то. Стараюсь вникнуть, но до сих пор еще не разобрался. Точно находишься в обществе, в котором собравшиеся все разбрелись по углам и шушукаются, а ты сидишь один у стола и пересматриваешь лежащие на нем и давно надоевшие альбомы... Вот это какое ощущение!

— Ах, пустяки какие!

— Пустяки — это верно. Но в том-то и сила, что одолели нас эти пустяки. Плывут со всех сторон, впиваются, рвут сердце на части.

— Но что же может быть завтра такого страшного?

— То-то, что ничего не известно. Будет — не будет, будет — не будет? — только на эту тему и работает го-

лова. Слышишь шепоты, далекое урчанье, а ясного — ничего.

— Все-таки я не вижу, что же тут общего с завтрашним днем?

— И завтра, и сегодня, и сейчас, сию минуту,— разве это не все равно? Голова заполонена; кругом — пустота, неизвестность или нелепая и разноречивая болтовня: опускаются руки, и сам незаметно погружаешься в омут шепотов или нелепой болтовни... Вот это-то и омерзительно.

И действительно, кругом слышатся только шепоты да гул какой-то загадочной работы при замкнутых дверях. Поневоле вспомнятся стихи Пушкина:

Смутно всюду, темно всюду.
Быть тут чуду! Быть тут чуду!

Только не «чудо» является в результате, а простой изнуряющий вздор.

Возьмем теперь другой пример: образование. Не о высшей культуре идет здесь речь, а просто о школе. Школа приготовляет человека к восприятию знания; она дает ему основные элементы его. Это достаточно указывает, какая тесная связь существует между школой и знанием.

Известно и даже за аксиому всеми принято, что знание освещает не только того, кто непосредственно его воспринимает, но, через посредство школы, распространяет лучистый свет и на темные массы. Известно также, что люди одаряются от природы различными способностями и различною степенью восприимчивости; что ежели практически и трудно провести эту последнюю истину во всем ее объеме, то, во всяком случае, непростительно не принимать ее в соображение. Наконец, признано всеми, что насильственно суживать пределы знания вредно, а еще вреднее наполнять содержание его всякими случайными примесями.

Посмотрим же, в какой мере применяются эти истины к школьному делу.

Прежде всего, над всей школой тяготеет нивелирующая рука циркуляра. Определяются во всей подробности не только пределы и содержание знания, но и число годовых часов, посвящаемых каждой отрасли его. Не стремление к распространению знания стоит на первом плане, а глухая боязнь этого распространения. О характеристических особенностях учащихся забыто

вовсе: все предполагаются скроенными по одной мерке, для всех преподается один и тот же обязательный масштаб. Переводный или непереводный балл — вот единственное мерило для оценки, причем не берется в соображение, насколько в этом балле принимает участие слепая случайность. О личности педагога тоже забыто. Он не может ни остановиться лишних пять минут на таком эпизоде знания, который признает важным, ни посвятить пять минут меньше такому эпизоду, который представляется ему недостаточно важным или преждевременным. Он обязывается выполнить букву циркуляра — и больше ничего.

Но, в таком случае, для чего же не прибегнуть к помощи телефона? Набрать бы в центре отборных и вполне подходящих к уровню современных требований педагогов, которые и распространяли бы по телефону свет знания по лицу вселенной, а на местах содержать только туторов, которые наблюдали бы, чтобы ученики не повесничали...

Мало того: при самом входе в школу о всяком жаждущем знания наводится справка.

Дворянин или мещанин?

Какого вероисповедания: православный, католик или, наконец, еврей?

Для последних, в особенности, школа — время тяжкого и жгучего испытания. С юношеских лет еврей воспитывает в себе сердечную боль, проходит все степени неправды, унижения и рабства. Что же может выработаться из него в будущем?

Нет ни общей для всех справедливости, ни признания человеческой личности, ни живого слова. Ничего, кроме задачника Буренина и Малинина и учебников грамматики всевозможных сортов.

Что может дать такая школа? Что, кроме tabula rasa[1] *и особенной болезни, к которой следует применить специальное наименование «школьного худосочия»?*

Сонливые и бессильные высыплют массы юношей и юниц из школ на арену жизни, сонливо отбудут жизненную повинность и сонливо же сойдут в преждевременные могилы.

А вот и третий пример. Представьте себе, что студент Хорьков женился на Липочке Большовой (извест-

---

[1] чистой доски *(лат.)*.

ные лица из комедий Островского). Липочка вышла замуж, потому что случайно отдалась Хорькову и надо же «прикрыть грех»; Хорьков женился, потому что принял Липочкину наглость за «святую простоту». При этом, само собой разумеется, старик Большов надул Хорькова и не дал за Липочкой никакого приданого, кроме тряпок. И вот они невдолге опознали друг друга. Липочка уверилась, что Хорьков не в состоянии дарить ей трепрашельчатых платьев; Хорьков убедился, что мечты его о «святой простоте», при первом же столкновении с действительностью, разбились в прах.

Что может выйти из этого сожития? Что, кроме клетки, в которой сидят два зверя, прикованные каждый к своему углу и готовые растерзать друг друга при первой возможности?

И, наконец, четвертый пример. Перед вами человек вполне независимый, обеспеченный и культурный. Он мог бы жить совершенно свободно, удовлетворяя потребностям своей развитости. Но его так и подмывает отдать себя в рабство. Он чует своим извращенным умом, что есть где-то лестница, которая ведет к почестям и власти. И вот он взбирается на нее. Скользит, оступается и летит стремглав назад. Это, однако ж, не останавливает его. Он вновь начинает взбираться, медленно, мучительно, ступень за ступенью, и наконец успевает прийти к цели. Тут его встречают щелчки за щелчками, потому что он чуженин в этой среде, чужого поля ягода. Тем не менее руководители среды очень хорошо понимают, что от этого чуженина отделаться не легко, что он упорен и не уйдет назад с одними щелчками. Его наконец пристроивают, дают приют и мало-помалу привыкают звать «своим». В ответ на это вынужденное радушие он ходко впрягается в плуг и начинает работать с ревностью прозелита. Идеалы, свобода, порывы души — все забыто, все принесено в жертву рабству. А через короткое время в результате получается заправский раб, в котором все сгнило, кроме гнуткой спины и лгущего языка во рту.

Довольно ли этих примеров?

Я не знаю, как отнесется читатель к написанному выше, но что касается до меня, то при одной мысли о «мелочах жизни» сердце мое болит невыносимо.

Несомненно, что весь этот угар, эта разнокалиберная фантасмагория устранится сама собой; но спрашивается: сколько увлекут за собой жертв одни усилия, направленные с целью этого устранения?

Мне скажут, быть может, что я смешал в одну кучу «мелочи» совсем различных категорий: Баттенберговы приключения со школою и т. д. Я и сам понимаю, что, в существе, это явления вполне разнородные, но и за всем тем не могу не признать хотя косвенной, но очень тесной связи между ними. Дело в том, что Баттенберговы проказы не сами по себе важны, а потому, что, несмотря на свое ничтожество, заслоняют те горькие «мелочи», которые заправским образом отравляют жизнь. Под шум всевозможных совещаний, концертов, тостов и других политических сюрпризов прекращается русловое течение жизни, и вся она уходит внутрь, но не для работы самоусовершенствования, а для того, чтобы переполниться внутренними болями. И умственный, и материальный уровень страны несомненно понижается; исчезает предусмотрительность; разрывается связь между людьми, и вместо всего на арену появляется существование в одиночку и страх перед завтрашним днем. Все это, конечно, равносильно доброй войне.

Войну клянут; собирают митинги, пишут трактаты об устранении поводов к ней или о замене ее другим судом, менее бесчеловечным. Но забывают, что прелиминарии войны гораздо мучительнее, нежели самая война. Война открывает доступ самым дурным страстям (одни подрядчики и казнокрады чего стоят!); она изнуряет страну материально; прелиминарии к войне производят в стране умственное и нравственное разложение, погружают ее в мрак ничтожества. Все дурное, неправое и безнравственное назревает под влиянием смуты, заставляющей общество метаться из стороны в сторону без руководящей цели, без всякого сознания сущности этих беспорядочных метаний.

Общество, не знающее иного содержания, кроме сплетен и насильственно созданных пут, может быть способно лишь к прозябанию. Спрашивается, однако ж: возможно ли бессрочное прозябание и не должно ли оно постепенно перейти в гниение?

Признаюсь откровенно, как ни мучителен для меня утвердительный ответ, но я вынужден сказать: да, прозябание не бессрочно...

А. К. ТОЛСТОЙ

<ВЕЛИКОДУШИЕ СМЯГЧАЕТ СЕРДЦА>

Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Деларю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю».
Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал,
А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»
Тогда злодей, к нему зашедши справа,
Его пронзил,
А Деларю с улыбкою лукавой
Лишь погрозил.
Истыкал тут злодей ему, пронзая,
Все телеса,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа».
Злодей пал ниц и, слез проливши много,
Дрожал как лист,
А Деларю: «Ах, встаньте, ради бога!
Здесь пол нечист».
Но все у ног его в сердечной муке
Злодей рыдал,
А Деларю сказал, расставя руки:
«Не ожидал!
Возможно ль? Как?! Рыдать с такою силой? —
По пустякам?
Я вам аренду выхлопочу, милый,—
Аренду вам!
Через плечо дадут вам Станислава
Другим в пример.
Я дать совет царю имею право:
Я камергер!
Хотите дочь мою просватать, Дуню?
А я за то

Кредитными билетами отслюню
    Вам тысяч сто.
А вот пока вам мой портрет на память —
    Приязни в знак.
Я не успел его еще обрамить —
    Примите так!»
Тут едок стал и даже горче перца
    Злодея вид.
Добра за зло испорченное сердце —
    Ах! не простит.
Высокий дух посредственность тревожит,
    Тьме страшен свет.
Портрет еще простить убийца может,
    Аренду ж — нет.
Зажглась в злодее зависти отрава
    Так горячо,
Что, лишь надел мерзавец Станислава
    Через плечо,—
Он окунул со злобою безбожной
    Кинжал свой в яд 6
И, к Деларю подкравшись осторожно,—
    Хвать друга в зад!
Тот на пол лег, не в силах в страшных болях
    На кресло сесть.
Меж тем злодей, отняв на антресолях
    У Дуни честь,—
Бежал в Тамбов, где был, как губернатор,
    Весьма любим.
Потом в Москве, как ревностный сенатор,
    Был всеми чтим.
Потом он членом сделался совета
    В короткий срок...
Какой пример для нас являет это,
    Какой урок!

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО ОТ ГОСТОМЫСЛА ДО ТИМАШЕВА

Вся земля наша велика и обилна, а наряда в ней нет.

Нестор, летопись, стр. 8

1

Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.

2

А эту правду, детки,
За тысячу уж лет
Смекнули наши предки:
Порядка-де, вишь, нет.

3

И стали все под стягом,
И молвят: «Как нам быть?
Давай пошлем к варягам:
Пускай придут княжить.

4

Ведь немцы тороваты,
Им ведом мрак и свет,
Земля ж у нас богата,
Порядка в ней лишь нет».

5

Посланцы скорым шагом
Отправились туда
И говорят варягам:
«Придите, господа!

6

Мы вам отсыплем злата,
Что киевских конфет;
Земля у нас богата,
Порядка в ней лишь нет».

7

Варягам стало жутко,
Но думают: «Что ж тут?
Попытка ведь не шутка —
Пойдем, коли зовут!»

8

И вот пришли три брата,
Варяги средних лет,
Глядят — земля богата,
Порядка ж вовсе нет.

9

«Ну,— думают,— команда!
Здесь ногу сломит черт,
Es ist ja eine Schande,
Wir müssen wieder fort» [1].

10

Но братец старший Рюрик
«Постой,— сказал другим,—
Fortgeh'n wär'ungebürlich,
Vielleicht ist's nicht so schlimm [2].

11

Хоть вшивая команда,
Почти одна лишь шваль;
Wir bringen's schon zustande,
Versuchen wir einmal» [3].

12

И стал княжить он сильно,
Княжил семнадцать лет,
Земля была обильна,
Порядка ж нет как нет!

---

[1] ведь это позор — мы должны убраться прочь *(нем.)*.

[2] уйти было бы неприлично, может быть, это не так уж плохо *(нем.)*.

[3] мы справимся, давайте попробуем *(нем.)*.

13

За ним княжил князь Игорь,
А правил им Олег,
Das war ein großer Krieger [1]
И умный человек.

14

Потом княжила Ольга,
А после Святослав;
So ging die Reihenfolge [2]
Языческих держав.

15

Когда ж вступил Владимир
На свой отцовский трон,
Da endigte für immer
Die alte Religion [3].

16

Он вдруг сказал народу:
«Ведь наши боги дрянь,
Пойдем креститься в воду!»
И сделал нам Иордань.

17

«Перун уж очень гадок!
Когда его спихнем,
Увидите, порядок
Какой мы заведем!»

18

Послал он за попами
В Афины и Царьград,
Попы пришли толпами,
Крестятся и кадят,

---

[1] это был великий воин *(нем.)*.
[2] такова была последовательность *(нем.)*.
[3] тогда пришел конец старой религии *(нем.)*.

19

Поют себе умильно
И полнят свой кисет;
Земля, как есть, обильна,
Порядка только нет.

20

Умре Владимир с горя,
Порядка не создав.
За ним княжить стал вскоре
Великий Ярослав.

21

Оно, пожалуй, с этим
Порядок бы и был;
Но из любви он к детям
Всю землю разделил.

22

Плоха была услуга,
А дети, видя то,
Давай тузить друг друга:
Кто как и чем во что!

23

Узнали то татары:
«Ну,— думают,— не трусь!»
Надели шаровары,
Приехали на Русь.

24

«От вашего, мол, спора
Земля пошла вверх дном,
Постойте ж, мы вам скоро
Порядок заведем».

25

Кричат: «Давайте дани!»
(Хоть вон святых неси.)
Тут много всякой дряни
Настало на Руси.

26

Что день, то брат на брата
В орду несет извет;
Земля, кажись, богата —
Порядка ж вовсе нет.

27

Иван явился Третий;
Он говорит: «Шалишь!
Уж мы теперь не дети!»
Послал татарам шиш.

28

И вот земля свободна
От всяких зол и бед
И очень хлебородна,
А все ж порядка нет.

29

Настал Иван Четвертый,
Он Третьему был внук;
Калач на царстве тертый
И многих жен супруг.

30

Иван Васильич Грозный
Ему был имярек
За то, что был серьезный,
Солидный человек.

31

Приемами не сладок,
Но разумом не хром;
Такой завел порядок,
Хоть покати шаром!

32

Жить можно бы беспечно
При этаком царе;
Но ах! ничто не вечно —
И царь Иван умре!

33

За ним царить стал Федор,
Отцу живой контраст;
Был разумом не бодор,
Трезвонить лишь горазд.

34

Борис же, царский шурин,
Не в шутку был умен,
Брюнет, лицом недурен,
И сел на царский трон.

35

При нем пошло все гладко,
Не стало прежних зол,
Чуть-чуть было порядка
В земле он не завел.

36

К несчастью, самозванец,
Откуда ни возьмись,
Такой задал нам танец,
Что умер царь Борис.

37

И, на Бориса место
Взобравшись, сей нахал
От радости с невестой
Ногами заболтал.

38

Хоть был он парень бравый
И даже не дурак,
Но под его державой
Стал бунтовать поляк.

39

А то нам не по сердцу;
И вот однажды в ночь
Мы задали им перцу
И всех прогнали прочь.

40

Взошел на трон Василий,
Но вскоре всей землей
Его мы попросили,
Чтоб он сошел долой.

41

Вернулися поляки,
Казаков привели;
Пошел сумбур и драки:
Поляки и казаки,

42

Казаки и поляки
Нас паки бьют и паки;
Мы ж без царя как раки
Горюем на мели.

43

Прямые были страсти —
Порядка ж ни на грош.
Известно, что без власти
Далёко не уйдешь.

44

Чтоб трон поправить царский
И вновь царя избрать,
Тут Минин и Пожарский
Скорей собрали рать.

45

И выгнала их сила
Поляков снова вон,
Земля же Михаила
Взвела на русский трон.

46

Свершилося то летом;
Но был ли уговор —
История об этом
Молчит до этих пор.

47

Варшава нам и Вильна
Прислали свой привет;
Земля была обильна —
Порядка ж нет как нет.

48

Сев Алексей на царство,
Тогда роди Петра.
Пришла для государства
Тут новая пора.

49

Царь Петр любил порядок,
Почти как царь Иван,
И так же был не сладок,
Порой бывал и пьян.

50

Он молвил: «Мне вас жалко,
Вы сгинете вконец;
Но у меня есть палка,
И я вам всем отец!..

51

Не далее как к святкам
Я вам порядок дам!»
И тотчас за порядком
Уехал в Амстердам.

52

Вернувшися оттуда,
Он гладко нас обрил,
А к святкам, так что чудо,
В голландцев нарядил.

53

Но это, впрочем, в шутку,
Петра я не виню:
Больному дать желудку
Полезно ревеню.

54

Хотя силен уж очень
Был, может быть, прием;
А все ж довольно прочен
Порядок стал при нем.

55

Но сон объял могильный
Петра во цвете лет,
Глядишь, земля обильна,
Порядка ж снова нет.

56

Тут кротко или строго
Царило много лиц,
Царей не слишком много,
А более цариц.

57

Бирон царил при Анне;
Он сущий был жандарм,
Сидели мы как в ванне
При нем, daß Gott erbarm! [1]

58

Веселая царица
Была Елисавет:
Поет и веселится,
Порядка только нет.

59

Какая ж тут причина
И где же корень зла,
Сама Екатерина
Постигнуть не могла.

---

[1] помилуй бог! *(нем.)*

60

«Madame, при вас на диво
Порядок расцветет,—
Писали ей учтиво
Вольтер и Дидерот,—

61

Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать».

62

«Messieurs,— им возразила
Она,— vous me comblez» [1],—
И тотчас прикрепила
Украинцев к земле.

63

За ней царить стал Павел,
Мальтийский кавалер,
Но не совсем он правил
На рыцарский манер.

64

Царь Александр Первый
Настал ему взамен,
В нем слабы были нервы,
Но был он джентльмен.

65

Когда на нас в азарте
Стотысячную рать
Надвинул Бонапарте,
Он начал отступать.

[1] Господа, вы слишком добры ко мне *(фр.)*.

66

Казалося, ну, ниже
Нельзя сидеть в дыре,
Ан глядь: уж мы в Париже,
С Louis le Désiré.

67

В то время очень сильно
Расцвел России цвет,
Земля была обильна,
Порядка ж нет как нет.

68

Последнее сказанье
Я б написал мое,
Но чаю наказанье,
Боюсь monsieur Veillot.

69

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

70

Оставим лучше троны,
К министрам перейдем.
Но что я слышу? стоны,
И крики, и содом!

71

Что вижу я! Лишь в сказках
Мы зрим такой наряд;
На маленьких салазках
Министры все катят.

72

С горы со криком громким
In corpore [1], сполна,
Скользя, свои к потомкам
Уносят имена.

[1] в полном составе *(лат.)*.

73

Се Норов, се Путятин,
Се Панин, се Метлин,
Се Брок, а се Замятнин,
Се Корф, се Головнин.

74

Их много, очень много,
Припомнить всех нельзя,
И вниз одной дорогой
Летят они, скользя.

75

Я грешен: летописный
Я позабыл свой слог;
Картине живописной
Противостать не мог.

76

Лиризм, на все способный,
Знать, у меня в крови;
О Нестор преподобный,
Меня ты вдохнови.

77

Поуспокой мне совесть,
Мое усердье зря,
И дай мою мне повесть
Окончить не хитря.

78

Итак, начавши снова,
Столбец кончаю свой
От рождества Христова
В год шестьдесят восьмой.

79

Увидя, что всё хуже
Идут у нас дела,
Зело изрядна мужа
Господь нам ниспосла.

80

На утешенье наше
Нам, аки свет зари,
Свой лик яви Тимашев —
Порядок водвори.

81

Что аз же многогрешный
На бренных сих листах
Не дописах поспешно
Или переписах,

82

То, спереди и сзади
Читая во все дни,
Исправи правды ради,
Писанья ж не кляни.

83

Составил от былинок
Рассказ немудрый сей
Худый смиренный инок,
Раб божий Алексей.

СОН ПОПОВА

1

Приснился раз, бог весть с какой причины,
Советнику Попову странный сон:
Поздравить он министра в именины
В приемный зал вошел без панталон;
Но, впрочем, не забыто ни единой
Регалии; отлично выбрит он;
Темляк на шпаге; все по циркуляру —
Лишь панталон забыл надеть он пару.

2

И надо же случиться на беду,
Что он тогда лишь свой заметил промах,
Как уж вошел. «Ну,— думает,— уйду!»

Не тут-то было! Уж давно в хоромах
Народу тьма; стоит он на виду,
В почетном месте; множество знакомых
Его увидеть могут на пути —
«Нет,— он решил,— нет, мне нельзя уйти!

3

А вот я лучше что-нибудь придвину
И скрою тем досадный мой изъян;
Пусть верхнюю лишь видят половину,
За нижнюю ж ответит мне Иван!»
И вот бочком прокрался он к камину
И спрятался по пояс за экран.
«Эх,— думает,— недурно ведь, канальство!
Теперь пусть входит высшее начальство!»

4

Меж тем тесней все становился круг
Особ чиновных, чающих карьеры;
Невнятный в зале раздавался звук,
И все принять свои старались меры,
Чтоб сразу быть замеченными. Вдруг
В себя втянули животы курьеры,
И экзекутор рысью через зал,
Придерживая шпагу, пробежал.

5

Вошел министр. Он видный был мужчина,
Изящных форм, с приветливым лицом,
Одет в визитку: своего, мол, чина
Не ставлю я пред публикой ребром.
Внушается гражданством дисциплина,
А не мундиром, шитым серебром,
Все зло у нас от глупых форм избытка,
Я ж века сын — так вот на мне визитка!

6

Не ускользнул сей либеральный взгляд
И в самом сне от зоркости Попова.
Хватается, кто тонет, говорят,

За паутинку и за куст терновый.
«А что́,— подумал он,— коль мой наряд
Понравится? Ведь есть же, право слово,
Свободное, простое что-то в нем!
Кто знает! Что ж! Быть может! Подождем!»

7

Министр меж тем стан изгибал приятно:
«Всех, господа, всех вас благодарю!
Прошу и впредь служить так аккуратно
Отечеству, престолу, алтарю!
Ведь мысль моя, надеюсь, вам понятна?
Я в переносном смысле говорю:
Мой идеал полнейшая свобода —
Мне цель народ — и я слуга народа!

8

Прошло у нас то время, господа,—
Могу сказать: печальное то время,—
Когда наградой пота и труда
Был произвол. Его мы свергли бремя.
Народ воскрес — но не вполне — да, да!
Ему вступить должны помочь мы в стремя,
В известном смысле сгладить все следы
И, так сказать, вручить ему бразды.

9

Искать себе не будем идеала,
Ни основных общественных начал
В Америке. Америка отстала:
В ней собственность царит и капитал.
Британия строй жизни запятнала
Законностью. А я уж доказал:
Законность есть народное стесненье,
Гнуснейшее меж всеми преступленье!

10

Нет, господа! России предстоит,
Соединив прошедшее с грядущим,
Создать, коль смею выразиться, вид,
Который называется присущим

Всем временам; и, став на свой гранит,
Имущим, так сказать, и неимущим
Открыть родник взаимного труда.
Надеюсь, вам понятно, господа?»

11

Раздался в зале шепот одобренья,
Министр поклоном легким отвечал,
И тут же, с видом, полным снисхожденья,
Он обходить обширный начал зал:
«Как вам? Что вы? Здорова ли Евгенья
Семеновна? Давно не заезжал
Я к вам, любезный Сидор Тимофеич!
Ах, здравствуйте, Ельпидифор Сергеич!»

12

Стоял в углу, плюгав и одинок,
Какой-то там коллежский регистратор.
Он и к тому, и тем не пренебрег:
Взял под руку его: «Ах, Антипатор
Васильевич! Что, как ваш кобелек?
Здоров ли он? Вы ездите в театор?
Что вы сказали? Все болит живот?
Ах, как мне жаль! Но ничего, пройдет!»

13

Переходя налево и направо,
Свои министр так перлы расточал;
Иному он подмигивал лукаво,
На консоме другого приглашал
И ласково смотрел и величаво.
Вдруг на Попова взор его упал,
Который, скрыт экраном лишь по пояс,
Исхода ждал, немного беспокоясь.

14

«Ба! Что я вижу! Тит Евсеич здесь!
Так, так и есть! Его мы точность знаем!
Но отчего ж он виден мне не весь?
И заслонен каким-то попугаем?

Престранная выходит это смесь!
Я любопытством очень подстрекаем
Увидеть ваши ноги. Да, да, да!
Я вас прошу, пожалуйте сюда!»

15

Колеблясь меж надежды и сомненья:
Как на его посмотрят туалет,
Попов наружу вылез. В изумленье
Министр приставил к глазу свой лорнет.
«Что́ это? Правда или наважденье?
Никак, на вас штанов, любезный, нет?»
И на чертах изящно-благородных
Гнев выразил ревнитель прав народных.

16

«Что это значит? Где вы рождены?
В Шотландии? Как вам пришла охота
Там, за экраном, снять с себя штаны?
Вы начитались, верно, Вальтер Скотта?
Иль классицизмом вы заражены?
И римского хотите патриота
Изобразить? Иль, боже упаси,
Собой бюджет представить на Руси?»

17

И был министр еще во гневе краше,
Чем в милости. Чреватый от громов
Взор заблестел. Он продолжал: «Вы наше
Доверье обманули. Много слов
Я тратить не люблю».— «Ва-ва-ва-ваше
Превосходительство! — шептал Попов.—
Я не сымал... Свидетели курьеры,
Я прямо так приехал из квартеры!»

18

«Вы, милостивый, смели, государь,
Приехать так? Ко мне? На поздравленье?
В день ангела? Безнравственная тварь!
Теперь твое я вижу направленье!

Вон с глаз моих! Иль нету — секретарь!
Пишите к прокурору отношенье:
Советник Тит Евсеев сын Попов
Все ниспровергнуть власти был готов.

19

Но, строгому благодаря надзору
Такого-то министра — имярек,—
Отечество спаслось от заговору
И нравственность не сгинула навек.
Под стражей ныне шлется к прокурору
Для следствия сей вредный человек,
Дерзнувший снять публично панталоны,
Да поразят преступника законы!

20

Иль нет, постойте! Коль отдать под суд,
По делу выйти может послабленье,
Присяжные-бесштанники спасут
И оправдают корень возмущенья!
Здесь слишком громко нравы вопиют —
Пишите прямо в Третье отделенье:
Советник Тит Евсеев сын Попов
Все ниспровергнуть власти был готов.

21

Он поступил законам так противно,
На общество так явно поднял меч,
Что пользу можно б административно
Из неглиже из самого извлечь.
Я жертвую агентам по две гривны,
Чтобы его — но скрашиваю речь —
Чтоб мысли там внушить ему иные.
Затем ура! Да здравствует Россия!»

22

Министр кивнул мизинцем. Сторожа
Внезапно взяли под руки Попова.
Стыдливостью его не дорожа,
Они его от Невского, Садовой,

Средь смеха, крика, чуть не мятежа,
К Цепному мосту привели, где новый
Стоит, на вид весьма красивый, дом,
Своим известный праведным судом.

23

Чиновник по особым порученьям,
Который их до места проводил,
С заботливым Попова попеченьем
Сдал на руки дежурному. То был
Во фраке муж, с лицом, пылавшим рвеньем,
Со львиной физьономией, носил
Мальтийский крест и множество медалей,
И в душу взор его влезал все далей!

24

В каком полку он некогда служил,
В каких боях отличен был как воин,
За что свой крест мальтийский получил
И где своих медалей удостоен —
Неведомо. Ехидно попросил
Попова он, чтобы тот был спокоен,
С улыбкой указал ему на стул
И в комнату соседнюю скользнул.

25

Один оставшись в небольшой гостиной,
Попов стал думать о своей судьбе:
«А казус вышел, кажется, причинный!
Кто б это мог вообразить себе?
Попался я в огонь, как сноп овинный!
Ведь искони того еще не бе,
Чтобы меня кто в этом виде встретил,
И как швейцар проклятый не заметил!»

26

Но дверь отверзлась, и явился в ней
С лицом почтенным, грустию покрытым,
Лазоревый полковник. Из очей
Катились слезы по его ланитам.

Обильно их струящийся ручей
Он утирал платком, узором шитым,
И про себя шептал: «Так! Это он!
Таким он был едва лишь из пелен!

27

О юноша! — он продолжал, вздыхая
(Попову было с лишком сорок лет),—
Моя душа для вашей не чужая!
Я в те года, когда мы ездим в свет,
Знал вашу мать. Она была святая!
Таких, увы! теперь уж боле нет!
Когда б она досель была к вам близко,
Вы б не упали нравственно так низко!

28

Но, юный друг, для набожных сердец
К отверженным не может быть презренья,
И я хочу вам быть второй отец,
Хочу вам дать для жизни наставленье.
Заблудших так приводим мы овец
Со дна трущоб на чистый путь спасенья.
Откройтесь мне, равно как на духу:
Что привело вас к этому греху?

29

Конечно, вы пришли к нему не сами,
Характер ваш невинен, чист и прям!
Я помню, как дитей за мотыльками
Порхали вы средь кашки по лугам!
Нет, юный друг, вы ложными друзьями
Завлечены! Откройте же их нам!
Кто вольнодумцы? Всех их назовите
И собственную участь облегчите!

30

Что слышу я? Ни слова? Иль пустить
Уже успело корни в вас упорство?
Тогда должны мы будем приступить
Ко строгости, увы! и непокорство,

Сколь нам ни больно, в вас искоренить!
О юноша! Как сердце ваше черство!
В последний раз: хотите ли всю рать
Завлекших вас сообщников назвать?»

31

К нему Попов достойно и наивно:
«Я, господин полковник, я бы вам
Их рад назвать, но мне, ей-богу, дивно...
Возможно ли сообщничество там,
Где преступленье чисто негативно?
Ведь панталон-то не надел я сам!
И чем бы там меня вы ни пугали —
Другие мне, клянусь, не помогали!»

32

«Не мудрствуйте, надменный санкюлот!
Свою вину не умножайте ложью!
Сообщников и гнусный ваш комплот
Повергните к отечества подножью!
Когда б вы знали, что́ теперь вас ждет,
Вас проняло бы ужасом и дрожью!
Но дружбу вы чтоб ведали мою,
Одуматься я время вам даю!

33

Здесь, на столе, смотрите, вам готово
Достаточно бумаги и чернил:
Пишите же — не то, даю вам слово:
Чрез полчаса вас изо всех мы сил...»
Тут ужас вдруг такой объял Попова,
Что страшную он подлость совершил:
Пошел строчить (как люди в страхе гадки!)
Имен невинных многие десятки!

34

Явились тут на нескольких листах:
Какой-то Шмидт, два брата Шулаковы,
Зерцалов, Палкин, Савич, Розенбах,
Потанчиков, Гудим-Бодай-Корова,

Делаверганж, Шульгин, Страженко, Драх,
Грай-Жеребец, Бабков, Ильин, Багровый,
Мадам Гриневич, Глазов, Рыбин, Штих,
Бурдюк-Лишай — и множество других.

35

Попов строчил сплеча и без оглядки,
Попались в список лучшие друзья;
Я повторю: как люди в страхе гадки —
Начнут как бог, а кончат как свинья!
Строчил Попов, строчил во все лопатки,
Такая вышла вскоре ектенья,
Что, прочитав, и сам он ужаснулся,
Вскричал: фуй! фуй! задрыгал — и проснулся.

36

Небесный свод сиял так юн и нов,
Весенний день глядел в окно так весел,
Висела пара форменных штанов
С мундиром купно через спинку кресел;
И в радости уверился Попов,
Что их Иван там с вечера повесил —
Одним скачком покинул он кровать
И начал их в восторге надевать.

37

«То был лишь сон! О, счастие! о, радость!
Моя душа, как этот день, ясна!
Не сделал я Бодай-Корове гадость!
Не выдал я агентам Ильина!
Не наклепал на Савича! О, сладость!
Мадам Гриневич мной не предана!
Страженко цел, и братья Шулаковы
Постыдно мной не ввержены в оковы!»

38

Но ты, никак, читатель, восстаешь
На мой рассказ? Твое я слышу мненье:
Сей анекдот, пожалуй, и хорош,
Но в нем сквозит дурное направленье.

Всё выдумки, нет правды ни на грош!
Слыхал ли кто такое обвиненье,
Что, мол, какой-то — встречен без штанов,
Так уж и власти свергнуть он готов?

39

И где такие виданы министры?
Кто так из них толпе кадить бы мог?
Я допущу: успехи наши быстры,
Но где ж у нас министер-демагог?
Пусть проберут все списки и регистры,
Я пять рублей бумажных дам в залог;
Быть может, их во Франции немало,
Но на Руси их нет и не бывало!

40

И что это, помилуйте, за дом,
Куда Попов отправлен в наказанье?
Что за допрос? Каким его судом
Стращают там? Где есть такое зданье?
Что за полковник выскочил? Во всем,
Во всем заметно полное незнанье
Своей страны обычаев и лиц,
Встречаемое только у девиц.

41

А наконец, и самое вступленье:
Ну есть ли смысл, я спрашиваю, в том,
Чтоб в день такой, когда на поздравленье
К министру все съезжаются гуртом,
С Поповым вдруг случилось помраченье
И он таким оделся бы шутом?
Забыться может галстук, орден, пряжка —
Но пара брюк — нет, это уж натяжка!

42

И мог ли он так ехать? Мог ли в зал
Войти, одет как древние герои?
И где резон, чтоб за экран он стал,
Никем не зрим? Возможно ли такое?
Ах, батюшка читатель, чтó пристал?
Я не Попов! Оставь меня в покое!
Резон ли в этом или не резон —
Я за чужой не отвечаю сон!

<М. П. АРНОЛЬДИ>

Ропща на прихоти судеб
И в испытаньях малодушный,
Я ждал насушенный твой хлеб,
Как ожидают хлеб насущный.

Мой легкомысленный живот
С неблагодарностью кухарок
Винил в забвеньи вас — и вот
Приносят с почты ваш подарок!

О, кто опишет, господа,
Его эффект животворящий!
Красней, красней же от стыда
Мой всяку дрянь живот варящий!

Склони в смущении свой взор,
Живот, на этот короб хлебный
И пой вседневно с этих пор
Его творцу канон хвалебный!

«Да не коснется злая боль,
Ни резь его пищеваренья!
Да обретет он в жизни соль
И смысл в житейском треволненьи!

Да посрамятся перед ним
Его враги ошибкой грубой!
Как этот хлеб несокрушим,
Да сокрушает их он зубы!

Его главы да минет рок
И да живет он долговечен,
Как этот хлеб, что внукам впрок
Предусмотрительно испе́чен!»

КОЗЬМА ПРУТКОВ

МОЙ ПОРТРЕТ

Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг; [1]
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке;
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке,—
Знай: это я!

Кого язвят со злостью вечно новой,
Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвет;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой,—
Знай: это я!..
В моих устах спокойная улыбка,
В груди — змея!

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Я. П. Полонскому

Поле. Ров. На небе солнце.
А в саду, за рвом, избушка.
Солнце светит. Предо мною
Книга, хлеб и пива кружка.

Солнце светит. В клетках птички.
Воздух жаркий. Вкруг молчанье.
Вдруг проходит прямо в сени
Дочь хозяйкина, Маланья.

[1] *Вариант:* «На коем фрак». *Примечание К. Пруткова.*

Я иду за нею следом.
Выхожу я также в сенцы;
Вижу: дочка на веревке
Расстилает полотенцы.

Говорю я ей с упреком:
«Что ты мыла? не жилет ли?
И зачем на нем не шелком,
Ниткой ты подшила петли?»

А Маланья, обернувшись,
Мне со смехом отвечала:
«Ну так что ж, коли не шелком?
Я при вас ведь подшивала!»

И затем пошла на кухню.
Я туда ж за ней вступаю.
Вижу: дочь готовит тесто
Для обеда к караваю.

Обращаюсь к ней с упреком:
«Что готовишь? не творог ли?»
«Тесто к караваю».— «Тесто?»
«Да; вы, кажется, оглохли?»

И, сказавши, вышла в садик.
Я туда ж, взяв пива кружку.
Вижу: дочка в огороде
Рвет созревшую петрушку.

Говорю опять с упреком:
«Что нашла ты? уж не гриб ли?»
«Все болтаете пустое!
Вы и так, кажись, охрипли».

Пораженный замечаньем,
Я подумал: «Ах, Маланья!
Как мы часто детски любим
Недостойное вниманья!»

ЭПИГРАММА

№ 1

«Вы любите ли сыр?» — спросили раз ханжу.
«Люблю,— он отвечал,— я вкус в нем нахожу».

ЧЕРВЯК И ПОПАДЬЯ

Басня [1]

Однажды к попадье заполз червяк за шею;
И вот его достать велит она лакею.
Слуга стал шарить попадью...
«Но что ты делаешь?!» — «Я червяка давлю».

Ах, если уж заполз к тебе червяк за шею,
Сама его дави и не давай лакею.

В АЛЬБОМ КРАСИВОЙ ЧУЖЕСТРАНКЕ

Написано в Москве

Вокруг тебя очарованье.
Ты бесподобна. Ты мила.
Ты силой чудной обаянья
К себе поэта привлекла.

Но он любить тебя не может:
Ты родилась в чужом краю,
И он охулки не положит,
Любя тебя, на честь свою.

НОВОГРЕЧЕСКАЯ ПЕСНЬ

Спит залив. Эллада дремлет.
Под порти́к уходит мать
Сок гранаты выжимать...
Зоя! нам никто не внемлет!
Зоя, дай себя обнять!

Зоя, утренней порою
Я уйду отсюда прочь;
Ты смягчись, покуда ночь!
Зоя, утренней порою
Я уйду отсюда прочь...

---

[1] Эта басня, как и все, впервые печатаемое в «Полн. собр. сочинений К. Пруткова», найдена в оставшихся после его смерти сафьянных портфелях за нумерами и с печатною золоченою надписью: *«Сборник неоконченного (d'inachevé) №».*

Пусть же вихрем сабля свищет!
Мне Костаки не судья!
Прав Костаки, прав и я!
Пусть же вихрем сабля свищет;
Мне Костаки не судья!

В поле брани Разорваки
Пал за вольность, как герой.
Бог с ним! рок его такой.
Но зачем же жив Костаки,
Когда в поле Разорваки
Пал за вольность, как герой?!

Видел я вчера в заливе
Восемнадцать кораблей;
Все без мачт и без рулей...
Но султана я счастливей;
Лей вина мне, Зоя, лей!

Лей, пока Эллада дремлет,
Пока тщетно тщится мать
Сок гранаты выжимать...
Зоя, нам никто не внемлет!
Зоя, дай себя обнять!

В АЛЬБОМ N. N.

Желанья вашего всегда покорный раб,
Из книги дней моих я вырву полстраницы
И в ваш альбом вклею... Вы знаете, я слаб
Пред волей женщины, тем более девицы.
Вклею!.. Но вижу я, уж вас объемлет страх!
Змеей тоски моей пришлось мне поделиться;
Не целая змея теперь во мне, но — ах! —
Зато по ползмеи в обоих шевелится.

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ИСПАНЦЕМ

Тихо над Альгамброй.
Дремлет вся натура.
Дремлет замок Памбра.
Спит Эстремадура.

Дайте мне мантилью;
Дайте мне гитару;
Дайте Инезилью,
Кастаньетов пару.

Дайте руку верную,
Два вершка булату,
Ревность непомерную,
Чашку шоколату.

Закурю сигару я,
Лишь взойдет луна...
Пусть дуэнья старая
Смотрит из окна!

За двумя решетками
Пусть меня клянет;
Пусть шевелит четками,
Старика зовет.

Слышу на балконе
Шорох платья,— чу! —
Подхожу я к донне,
Сбросил епанчу.

Погоди, прелестница!
Поздно или рано
Шелковую лестницу
Выну из кармана!..

О синьора милая,
Здесь темно и серо...
Страсть кипит унылая
В вашем кавальеро.

Здесь, перед бананами,
Если не наскучу,
Я между фонтанами
Пропляшу качучу.

Но в такой позиции
Я боюсь, страх,
Чтобы инквизиции
Не донес монах!

Уж недаром мерзостный
Старый альгвазил
Мне рукою дерзостной
Давеча грозил.

Но его, для сраму, я
Маврою [1] одену;
Загоню на самую
На Сьерра-Морену!

И на этом месте,
Если вы мне рады,
Будем петь мы вместе
Ночью серенады.

Будет в нашей власти
Толковать о мире,
О вражде, о страсти,
О Гвадалквивире;

Об улыбках, взорах,
Вечном идеале,
О тореадорах
И об Эскурьяле...

Тихо над Альгамброй,
Дремлет вся натура.
Дремлет замок Памбра.
Спит Эстремадура.

ЭПИГРАММА

№ II

Мне, в размышлении глубоком,
Сказал однажды Лизимах:
«Что зрячий зрит здоровым оком,
Слепой не видит и в очках!»

---

[1] Здесь, очевидно, разумеется племенное имя: *мавр, мавританин,* а не женщина *Мавра.* Впрочем, это объяснение даже лишнее; потому что о другом магометанском племени тоже говорят иногда в женском роде: *турка.* Ясно, что этим определяются восточные нравы. *Примечание К. Пруткова.*

ЭПИГРАММА

№ III

Пия душистый сок цветочка,
Пчела дает нам мед взамен;
Хотя твой лоб — пустая бочка,
Но все же ты не Диоген.

ПЛОДЫ РАЗДУМЬЯ

МЫСЛИ И АФОРИЗМЫ

1

Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни.

2

Жизнь нашу можно удобно сравнивать со своенравною рекою, на поверхности которой плавает челн, иногда укачиваемый тихоструйною волною, нередко же задержанный в своем движении мелью и разбиваемый о подводный камень.— Нужно ли упоминать, что сей утлый челн на рынке скоропреходящего времени есть не кто иной, как сам человек?

3

Никто не обнимет необъятного.

4

Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною еще большая. Нет вещи столь малой, в которую не вместилась бы еще меньшая.

5

Смотри в корень!

6

Лучше скажи мало, но хорошо.

7

Наука изощряет ум; ученье вострит память.

8

Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?

9

Самопожертвование есть цель для пули каждого стрелка.

10

Память человека есть лист белой бумаги: иногда напишется хорошо, а иногда дурно.

11

Слабеющая память подобна потухающему светильнику.

12

Слабеющую память можно также сравнивать с увядающею незабудкою.

13

Слабеющие глаза всегда уподоблю старому потускневшему зеркалу, даже надтреснутому.

14

Воображение поэта, удрученного горем, подобно ноге, заключенной в новый сапог.

15

Влюбленный в одну особу страстно — терпит другую токмо по расчету.

16

Если хочешь быть красивым, поступи в гусары.

17

Человек, не будучи одеян благодетельною природою, получил свыше дар портного искусства.

18

Не будь портных,— скажи: как различил бы ты служебные ведомства?

19

Скрывая истину от друзей, кому ты откроешься?

20

Что есть лучшего? — Сравнив прошедшее, свести его с настоящим.

21

Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную.

22

Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.

23

Женатый повеса воробью подобен.

24

Усердный врач подобен пеликану.

25

Эгоист подобен давно сидящему в колодце.

26

Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине.

27

Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом.

28

Начало ясного дня смело уподоблю рождению невинного младенца: быть может, первый не обойдется без дождя, а жизнь второго без слез.

29

Если бы тени предметов зависели не от величины сих последних, а имели бы свой произвольный рост, то, может быть, вскоре не осталось бы на всем земном шаре ни одного светлого места.

30

Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу.

31

Бердыш в руках воина то же, что меткое слово в руках писателя.

32

Магнитная стрелка, непреодолимо влекомая к северу, подобна мужу, который блюдет законы.

33

Первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти.

34

Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться.

35

В доме без жильцов — известных насекомых не обрящешь.

36

Ничего не доводи до крайности: человек, желающий трапезовать слишком поздно, рискует трапезовать на другой день поутру.

37

Пища столь же необходима для здоровья, сколь необходимо приличное обращение человеку образованному.

38

«Зачем,— говорит эгоист,— стану я работать для потомства, когда оно ровно ничего для меня не сделало?» — Несправедлив ты, безумец! Потомство сделало для тебя уже то, что ты, сближая прошедшее с настоящим и будущим, можешь по произволу считать себя: младенцем, юношей и старцем.

39

Вытапливай воск, но сохраняй мед.

40

Пояснительные выражения объясняют темные мысли.

41

Не всякому человеку даже гусарский мундир к лицу.

42

Бди!

43

Камергер редко наслаждается природою.

44

Никто не обнимет необъятного.

45

Три дела, однажды начавши, трудно кончить: а) вкушать хорошую пищу; б) беседовать с возвратившимся из похода другом и в) чесать, где чешется.

46

Прежде чем познакомишься с человеком, узнай: приятно ли его знакомство другим?

47

Здоровье без силы — то же, что твердость без упругости.

48

Все говорят, что здоровье дороже всего; но никто этого не соблюдает.

49

Достаток распутного равняется короткому одеялу: натянешь его к носу, обнажатся ноги.

50

Не растравляй раны ближнего; страждущему предлагай бальзам... Копая другому яму, сам в нее попадешь.

51

Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? — ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло; а месяц — ночью.

52

Но, с другой стороны: солнце лучше тем, что светит и греет; а месяц только светит, и то лишь в лунную ночь!

53

Самолюбие и славолюбие суть лучшие удостоверения бессмертия души человеческой.

54

Душа индейца, верящего в метемпсихозию, похожа на червячка в коконе.

55

Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?

56

Принимаясь за дело, соберись с духом.

57

Перо, пишущее для денег, смело уподоблю шарманке в руках скитающегося иностранца.

58

Щелкни кобылу в нос — она махнет хвостом.

59

Не робей перед врагом: лютейший враг человека — он сам.

60

И терпентин на что-нибудь полезен!

61

Всякий необходимо причиняет пользу, употребленный на своем месте. Напротив того: упражнения лучшего танцмейстера в химии неуместны; советы опытного астронома в танцах глупы.

62

Часами измеряется время, а временем жизнь человеческая; но чем, скажи, измеришь ты глубину Восточного океана?

63

Говорят, что труд убивает время; но сие последнее, нисколько от этого не уменьшаяся, продолжает служить человечеству и всей вселенной постоянно в одинаковой полноте и непрерывности.

64

На дне каждого сердца есть осадок.

65

Под сладкими выражениями таятся мысли коварные: так, от курящего табак нередко пахнет духами.

66

Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.

67

Никто не обнимет необъятного!

68

Болтун подобен маятнику: того и другой надо остановить.

69

Два человека одинаковой комплекции дрались бы недолго, если бы сила одного превозмогла силу другого.

70

Не все стриги, что растет.

71

Ногти и волосы даны человеку для того, чтобы доставить ему постоянное, но легкое занятие.

72

Иной певец подчас хрипнет.

73

Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходима канифоль смычку виртуоза.

74

Единожды солгавши, кто тебе поверит?

75

Жизнь — альбом. Человек — карандаш. Дела — ландшафт. Время — гумиэластик: и отскакивает и стирает.

76

Продолжать смеяться легче, чем окончить смех.

77

Смотри вдаль — увидишь даль; смотри в небо — увидишь небо; взглянув в маленькое зеркальце, увидишь только себя.

78

Где начало того конца, которым оканчивается начало?

79

Чем скорее проедешь, тем скорее приедешь.

80

Если хочешь быть счастливым, будь им.

81

Не в совокупности ищи единства, но более — в единообразии разделения.

82

Усердный в службе не должен бояться своего незнанья; ибо каждое новое дело он прочтет.

83

Петух пробуждается рано; но злодей еще раньше.

84

Усердие все превозмогает!

85

Что имеем — не храним; потерявши — плачем.

86

И устрица имеет врагов!

87

Возобновленная рана много хуже противу новой.

88

В глубине всякой груди есть своя змея.

89

Только в государственной службе познаёшь истину.

90

Иного прогуливающегося старца смело уподоблю песочным часам.

91

Не шути с женщинами: эти шутки глупы и неприличны.

92

Чрезмерный богач, не помогающий бедным, подобен здоровенной кормилице, сосущей с аппетитом собственную грудь у колыбели голодающего дитяти.

93

Магнит показывает на север и на юг; от человека зависит избрать хороший или дурной путь жизни.

94

На чужие ноги лосины не натягивай.

95

Человек раздвоен снизу, а не сверху,— для того, что две опоры надежнее одной.

96

Человек ведет переписку со всем земным шаром, а через печать сносится даже с отдаленным потомством.

97

Глупейший человек был тот, который изобрел кисточки для украшения и золотые гвоздики на мебели.

98

Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе.

99

Чувствительный человек подобен сосульке; пригрей его, он растает.

100

Многие чиновники стальному перу подобны.

101

Специалист подобен флюсу: полнота его одностороння.

102

В здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь образует купол.

103

Взирая на высоких людей и на высокие предметы, придерживай картуз свой за козырек.

104

Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное!

105

Земной шар, обращающийся в беспредельном пространстве, служит пьедесталом для всего, на нем обретающегося.

106

Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим.

107

Муравьиные яйца более породившей их твари; так и слава даровитого человека далеко продолжительнее собственной его жизни.

108

Всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия.

109

Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части.

110

Глядя на мир, нельзя не удивляться!

111

Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да отдален.

112

Философ легко торжествует над будущею и минувшею скорбями, но он же легко побеждается настоящею.

113

Небо, усеянное звездами, всегда уподоблю груди заслуженного генерала.

114

Доблий [1] муж подобен мавзолею.

115

Вакса чернит с пользою, а злой человек — с удовольствием.

116

Пороки входят в состав добродетели, как ядовитые снадобья в состав целебных средств.

117

Из всех плодов наилучшие приносят хорошее воспитание.

118

Любовь, поддерживаясь, подобно огню, непрестанным движением, исчезает купно с надеждою и страхом.

119

Рассчитано, что петербуржец, проживающий на солнопеке, выигрывает двадцать процентов здоровья.

120

Человеку даны две руки на тот конец, дабы он, принимая левою, раздавал правою.

121

Иногда достаточно обругать человека, чтобы не быть им обманутым!

122

В сепаратном договоре не ищи спасения.

---

[1] Доблестный *(церковнослав.)*.

123

Ревнивый муж подобен турку.

124

Почти всякий человек подобен сосуду с кранами, наполненному живительною влагою производящих сил.

125

Умная женщина подобна Семирамиде.

126

Любой фат подобен трясогузке.

127

Вестовщик решету подобен.

128

Девицы вообще подобны шашкам: не всякой удается, но всякой желается попасть в дамки.

129

Всегда держись начеку!

130

Спокойствие многих было бы надежнее, если бы дозволено было относить все неприятности на казенный счет.

131

Не ходи по косогору, сапоги стопчешь!

132

Советую каждому: даже не в особенно сырую и ветреную погоду закладывать уши хлопчатою бумагою или морским канатом.

133

Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?

134

Снег считают саваном омертвевшей природы; но он же служит первопутьем для жизненных припасов. Так разгадайте же природу!

135

Барометр в земледельческом хозяйстве может быть с большою выгодою заменен усердною прислугою, страдающею нарочитыми ревматизмами.

136

Собака, сидящая на сене, вредна. Курица, сидящая на яйцах, полезна. От сидячей жизни тучнеют: так, всякий меняло жирен.

137

Неправое богатство подобно кресс-салату,— оно растет на каждом войлоке.

138

Всякая человеческая голова подобна желудку: одна переваривает входящую в оную пищу, а другая от нее засоряется.

139

Вещи бывают великими и малыми не токмо по воле судьбы и обстоятельств, но также по понятиям каждого.

140

И саго, употребленное не в меру, может причинить вред.

141

Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нем пятна.

142

Время подобно искусному управителю, непрестанно производящему новые таланты взамен исчезнувших.

143

Талантами измеряются успехи цивилизации, и они же представляют верстовые столбы истории, служа телеграммами от предков и современников к потомству.

144

И при железных дорогах лучше сохранять двуколку.

145

Покорность охлаждает гнев и дает размер взаимным чувствам.

146

Если бы все прошедшее было настоящим, а настоящее продолжало существовать наряду с будущим, кто был бы в силах разобрать: где причины и где последствия?

147

Счастье подобно шару, который подкатывается: сегодня под одного, завтра под другого, послезавтра под третьего, потом под четвертого, пятого и т. д., соответственно числу и очереди счастливых людей.

148

Иные настойчиво утверждают, что жизнь каждого записана в книге Бытия.

149

Не совсем понимаю: почему многие называют судьбу индейкою, а не какою-либо другою, более на судьбу похожею птицею?

150

Козыряй!

151

Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту.

152

Издание некоторых газет, журналов и даже книг может приносить выгоду.

153

Никогда не теряй из виду, что гораздо легче многих не удовлетворить, чем удовольствовать.

154

Хорошего правителя справедливо уподобляют кучеру.

155

Добрая сигара подобна земному шару: она вертится для удовольствия человека.

156

Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

157

Благочестие, ханжество, суеверие — три разницы.

158

Степенность есть надежная пружина в механизме общежития.

159

У многих катанье на коньках производит одышку и трясение.

160

Опять скажу: никто не обнимет необъятного!

ПРОЕКТ: О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОМЫСЛИЯ В РОССИИ

Этот черновой проект, написанный Козьмою Прутковым в 1859 г., был напечатан в журнале «Современник» лишь по смерти К. Пруткова, в 1963 г., кн. IV. В подлиннике, вверху его, находится надпись: *«Подать в один из торжественных дней, на усмотрение».*

Приступ. Наставить публику. Занеслась. Молодость; науки; незрелость!.. Вздор!.. Убеждения. Неуважение мнения старших. Безначалие. «Собственное» мнение!.. Да разве может быть *собственное* мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмется? На чем основано? Если бы писатели знали что-либо, их призвали бы к службе. Кто не служит, значит: недостоин; стало быть, и слушать его нечего. С этой стороны еще никто не колебал авторитета наших писателей: я — первый. (Напереть на то, что я — *первый.* Это может помочь карьере. Далее развить то же, но в других выражениях, сильнее и подробнее.)

Трактат. Очевидный вред различия во взглядах и убеждениях. Вред несогласия во мнениях. «Аще царство на ся разделится» и пр. Всякому русскому дворянину свойственно желать не ошибаться; но, чтоб удовлетворить это желание, надо иметь материал для мнения. Где ж этот материал? Единственным материалом может быть только мнение начальства. Иначе нет ручательства, что мнение безошибочно. Но как узнать мнение начальства? Нам скажут: оно видно из принимаемых мер. Это правда... Гм! нет! Это неправда!.. Правительство нередко таит свои цели из-за высших государственных соображений, недоступных пониманию большинства. Оно нередко достигает результата рядом

косвенных мер, которые могут, по-видимому, противоречить одна другой, будто бы не иметь связи между собою. Но это лишь кажется! Они всегда взаимно соединены секретными шолнерами единой государственной идеи, единого государственного плана; и план этот поразил бы ум своею громадностью и своими последствиями! Он открывается в неотвратимых результатах истории. Как же подданному знать мнение правительства, пока не наступила история? Как ему обсуждать правительственные мероприятия, не владея ключом их взаимной связи? — «Не по частям водочерпательницы, но по совокупности ее частей суди об ее достоинствах». Это я сказал еще в 1842 г. и доселе верю в справедливость этого замечания. Где подданному уразуметь все эти причины, поводы, соображения; разные виды, с одной стороны, и усмотрения, с другой?! Никогда не понять ему их, если само правительство не даст ему благодетельных указаний. В этом мы убеждаемся ежедневно, ежечасно, скажу: ежеминутно. Вот почему иные люди, даже вполне благонамеренные, сбиваются иногда злонамеренными толкованиями; у них нет сведений: какое мнение справедливо? Они не знают: какого мнения надо держаться? *Не могу пройти молчанием...* (Какое славное выражение! Надо чаще употреблять его; оно как бы доказывает обдуманность и даже что-то вроде великодушия.) Не могу пройти молчанием, что многие признаны злонамеренными единственно потому, что им не было известно: какое мнение угодно высшему начальству? Положение этих людей невыразимо тягостное, даже смело скажу: невыносимое!

Заключение. На основании всего вышеизложенного и принимая во внимание: с одной стороны, необходимость, особенно в нашем пространном отечестве, установления единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства; с другой же стороны — невозможность достижения сей цели без дарования подданным надежного руководства к составлению мнений — *не скрою* (опять отличное выражение! Непременно буду его употреблять почаще) — не скрою, что целесообразнейшим для сего средством было бы учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет. Этот правительственный орган, будучи поддержан достаточным, полицейским

и административным, содействием властей, был бы для общественного мнения необходимою и надежною звездою, маяком, вехою. Пагубная наклонность человеческого разума обсуждать все происходящее на земном круге была бы обуздана и направлена к исключительному служению указанным целям и видам. Установилось бы одно *господствующее* мнение по всем событиям и вопросам. Можно бы даже противодействовать развивающейся наклонности возбуждать *«вопросы»* по делам общественной и государственной жизни; ибо к чему они ведут? Истинный патриот должен быть враг всех так называемых *«вопросов»*!

С учреждением такого руководительного правительственного издания даже злонамеренные люди, если б они дерзнули быть иногда несогласными с указанным «господствующим» мнением, естественно, будут остерегаться противоречить оному, дабы не подпасть подозрению и наказанию. Можно даже ручаться, что каждый, желая спокойствия своим детям и родственникам, будет и им внушать уважение к «господствующему» мнению; и, таким образом, благодетельные последствия предлагаемой меры отразятся не только на современниках, но даже на самом отдаленном потомстве.

Зная сердце человеческое и коренные свойства русской народности, могу с полным основанием поручиться за справедливость всех моих выводов. Но самым важным условием успеха будет выбор редактора для такого правительственного органа. Редактором должен быть человек, достойный во всех отношениях, известный своим усердием и своею преданностью, пользующийся славою литератора, несмотря на свое нахождение на правительственной службе, и готовый, для пользы правительства, пренебречь общественным мнением и уважением вследствие твердого убеждения в их полнейшей несостоятельности. Конечно, подобный человек заслуживал бы достаточное денежное вознаграждение и награды чинами и орденскими отличиями. Не смею предлагать себя для такой должности по свойственной мне скромности. Но я готов жертвовать собою до последнего издыхания для бескорыстной службы нашему общему престол-отечеству, если только это будет согласно с предначертаниями высшего начальства. Долговременная и беспорочная служба моя по министерству финансов, в Пробирной Палатке, дала бы мне, меж-

ду прочим, возможность благоприятно разъяснять и разные финансовые вопросы, согласно с видами правительства. Разъяснения же эти бывают часто почти необходимы ввиду стеснительного положения финансов нашего дорогого отечества.

Повергая сей недостойный труд мой на снисходительное усмотрение высшего начальства, дерзаю льстить себя надеждою, что он не поставится мне в вину, служа несомненным выражением усердного желания преданного человека: принести посильную услугу столь высоко уважаемой им благонамеренности.

1859 года (annus, i)

Примечание: в числе разных заметок на полях этого проекта находятся следующие, которые Козьма Прутков, вероятно, желал развить в особых проектах: 1) «Велеть всем редакторам частных печатных органов перепечатывать руководящие статьи из официального органа, дозволяя себе только их повторение и развитие», и 2) «Вменить в обязанность всем начальникам отдельных частей управления: неусыпно вести и постоянно сообщать в одно центральное учреждение списки всех лиц, служащих под их ведомством, с обозначением противу каждого: какие получает журналы и газеты. И не получающих официального органа, как не сочувствующих благодетельным указаниям начальства, отнюдь не повышать ни в должности, ни в чины и не удостоивать ни наград, ни командировок».

Вообще в портфелях покойного Козьмы Пруткова, на которых отпечатано золотыми буквами: «Сборник неоконченного (d'inachevé)», содержится весьма много любопытных документов, относящихся к его литературной и государственной деятельности. Может быть, из них еще будет что-либо извлечено для печати.

В. С. КУРОЧКИН

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

Старый хапуга, отъявленный плут
Отдан под суд;
Дело его, по решении строгом,
Пахнет острогом...
Но у хапуги, во-первых, жена
Очень умна;
А во-вторых — еще несколько дочек
. . . .
(Несколько точек.)

Дочек наставила, как поступать,
Умная мать.
(Как говорят языком и глазами —
Знаете сами.)
Плачет и молится каждую ночь
Каждая дочь...
Ну, и нашелся заступник сиятельный
!
(Знак восклицательный.)

Старый хапуга оправдан судом,
Правда, с трудом;
Но уж уселся он в полной надежде,
Крепче, чем прежде.
Свет, говорят, не без добрых людей —
Правда, ей-ей!
Так и покончим, махнув сокрушительный
?
(Знак вопросительный.)

СЕМЕЙНАЯ ВСТРЕЧА 1862 ГОДА

Читатели, являясь перед вами
        В четвертый раз,
Чтоб в Новый год и прозой и стихами
        Поздравить вас,
Хотел бы вам торжественно воспеть я,
        Да и пора б,
Российского весь блеск тысячелетья —
        Но голос слаб...
Читатели, серьезной русской прессе
        Оставим мы
Все важное, все толки о прогрессе
        И «царстве тьмы».
Довольствуясь лишь неизбежно сущим
        И близким нам,
Поклонимся во здравии живущим
        Родным отцам.
Пусть юноши к преданиям спесивы,
        Не чтут родных,—
Но бабушки и дедушки все живы,
        Назло для них.
Не изменив себе ни на полслова,
        Как соль земли,
Все фазисы развитья векового
        Они прошли.
Понятья их живучи и упруги,
        И Новый год
По-прежнему в семейном тесном круге
        Их застает.
Привет мой вам, старушка Простакова!
        Вы всех добрей.
Зачем же вы глядите так сурово
        На сыновей?
Порадуйтесь — здесь много Митрофанов,—
        Их бог хранит;
Их никаким составом химик Жданов
        Не истребит.
Их детский сон и крепок и невинен
        По старине.
Поклон тебе, мой друг Тарас Скотинин,
        Дай руку мне!
Свинюшник твой далек, брат, до упадка;
        В нем тьма свиней.

Почтенный друг! В них нету недостатка
Для наших дней.
По-прежнему породисты и крупны,
А как едят!
Нажрутся так, что, братец, недоступны
Для поросят.
От поросят переходя к Ноздреву,
Мы узнаем,
Что подобру живет он, поздорову
В селе своем.
Все так же он, как был, наездник ражий
Киргизских орд,
И чубуки его опасны даже
Для держиморд.
Берет в обмен щенков и рукоделья,
И жрет и врет,
Но уж кричит, особенно с похмелья:
«Прогресс! Вперед!»
— Прогресс! Прогресс! Ты всем нам задал дело!
Никто не спит.
Коробочка заметно отупела,
Но все скрипит.
Уж Чичиков с тобой запанибрата,
На вечерах
Он говорит гуманно, кудревато
Об *мужичках*,
Про грамотность во всех посадах, селах,
По деревням,
И, наконец,— детей в воскресных школах
Он учит сам.
Замыслил он с отвагою бывалой,
Трудясь, как вол,
Народный банк, газету, два журнала
И общий стол.
Об нем кричит публично Репетилов;
Его вознес
До облаков чувствительный Манилов
В потоках слез:
Мол, Чичиков гуманен! Идеален!
Ведет вперед!
С Петрушкою знакомится Молчалин,
На чай дает.
Все бегают, все веселы, здоровы,
Движенье, шум —

Особенно заметны Хлестаковы,
Где нужен ум.
На раутах, на чтениях, по клубам
Свои стихи
Тряпичкины читают Скалозубам
За их грехи.
Абдулины усердно бьют поклоны
Своим властям.
Пошлепкины и слесарские жены —
Все по местам.
Как человек вполне великосветский,
Мильоном глаз
Везде Антон Антоныч Загорецкий
Глядит на нас.
От Шпекиных усердьем в службе пышет
И болтовней,—
И Фамусов, как прежде, все подпишет
И с плеч долой!

ВЕЛИКИЕ ИСТИНЫ

(Вольный перевод из сборника «La goguette»[1])

Повсюду торжествует гласность,
Вступила мысль в свои права,
И нам от ближнего опасность
Не угрожает за слова.
Мрак с тишиной нам ненавистен,
Простора требует наш дух,
И смело ряд великих истин
Я первый возвещаю вслух.

Порядки старые не новы
И не младенцы — старики;
Больные люди — не здоровы,
И очень глупы дураки.
Мы смертны все без исключенья;
Нет в мире действий без причин;
Не нужно мертвому леченья.
Одиножды один — один.

[1] Веселое застолье *(фр.)*.

Для варки щей нужна капуста;
Статьи потребны для газет;
Тот кошелек, в котором пусто,
В том ни копейки денег нет;
День с ночью составляет сутки;
Рубль состоит из двух полтин;
Желают пищи все желудки.
Одиножды один — один.

Москва есть древняя столица;
По-русски медик значит врач,
А *чудодейка* есть вещица,
О коей публикует Кач.
Профессор — степень или званье;
Коллежский регистратор — чин;
Кнуты и розги — наказанье;
Одиножды один — один.

Покуда кость собака гложет,
Ее не следует ласкать,
И необъятного не может
Никто решительно обнять.
Не надо мудрствовать лукаво,
Но каждый честный гражданин
Всегда сказать имеет право:
Одиножды один — один.

В сей песне сорок восемь строчек.
Согласен я — в них смыслу нет;
Но рифмы есть везде и точек
Компрометирующих нет.
Эпоха гласности настала,
Во всем прогресс — но между тем
Блажен, кто рассуждает мало
И кто не думает совсем.

Д. Д. МИНАЕВ

СКАЗКА О ВОСТОЧНЫХ ПОСЛАХ

Шлет нам гостинцы Восток
Вместе с посольством особым.
«Ну-ка, веди, мужичок,
Их по родимым трущобам».
Ходят. Всё степи да лес,
Все, как дремотой, одето...
«Это ли русский прогресс?»
«Это, родимые, это!..»

В села заходят. Вросли
В землю, согнувшись, избенки;
Чахлое стадо пасли
Дети в одной рубашонке;
Крытый соломой навес...
Голос рыдающий где-то...
«Это ли русский прогресс?»
«Это, родимые, это!..»

Город пред ними. В умах
Мысль, как и в селах, дремала,
Шепчут о чем-то впотьмах
Два-три усталых журнала.
Ласки продажных метресс...
Грозные цифры бюджета...
«Это ли русский прогресс?»
«Это, родимые, это!..»

Труд от зари до зари,
Бедность — что дальше, то хуже...
Голод, лохмотья — внутри,
Блеск и довольство — снаружи...
Шалости старых повес,
Тающих в креслах балета...
«Это ли русский прогресс?»
«Это, родимые, это!..»

«Где ж мы, скажи нам, вожак?
Эти зеленые зимы,
Голые степи и мрак...
Полно, туда ли зашли мы?
Ты нам скажи наотрез,
Ждем мы прямого ответа:
Это ли русский прогресс?»
«Это, родимые, это!..»

* * *

Жизнь наша вроде плац-парада;
И в зной, и в холод на ветру
Маршировать тем плацом надо,
Как на инспекторском смотру.

Как рекрут, выучись смиряться,
Но забегать не хлопочи:
Похвалят — крикни: «Рад стараться!»
А не похвалят — промолчи.

Тебе прикажут — делай дело!
Терпи — вот лучший твой паек,
А в остальное время смело
Носок вытягивай, носок!..

МОТИВЫ РУССКИХ ПОЭТОВ

I

МОТИВ МРАЧНО-ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ

Мир — это шайка мародеров,
Где что ни шаг, то лжец иль тать:
Мне одному такой дан норов,
Чтоб эту сволочь усмирять.

Не буду петь я: mia cara! [1]
«Ночной зефир струит эфир»,
Но как гроза, как божья кара,
Заставлю дрогнуть целый мир.

---

[1] моя дорогая! *(ит.)*

Во все трактиры, рестораны,
Как зоркий страж, начну ходить,
Для вас, общественные раны,
Я буду пластырем служить.

Во всех приказных, бравших взятки
(Подогревая в сердце злость),
Во всех, кто грубы, грязны, гадки,
Мой стих вопьется, словно гвоздь.

Рысак ли бешеный промчится,
Спадет ли с здания кирпич,
Хожалый вздумает напиться —
Я буду всех разить, как бич,
И стану сам себе дивиться.

Людей сдержу я, как уздой,
И буду в жизненном потоке
Для них живой сковородой,
Где станут жариться пороки.

II

МОТИВ СЛЕЗНО-ГРАЖДАНСКИЙ

Мне жаль тебя, несчастный брат!..
Тяжел твой крест — всей жизни ноша.
Не предложу тебе я гроша,
Но плакать, плакать буду рад.

Пусть возбуждают жалость в мире
Твои лохмотья, чахлый вид —
Тебе угла не дам в квартире,
Но плакать буду хоть навзрыд.

Ходи босой в мороз и слякоть,
Я корки хлеба не подам,
Но о тебе в альбомах дам
Я стану плакать, плакать, плакать!..

III

МОТИВ ЯСНО-ЛИРИЧЕСКИЙ

Тихий вечер навевает
Грезы наяву,

Соловей не умолкает...
Вот я чем живу.
Месяц льет потоки света...
Сел я на траву,—
Огоньки сверкают где-то...
Вот я чем живу.
В летний день, в затишьи сада,
Милую зову,
Поджидаю в поле стадо...
Вот я чем живу.
Лаской девы ненаглядной,
Rendez-vous [1] во рву,
Видом бабочки нарядной —
Вот я чем живу.
Я срываю шишки с ели,
Незабудки рву
И пою, пою без цели...
Вот я чем живу.

IV

ЮБИЛЕЙНЫЙ МОТИВ

Кому угодно

Когда сном крепким спал народ
И спячка длилась год за годом...
(Тут нужно древний эпизод
Сравнить с новейшим эпизодом.)

Когда на всех, в ком сила есть,
Смотрела Русь в немом испуге...
(Поэт обязан перечесть
Здесь юбилятора заслуги.)

Тогда *(обеденный певец*
Встает в порыве вдохновенья)
Ты появился наконец!
(Сбегают слезы умиленья.)

Как луч из мрачных облаков,
Ты вдруг сверкнул, нам дал отвагу!..
(Чтоб не забыть своих стихов,
Поэт косится на бумагу.)

[1] свиданием *(фр.)*.

И вот теперь весь этот зал
Тебя помянет в общем тосте!..
(Певец хватает свой бокал,
А лоб певца целуют гости.)

V

МОТИВ БЕШЕНО-МОСКОВСКИЙ

Русь героями богата,
Словно вылита она
Из гранита и булата,
И прихода супостата
Не боится вся страна,
Не обдаст врагов картечью,
Не покажет им штыка,
Но отбросит перед сечью
Молодецкой, русской речью,
Просолив ее слегка,
Этой речью сочной, рьяной,
Крепкой, цепкой так и сяк,
Забубенной, грозной, пряной,
Удальством славянским пьяной,
Едкой, меткой, как кулак.
Кто ж противиться нам может?
Славянин перед врагом
Руку за ухо заложит,
Гаркнет, свистнет и положит
Супостатов всех кругом.

ШУТ

Его удел — смешить нас всех.
        Блажен такой удел!..
Ведь в наши дни мы ценим смех —
Лишь только б он не ставил в грех
Нам наших собственных прорех
        И наших темных дел.
Он шутит мило и легко...
        Угрюмейший педант,
Ценя в нем юмор высоко,
С ним разопьет стакан клико,
О нем шепнув нам на ушко:
        «Талант, большой талант!»

Едва он в комнату вошел,
Едва раскроет рот —
Веселья общего посол,—
Все гости покидают стол;
Смеется весь «прекрасный пол»,
Смеется весь народ:
Смеется жирная вдова,
Смеется тощий франт;
Не смотрит барышня на льва
И может смех скрывать едва,
И все твердят одни слова:
«Талант, большой талант!»

Пусть у других в насмешке — яд,
Но он одним смешит:
Как две старухи говорят,
Как раз напился пьян солдат,
Купцы на ярмарке кутят,
А в этом нет обид.
Без соли весел и остер,
Мишенью для потех
Он изберет мужицкий спор,
Ничем нас не введет в задор —
И слышишь общий приговор:
«Вот настоящий смех!»

Зевают в клубе от статей
Угрюмого чтеца,
Глаза смыкает нам Морфей,
Но вышел клубный корифей —
И у старух и невских фей
Забились вдруг сердца...
Все чутко слушают рассказ,
Хотя столичный шут
Его читал уже сто раз...
Дрожит вся зала в этот час,
От смеха тухнет в люстре газ,
Перчатки дамы рвут...

Кутит богатый самодур —
И шут, в главе льстецов,
Всех забавляет чересчур —
И за дешевый каламбур
Он награжден визжаньем дур
И хохотом глупцов.

Без остановки круглый год
    Кривляться он готов,
Смеша лакеев и господ
Дождем копеечных острот,
Не замечая в свой черед,
    Что шут он из шутов.

Теперь шутам везде привет
    За их бесценный дар
Шутить, хоть в шутках смысла нет...
— Молчи ж, озлобленный поэт!
Займет твой пост на много лет
    Общественный фигляр...
Твои насмешки нас язвят
    Сильнее клеветы...
Нам нужен смех на старый лад,
На жизнь веселый, светлый взгляд,
Нам нужен гаера наряд...
    Да здравствуют шуты!..

КОРОЛЬ И ШУТ

Король негодует, то взад, то вперед
    По зале пустынной шагая;
Как раненый зверь, он и мечет и рвет,
    Суровые брови сдвигая.

Король негодует: «Что день, то беда!
    Отвсюду зловещие вести.
Везде лихоимство, лесть, подкуп, вражда,
    Ни в ком нет ни правды, ни чести...

Поджоги, убийства, разврат, грабежи,
    Иуда сидит на Иуде...»
Король обратился к шуту: «О, скажи:
    Куда делись честные люди?»

И шут засмеялся: «Ах ты, чудодей!
    Очистив весь край понемногу,
Ты в ссылку отправил всех честных людей
    И — сам поднимаешь тревогу!»

ЭПИГРАММЫ

ЖУРНАЛУ, ПЕРЕМЕНИВШЕМУ РЕДАКТОРА

Мы перемены в нем дождались,
Но пользы нет и нет пока:
Переменили ямщика,
А клячи прежние остались.

«САПОЖНИК»

(Кочетова)

Сюжет по дарованью и по силам
Умея для картины выбирать,
Художник хорошо владеет... шилом —
Тьфу! — кистью — я хотел сказать.

ОТГОЛОСКИ О ЦЕНЗУРЕ

I

О Зевс! Под тьмой родного крова
Ты дал нам множество даров,
Уничтожая их сурово,
Дал людям мысль при даре слова
И в то же время — цензоров!!

II

В КАБИНЕТЕ ЦЕНЗОРА

Здесь над статьями совершают
Вдвойне убийственный обряд:
Как православных — их крестят
И, как евреев,— обрезают.

* * *

Я не гожусь, конечно, в судьи,
Но не смущен таким вопросом.
Пусть Тамберлик берет *do* грудью,
А ты, мой друг, берешь *do* — носом.

<В. П. БУРЕНИНУ>

По Невскому бежит собака,
За ней Буренин, тих и мил...
Городовой, смотри, однако,
Чтоб он ее не укусил!

Л. Н. ТРЕФОЛЕВ

БУЙНОЕ ВЕЧЕ

Из «Записок земца»

...И часто
Я отгадать хотел, о чем он пишет:
О грозном ли владычестве татар,
О буйном ли новогородском вече?

Пушкин

Гой еси, читатель! Слушай, человече,
Некое сказанье о недавнем вече...
. . . .
За столом сидели умные «особы»
И решали плавно, чинно и без злобы
О хозяйстве сельском хитрые вопросы.
Это были «наши». Это были «россы»,
Люди с головами, всё экономисты.
Помыслы их были радужны и чисты,
Как душа младенца; взоры — не свирепы;
Ибо, рассуждая о посадке репы
Или о горохе самым важным тоном,
Трудно быть Маратом, трудно быть Дантоном.
Даже сам картофель, скажем для примера,
Может ли из земца сделать Робеспьера?
Но, на всякий случай, средь экономистов
Важно поместился местный частный пристав,
Ради ли хозяйства или ради страха —
Это предоставим веденью аллаха.

«Съехались сюда мы из пяти губерний
(Начал Клим Степаныч) с целью, чтоб из терний
Вырастить пшеницу. Важная задача!
Что теперь хозяйство-с? Это... это кляча
Жалкая, худая, без ума, без силы:
Где копытом топнет — выроет могилы,
Где лягнет ногою — вырастет терновник...
Словом, эта кляча есть прямой виновник
Наших зол и бедствий, нашего банкротства,

Так сказать, источник «русского сиротства».
К вечу обращаюсь я с мольбою рабской:
Пусть из русской клячи выйдет конь арабский,
Гордый и свободный! Пусть на русском поле
Золотистый колос нежится на воле...»

«Ваше выраженье не совсем удачно! —
Молвил частный пристав, брови хмуря мрачно.—
Нужно, Клим Степаныч, быть поосторожней!
Здесь я представляюсь нравственной таможней,
Так сказать — заставой... в идеальном роде.
Говорите больше, больше о народе,
О народных пользах, о народном благе,
Но не повторяйте в буйственной отваге
Эти каламбуры, «экивоки», «вицы»...
У меня, заметьте, жестки рукавицы!
Я имею право, Клим Степаныч... Впрочем,
Вас «призвать к порядку» мы еще отсрочим.
Смело объясните, но без краснобайства:
В чем лежит основа сельского хозяйства?»

«В чем? Да очень просто-с: в трезвости народной! —
Молвил Клим Степаныч с миной благородной.—
Наш мужик — пьянчужка. Это всем известно.
Кабаки плодятся нынче повсеместно,
И напрасно ропщет сельский обыватель,
Что его карает чересчур создатель:
Сам он в том виновен, небо раздражая,
Что ему создатель не дал урожая...»
«Это грех какой же?» — кто-то молвил с места.
«Я не разумею вашего протеста! —
Отвечал оратор, улыбаясь кротко.—
Грех сей всем известен. Это... это водка.
От нее и леность, от нее пороки,
От нее и трудность собирать оброки;
От нее и царство наше без кредита...
(Частный пристав что-то промычал сердито.)
У меня, примерно, есть наделов триста.
Правда, что земелька больно неказиста,—
Кое-где песочек, кое-где болотца;
Но мужик с природой мог бы сам бороться!
У него есть руки. Но и думать даже
Пьяница не хочет вовсе о дренаже.
Эта неподвижность, эта закоснелость,
Я боюсь, разрушит в государстве целость...»

«Вы... о государстве?! Ради бога, тише! —
Вскрикнул частный пристав.— Велено так свыше.
Мы о сем предмете ничего не скажем,
А займемся снова водкой и дренажем...»

«Весь вопрос исчерпан! — грянул вдруг октавой
Водочный заводчик, земец тучный, бравый.—
Водка есть, конечно, горе для народа,
Но ее велит нам пить сама природа.
Если (с сильным чувством продолжал оратор),
Если попадем мы, чудом, под экватор,
Ну, тогда мне с вами можно быть согласным:
Водку что за радость пить под небом ясным?
Там растут бананы, пропасть винограду,
А у нас лишь водка всем дает отраду.
Там, на солнце нежась, зреют апельсины,
А у нас в уезде — ели да осины...
Полюс и экватор — разница большая.
Мы, родным напитком сердце утешая
И живя под снегом здесь, в Гиперборее,
Чувствуем, что водка делает бодрее
Русского героя, русского пейзана...
Здесь ведь не экватор-с, даже не Лозанна!
Каждый добрый русский к водке меньше жаден,
Если он приедет даже в Баден-Баден;
Но туда не часто ездят пошехонцы,
Для вояжа нужны звонкие червонцы,
А у нас их мало; но на рубль кредитный
Можно выпить водки славной, аппетитной.
(Я мои изделья вам рекомендую...)
А за Русь святую я и в ус не дую:
Все снесет, все стерпит добрая старуха!
Горе унесется к небу легче пуха...
Заявляю вечу прямо, без коварства,
Что налог питейный — щит для государства...»

«Вы... о государстве?!» — грянул частный пристав.
Взор его был мрачен, голос был неистов.
Все затрепетали, выслушав угрозу,
И — pardon! — решились перейти... к навозу.
(Слово это грубо, дерзко, неопрятно,
Но для русских земцев столько же приятно,
Столь же благозвучно, как «fumier» [1] французу,

[1] навоз *(фр.)*.

Если он захочет беспокоить музу.)

. . . .

Сидор Карпыч начал с целью примиренья:
«Вовсе несподручно жить без удобренья.
Это всем известно, это аксиома.
У меня в деревне есть мужик Ерема.
У сего Еремы чахлых две лошадки,
И дела Еремы очень, очень шатки;
У его же кума, у бедняги Прова,
Только и осталась бурая корова,
Да и ту, я слышал, вскоре он утратит,
Ибо государству подати не платит...»

«Вы... о государстве?! Как же это можно? —
Вскрикнул частный пристав злобно и тревожно.—
Несколько убавьте пыл ваш либеральный,
А не то... на свист мой выглянет квартальный.
(Чтоб пресечь мгновенно злобные баклуши,
Он стоит за дверью, навостривши уши.)
Впрочем, не желая вас послать на полюс,
От дальнейших прений я уж вас уволю-с...»

Карл Богданыч (немец, сильно обрусевший,
Даже бутерброды неохотно евший,
Даже говорящий вместо «эти» — «эвти»)
Утверждал хозяйство на бакинской нефти:
«Нефть спасет хозяйство, нефть его осветит.
Разве лишь незрячий факта не заметит,
Что теперь, при нефти, менее поджогов,
Что она потребна для палат, острогов,
Барских кабинетов и бобыльской кельи,
Что она удобна и при земледельи,
Ибо (Карл Богданыч очень любит «ибо»)
Каждый русский пахарь скажет ей спасибо,
Смазывая нефтью ось своей телеги...
Мы не азиатцы, мы не печенеги!
(Так гремел оратор.) Нефть необходима.
«В дни новогородца храброго Вадима
Русь еще не знала нефтяных заводов,
Ибо представляла сонмище народов
Диких и свирепых...» — говорит Устрялов.
Сей Вадим, прапращур наших либералов,
Как они, был неуч. Сей республиканец
Знал один лишь деготь...» — «Вы, как иностранец,—
Крикнул частный пристав,— целы, невредимы:

Мне подсудны только русские «Вадимы».
Ваша речь, явившись в нашем протоколе,
Русского могла бы водворить и в Коле;
Но за эту дерзость, за такое слово,
Вашу братью гонят... через Вержболово!»

Бедный Карл Богданыч, проворчавши под нос,
Низко поклонился... «Эвто как угодно-с,
Но за нефть держаться я имел причину...»
«Я за соль держуся...» — «Я же — за овчину...»
«Соль нужна в хозяйстве...» — «Да-с. Но за овечку
Следует поставить пред иконой свечку...»
«Да-с. Но для овечки нужен свежий клевер;
Если этой травкой мы засеем север...»
«Да-с. Нам поработать нужно над лугами,
Также над коровой и над битюгами:
В битюгах вся сила!» — «Да-с. Битюг — битюгом,
Но займитесь прежде, Петр Игнатьич, плугом...»
«Вы, Авдей Авдеич, совершенно правы,
Но исправьте прежде нравы, нравы, нравы!..»
«Эх, куда хватили, батенька, ей-богу!
Предоставим нравы исправлять острогу.
«Нравы» нам известны-с. Это не новинка.
Нам не нравы нужны-с. Нам потребна свинка.
Нет на свете лучше бекширской породы!
Так решил весь Запад, то есть все народы...
Чем же мы их хуже... в свиноводстве, право?»
...Вече зашумело: «Браво, браво, браво!»
. . . .

«Мы златою пчелкой Русь обезопасим! —
Грянул, протестуя, вдруг отец Герасим.—
В оном свиноводстве слишком мало толку...
Главное забыли: мы забыли пчелку.
Пред почтенным вечем утаить могу ль я
Важное значенье для хозяйства улья?
Карамзин глаголет, что во время оно
Украшал сей улей дорогое лоно
Матушки-России. Такожде Советов
Много дал изрядных о пчеле советов.
Гавриил Державин пел: «Пчела златая!»
Без нее не сладок чудный дар Китая,
Сиречь чай цветочный... Нужен воск, понеже
Токмо анархисту, злобному невеже,
В храмах неизвестны свечи восковые...

У одной просвирни, у одной вдовы, я
Видел ульев сорок... И сия вдовица
С них сбирает «взяток», якобы царица
С подданных...» — «Позвольте (молвил частный
пристав)
Вас самих причислить к сонму анархистов.
Ваши рассужденья, батюшка, отсрочьте,
А не то владыке донесу по почте!»

Батюшка смутился, потупивши очи,
Ибо частный пристав был мрачнее ночи.
Добрый шеф уездный (то есть предводитель)
Молвил очень кстати: «Кушать не хотите ль?
В грязь челом не лягу даже при султане:
Так отменно вкусны караси в сметане!»

«Сельское хозяйство еле-еле дышит.
Что его шатает? Что его колышет,
Как былинку в поле? Барская рутина! —
Так один из земцев, пасмурный детина,
Твердо вставил слово.— Силой красноречья
Вас, народолюбцы, не могу увлечь я.
Это и не нужно, добрые сеньоры!
Ни к чему не служат ваши разговоры,
Ни гроша не стоят съезды и «дебаты»:
Будем ли прямыми, если не горбаты?
А ведь мы... горбаты! Мы перед народом
Вечно, вечно будем нравственным уродом.
Да-с, «дебаты» наши лишь игра в бирюльки.
Мы играем вечно, начиная с люльки
До сырой могилы, волею народа —
Видим в нем лентяя, пьяного урода
Или же, напротив, в нем «героя» видим...
Это по-латыни — idem et per idem[1].
Наш народ — не мальчик, вас самих поучит,
Если... если голод вдосталь не замучит
Вашего «героя», вашего «пьянчужку».
Слез о нем не лейте ночью на подушку:
Слезы крокодила — это не алмазы.
Хлеб народу нужен, а не ваши фразы.
. . . .

[1] то же самое и тем же самым *(лат.)*.

Мы стоим высоко и кричим с вершины:
«Проводи дренажи, заводи машины,
Распростись с системой старою, трехпольной,
Ведь теперь, голубчик, человек ты вольный!
По тебе мы страждем либеральной болью,
Ибо ты не знаешь, сколь полезно солью
Питие и пищу приправлять скотине.
Ангел мой, не следуй дедовской рутине!
Миленький, скорее заведись ты пчелкой!
Бедненький, зубками с голоду не щелкай!»

Так поем мы песни слаще канареек...
А ведь хлеб-то черный стоит пять копеек!
Не стократ ли лучше, чем играть в бирюльки,
Этот стол назначить... для вечерней пульки?
Или, как сказал наш добрый предводитель,
Карася в сметане скушать не хотите ль?
Или, сознавая русские мытарства,
Голод, холод, бедность, гнет для государства...»
«Так лишь рассуждали в Запорожской Сече!» —
Рявкнул частный пристав... И закрыл он вече.

ПИИТА

Раз народнику-пиите
Так изрек урядник-ундер:
«Вы не пойте, погодите,
Иль возьму вас на цугундер!»

Отвечал с улыбкой робкой
Наш певец, потупя очи:
«Пусть я буду пешкой, пробкой,
Но без песен жить нет мочи.

Песня в воздухе несется,
Рассыпаясь, замирая,
С песней легче сердце бьется,
Песня — это звуки рая.

Песне сладкой все покорно,
И под твердью голубою
Песнь нам явится позорно
Низкой, подлою рабою.

Песня — радость в день печальный,
С песней счастлив и несчастный...»
Вдруг — свисток. Бежит квартальный,
А за ним и пристав частный.

Отбирают показанья
Твердой, быстрою рукою:
«Усладили вы терзанья
Русской песней, но какою?

Вы поете о народе —
Это вредно. Пойте спроста:
«Во саду ли, в огороде...»,
«Возле речки, возле моста...».

Много чудных русских песен,
Как пиите, вам известно...
Мир поэзии не тесен,
Но в кутузке очень тесно».

Внявши мудрому совету,
Днесь пиита не лукавит:
Он теперь в минуту эту
Лишь Христа с дьячками славит.

ПОЧЕМУ ОНИ ПОЮТ О ДЕВАХ И РОЗАХ?

«Беда тому, кто любит гнев,
    Кто род людской влачит на плаху!
Он не увидит гурий-дев
    И не приблизится к аллаху.
Беда тому, кто, словно зверь,
    За человеком-братом рыщет:
Пророк пред ним захлопнет дверь,
    А балагур его освищет...»

Так пел поэт перед дворцом
    Калеки грозного, Тимура.
«Хромой», с пылающим лицом,
    Сказал: «Словите балагура!»
Певца к Тимуру привели.

«Раскайся в балагурстве глупом,
Прощения проси-моли,
Не то, злой раб, ты будешь трупом!»

«Могу покаяться, но в чем?
Пророку предан я с любовью.
Я не был лютым палачом
И не запятнан братской кровью.
От сердца песенки пою,
Влагая в них и смех и душу...»
«А если голову твою
Велю срубить, ты струсишь?» —
«Струшу.

Еще б не струсить, хан! И ты
Вздрогнéшь, как человек пропащий,
Увидя камень, с высоты
На голову твою летящий.
Еще б не струсить! Ты и сам
Струхнешь, заметив льва в пустыне...
Отдай мой труп голодным псам,
Да помни то, что пел я ныне!»

Захохотал хромой Тимур:
«Возьми мой перстень изумрудный,
Но только помни, балагур,
Что я не лев в степи безлюдной.
Еще прими совет благой:
Не пой мне песен не по нраву,
Или тебя с кривой ногой
Я догоню и дам расправу!»

От самаркандского дворца
Певец бежал, главу понуря.
В душе свободного певца
Горел огонь, шумела буря:
Но он преодолел свой гнев
И, помня ханскую угрозу,
Стал воспевать... невинных дев
И обольстительную розу.

ГЕНЕРАЛ ЕРОФЕЙ

(Легенда [1])

Ерофей генерал побеждал и карал
Пугачева и Разина Стеньку.
Получивши «абшид» без мундира, спешит
Он в родную свою деревеньку.

Приезжает туда. Деревенька худа;
Обнищали его мужичонки,
Нагишом ходят все. Генерал с фрикасе
Перешел... на телячьи печенки.

Он сердито сквозь строй прогонял как герой,
Не жалея березовой рощи;
А теперь уж не то: ходит в статском пальто
Генерал, преисполненный мощи.

Он хандрит и ворчит, грозно палкой стучит,
Напевая мотивы из «Нормы»:
«Суета! Суета! Жизнь не та, жизнь не та,
Как, бывало, жилось... до реформы!»

Ненавидя толпу, он прибегнул к попу,
И, беседуя кротко с поповной,
Так он сделался прост, что в рождественский пост
И не думал о страсти любовной.

Генерал Ерофей в пост успенский шалфей
Пил с молитвой и верою жаркой;
Но зато в мясопуст от поповниных уст
Кипятился за пенистой чаркой.

Буйный дух в нем исчез, говорить стал на «ес»...
«Нравы наши-с... Да в том-то и горе-с,
Что прошли времена-с, позабыли о нас...
По латыни-с: o tempora, mores!» [2]

---

[1] Придирчивые историки могут усмотреть в сей легенде небольшие анахронизмы касательно побед одного и того же лица над Стенькой Разиным и Емелькой Пугачевым. Во всем остальном сия легенда основана на исторических фактах, сомневаться в коих не дерзаем. *(Примеч. Л. Н. Трефолева.)*

[2] о времена, нравы! *(лат.)*

Генерал выпивал. Поп главою кивал,
Восклицая: «Из праха изыдем,
Обращаемся в прах!» — Снова рюмочку тррах...
Так и дальше. Всё idem per idem [1].

Допивая шалфей, раз вздремнул Ерофей.
Вдруг влетает волшебница-фея
И пред ним держит речь: «Чтобы силы сберечь,
Не вкушай, друг любезный, шалфея!» —

«Как же быть мне с попом? — В онеменьи тупом,
Побледневши белее рубашки,
Генерал вопросил: — Я в отставке, без сил,
И мои прегрешения тяжки!»

«Человече простой, ты травами настой
Свой напиток. Есть чудные травы.
Вот рецепт мой, бери. И держу я пари:
Ты очистишь российские нравы.

Каждый любит свое — и еду и питье.
Шнапс у немцев... *Вас? Шпрехен зи дейч?..* [2]
У французов — клико; а тебе так легко,
Ерофей, сочинить «ерофеич»!»

И мила и нежна улетела она —
Легкокрылая, резвая фея.
Вместо злата и лепт очутился рецепт
В генеральских руках Ерофея.

Он настойки вкусил — и прибавилось сил,
Заскакал, как лихой кабардинец,
И вскричал Ерофей: «Для чего пить шалфей,
Если дан мне волшебный гостинец?»

У любого спроси: кто у нас на Руси
От гостинца сего не шатался?
Улетел в царство фей генерал Ерофей,
Но его «ерофеич» остался.

---

1 само по себе *(лат.)*.
2 Что? Говорите ли по-немецки? *(нем.)*

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ПОБЕДОНОСЦЕВ

...Бело тело костромское
Не земное, не плотское,
Бело тело запотело,
Разгуляться захотело...

*Костромская песня
о костромиче Победоносцеве*

Кто такой Победоносцев? —
Для попов — Обедоносцев,
Для народа — Бедоносцев,
Для желудка — Едоносцев...
Для царя — он злой Доносцев...

Он к царю придет с докладом,
От царя уйдет с окладом,
Награжденный златом-кладом,
Возгласив тихонько ладом:
«Жизнь не кажется мне адом,—
Принесите «лепту» на дом!..»

Ох ты, господи мой боже!..
Почему же, отчего же
Мне не носят лепты на дом?
Жизнь сходна в России с адом,
В ней нельзя жить дружно, ладом,
Со свободой, чудным кладом:

В ней урядники — с окладом,
А исправники — с докладом...
...Много-много в ней «доносцев»,
Константин Победоносцев...

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился,— сказал один генерал,— вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! да что ж это такое! где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слезы,— ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что,— отвечал другой генерал,— подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?

— Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да,— отвечал другой генерал,— признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как все это сделать?

— Как все это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом,— ведь этак мы друг друга съедим! И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку:

сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!»

Но упоминовение об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться,— начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда наконец соки совсем не прекратятся...

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

— «Вчера,— читал взволнованным голосом один генерал,— у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских — фазан и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника...»

— Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:

— «Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

— «Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры,— все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство,— сказал он радостно,— если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Ка́к нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него,— небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!»

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют...

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани,— и ничего, не тошнит!

* * *

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет или по крыше словно муха ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, что можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот наконец и Нева-матушка, вот и Екатерининский

славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Заинька! остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: «Через столько-то суток и часов смерть должна прийти». Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются: «Ха-ха!» И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: «Изменил мне косой!» А может быть, подождала-подождала, да и с другим... слюбилась... А может быть и так: играла, бедняжка, в кустах, а тут ее волк... и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, са-

мовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего — куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит... Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается — ан это невестин брат.

— Невеста-то твоя помирает,— говорит.— Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает: «Неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!»

Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалося. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности — неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой заиньке, которая тем только и виновата, что его, косого, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую заиньку, передними лапками за ушки и все бы миловал да по головке бы гладил.

— Бежим! — говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет — и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

— Не могу,— говорит,— волк не велел.

А волк между тем все видит и слышит, и потихоньку по-волчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

— Бежим! — опять говорит посланец.

— Не могу! — повторяет осужденный.

— Что вы там шепчетесь, злоумышляете? — как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу — что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой заиньке и без жениха, и без братца — обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые — а перед ними и волк, и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

— Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... землячок проведать меня пришел! — лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху.

— То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

— Так и так, ваше благородие,— вступился тут невестин брат,— сестрица моя, а его невеста, помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

— Гм... это хорошо, что невеста жениха любит,— говорит волчиха.— Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк! отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

— Да ведь его на послезавтра есть назначено...

— Я, ваше благородие, прибегу... я мигом оборочу... у меня это... вот как бог свят прибегу! — заспешил осужденный и, чтобы волк не сомневался, что он *может* мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом у себя оставил.

— Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра,— сказал он,— я его вместо тебя съем; а коли воротишься — обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется — он ее на «на уру» возьмет; река — он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото — он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!» ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы быстроте его удивлялись,— говорили: «Вот в «Московских ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар — а вон он как... улепетывает!»

Прибежал наконец. Сколько тут радостей было — этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая заинька, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела

на себя барабан и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать — это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем: не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы — всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

— Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

— Что больно к спеху занадобилось? — подшучивает над ним зайчиха-мать.

— Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин. Судили тут тетки и сестрицы — и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова — крепись, а давши — держись! никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

— Беспременно меня волк съест,— говорил он,— так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытьи (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

— А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сраженье кипело. В третьем месте холера проявилась — надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть... А кроме того, волки, лисицы, совы — на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой; зараньше так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи; ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит, глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И все-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: «Через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит!» Вспомнит он об этом — и еще шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота — все ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг все кругом затихло, словно помертвело. А косой все бежит и все одну думу думает: «Неужто ж я друга не выручу!»

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг — пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее... А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот наконец гора. За этой горой — болото и в нем — волчье логово... Опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения... неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним как на блюдечке. Где-то вдали, на колокольне, бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

— Здесь я! здесь! — крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

— Вижу,— сказал он,— что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!

ОБМАНЩИК-ГАЗЕТЧИК И ЛЕГКОВЕРНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик — все обманывал, а читатель был легковерный — всему верил. Так уж исстари повелось на свете: обманщики обманывают, а легковерные верят. Suum cuique [1].

Сидит газетчик в своей берлоге и знай себе обманывает да обманывает. «Берегитесь! — говорит,— дифтерит обывателей косит!» «Дождей,— говорит,— с самого начала весны нет — того гляди, без хлеба останемся!» «Пожары деревни и города истребляют!» «Добро казенное и общественное врозь тащат!» А читатель читает и думает, что газетчик ему глаза открывает. «Такая, говорит, уж у нас свобода книгопечатания: куда ни взгляни — везде либо дифтерит, либо пожар, либо неурожай»...

Дальше — больше. Смекнул газетчик, что его обманы по сердцу читателю пришлись,— начал еще пуще поддавать. «Никакой, говорит, у нас обеспеченности нет! не выходи, говорит, читатель, на улицу: как раз в кутузку попадешь!» А легковерный читатель идет гоголем по улице и приговаривает: «Ах, как верно газетчик про нашу необеспеченность выразился!» Мало того: другого легковерного читателя встретит и того спросит: «А читали вы, как прекрасно сегодня насчет нашей необеспеченности газетчик продернул?» — «Как не читать! — ответит другой легковерный читатель,— бесподобно! Нельзя, именно нельзя у нас по улицам ходить — сейчас в кутузку попадешь!»

И все свободой книгопечатания не нахвалятся. «Не знали мы, что у нас везде дифтерит,— хором поют лег-

---

[1] Каждому свое *(лат.)*.

коверные читатели,— ан оно вон что!» И так им от этой уверенности на душе легко стало, что скажи теперь этот самый газетчик, что дифтерит был, да весь вышел, пожалуй, и газетину его перестали бы читать.

А газетчик этому рад, потому для него обман — прямая выгода. Истина-то не всякому достается — поди добивайся! — пожалуй, за нее и десятью копеечками со строчки не отбояришься! То ли дело обман! Знай пиши да обманывай. Пять копеек со строчки — целые вороха обманов со всех сторон тебе нанесут!

И такая у газетчика с читателем дружба завелась, что и водой их не разольешь. Что больше обманывает газетчик, то больше богатеет (а обманщику чего же другого и нужно!); а читатель, что больше его обманывают, то больше пятаков газетчику несет. И распивочно, и навынос — всяко газетчик копейку зашибает!

«Штанов не было! — говорят про него завистники,— а теперь, смотрите, как козыряет! Льстеца себе нанял! рассказчика из народного быта завел! Блаженствует!»

Пробовали было другие газетчики истиной его подкузьмить — авось, дескать, и на нашу приваду подписчик побежит,— так куда тебе! Не хочет ничего знать читатель, только одно и твердит:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...

Долго ли, коротко ли так дело шло, но только нашлись добрые люди, которые пожалели легковерного читателя. Призвали обманщика-газетчика и говорят ему: «Будет с тебя, бесстыжий и неверный человек! До сих пор ты торговал обманом, а отныне — торгуй истиной!»

Да, кстати, и читатели начали понемножку отрезвляться, стали цидулки газетчику посылать. Гулял, дескать, я сегодня с дочерью по Невскому, думал на Съезжей ночевать (дочка даже бутербродами, на случай, запаслась,— говорила: «Ах, как будет весело!»), а вместо того благополучно оба воротились домой... Так как же, мол, такой утешительный факт с вашими передовицами об нашей необеспеченности согласовать?

Натурально, газетчик, с своей стороны, только того и ждал. Признаться сказать, ему и самому надоело обманывать. Сердце-то у него давно уж к истине склонялось, да что же поделаешь, коли читатель только на

обман клюет! Плачешь, да обманываешь. Теперь же, когда к нему со всех сторон с ножом к горлу пристают, чтоб он истину говорил,— что ж, он готов! Истина так истина, черт побери! Обманом два каменных дома нажил, а остальные два каменные дома приходится истиной наживать!

И начал он каждый день читателя истиной донимать! Нет дифтерита, да и шабаш! И кутузок нет, и пожаров нет; если же и выгорел Конотоп, так после пожара он еще лучше выстроился. А урожай, благодаря наступившим теплым дождям, оказался такой, что и сами ели-ели, да наконец и немцам стали под стол бросать: подавись!

Но что всего замечательнее — печатает газетчик только истину, а за строку всё пять копеек платит. И истина в цене упала с тех пор, как стали ею распивочно торговать. Выходит, что истина, что обман — все равно цена грош. А газетные столбцы не только не сделались оттого скучнее, но еще больше оживились. Потому что, ведь ежели благорастворение воздухов вплотную разделывать начать — это такая картина выйдет, что отдай всё, да и мало!

Наконец читатель окончательно отрезвился и прозрел. И прежде ему недурно жилось, когда он обман за истину принимал, а теперь уж и совсем от сердца отлегло. В булочную зайдет — там ему говорят: «Надо быть, со временем хлеб дешев будет!», в курятную лавку заглянет — там ему говорят: «Надо быть, со временем рябчики нипочем будут!»

— Ну, а покудова как?

— Покудова рубль двадцать копеечек за пару!

Вот какой, с божьею помощью, поворот!

И вот однажды вышел легковерный читатель франтом на улицу. Идет, «в надежде славы и добра», и тросточкой помахивает: знайте, мол, что отныне я вполне обеспечен!

Но на этот раз, как на грех, произошло следующее:

Не успел он несколько шагов сделать, как случилась юридическая ошибка, и его посадили в кутузку.

Там он целый день просидел не евши. Потому что хоть его и потчевали, но он посмотрел-посмотрел, да только молвил: «Вот они, урожаи-то наши, каковы!»

Там же он схватил дифтерит.

Разумеется, на другой день юридическая ошибка объяснилась, и его выпустили на поруки (не ровен слу-

чай, и опять понадобится). Он возвратился домой и умер.

А газетчик-обманщик и сейчас жив. Четвертый каменный дом под крышу подводит и с утра до вечера об одном думает: чем ему напредки легковерного читателя ловчее обманывать: обманом или истиною?

ВЯЛЕНАЯ ВОБЛА

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.

И стала вобла жить да поживать [1].

— Как это хорошо,— говорила вяленая вобла,— что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего такого не будет! Всё у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!

Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства — об этом, еще живучи на воле, вобла слышала. И никогда, признаться, не завидовала тем, которые такими излишками обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за «лишним» не гналась, в эмпиреях не витала и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где, бывало, заслышит, что пискари об конституциях болтают — сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же, и за всем тем, не без страху жила, потому что, не ровен час, вдруг... «Мудреное нынче время! — думала она,— такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет! Начнут, это, шарить, а ты *около* где-нибудь спряталась,— ан и *около* пошарят! Где была? по какому случаю? каким манером? — господи, спаси и помилуй!» Стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили и все мысли и чувства у ней выхолостили! «Теперь милости

[1] Я знаю, что в натуре этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

просим! — торжествовала она,— когда угодно и кто угодно приходи! теперь у меня все доказательства налицо!»

Что именно разумела вяленая вобла под названием «лишних» мыслей и чувств — неизвестно, но что, действительно, на наших глазах много лишнего завелось — с этим и я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что куда ни обернись — везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется, по-старинному, прямиком пройти, ан прямик буреломом завалило, промоинами исковеркало — ну, и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный человек нынче эту тягость уж сознает, а какое для начальства от того отягощение — этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые; да и в штатах-то в самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: как сел на место в десять часов утра, так и не встает до четырех — все служит! А нынче придет он в час, уже позавтракавши; час папироску курит, час куплеты напевает, а остальное время — та́к около столов колобродит. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать: «Посмотрите, какой курьез!» — за другое возьмется: «Глядите! ведь это — отдай всё, да и мало!» Наберет курьезов с три короба да к Палкину обедать. А как ты удержишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить! — Да ежели, я вам доложу, за каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана, так и тогда от нескромностей не уйти!

Спрашивается: с кем же тут начальству подняться! У всех есть пособники, а у него нет; у всех есть укрыватели, а у него нет. Как тут остановить наплыв «лишнего» в партикулярном мире, когда в своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами,— везде лишнее да неподлежащее так и хлещет через край!

Трудно, ах как трудно среди этой массы привесков жить! приходится всю дорогу ощупью идти. Думаешь, что настоящее место нашарил, а оказывается, что шарил «около». Бесполезно, бесплодно, жестоко, срамно. Положим, что невелика беда, что невиноватый за вино-

ватого сошел — много их, невиноватых-то этих! сегодня он не виноват, а завтра кто ж его знает? — да вот в чем настоящая беда: подлинного-то виноватого все-таки нет! Стало быть, и опять нащупывать надо, и опять — мимо! В том все время и проходит. Понятно, что даже самые умудренные партикулярные люди (те, которые сальных свечей не едят и стеклом не утираются) — и те стали в тупик! И так как на ежа голым телом никому неохота садиться, то всякий и вопиет: «Господи! пронеси!»

Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески счесть, да и присмотреться к ним. Узнать: откуда они пришли? зачем? куда пролезть хотят? Не все же нахалом вперед лезут — иное что и полезное сыщется.

Очень, впрочем, возможно, что вобле эти вопросы и на ум совсем не приходили. Однако повторяю: и она, вместе с прочими, чувствовала, что или от привесков, или по поводу привесков — ей всячески мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько провялило и выветрило, когда она убедилась, что внутри у нее ничего, кроме молок, не осталось,— только тогда она ободрилась и сказала себе: «Ну, теперь мне на все наплевать!»

И точно: теперь она, даже против прежнего, сделалась солиднее и благонадежнее. Мысли у ней — резонные, чувства — никого не задевающие, совести — на медный пятак. Сидит себе с краю и говорит, как пишет. Нищий к ней подойдет — она оглянется, коли есть посторонние — сунет нищему в руку грошик; коли нет никого — кивнет головой: бог подаст! Встретится с кем-нибудь — непременно в разговор вступит; откровенно мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь — людей насмешишь и т. п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут.

— Ах, воблушка! как ты скучно на бобах разводишь! точно тебя тошнит! — воскликнет собеседник, ежели он из свеженьких.

— И всем скучно сначала,— стыдливо ответит воблушка.— Сначала — скучно, а потом — хорошо. Вот как поживешь на свете, да пошарят *около* тебя вдо-

воль — тогда и об воблушке вспомнишь, скажешь: «Спасибо, что уму-разуму учила!»

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что, ежели по правде рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин ум-разум. Люди ходят, как сонные, ни к чему приступиться не умеют, ничему не радуются, ничем не печалятся. И вдруг в ушах раздается успокоительно-соблазнительный шепот: «Потихоньку да полегоньку, двух смертей не бывает, одной не миновать...» Это она, это воблушка шепчет! Спасибо тебе, воблушка! правду ты молвила: двух смертей не бывает, а одна искони за плечами ходит!

Не явись на выручку воблушка, одно бы осталось — пропа́сть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники да курьезы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брешах никому не придет! Вот уж там-то все шито да крыто, там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать! Есть захотелось — ешь! спать вздумалось — спи! Ходи, сиди, калякай! К этому-то и привесить-то ничего нельзя. Будь счастлив — только и всего.

И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя,— все будете счастливы! Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спите, други, почивайте! И нашаривать около вас не для чего, потому что везде путь торный и все двери настежь. «Вперед без страха и сомненья!», или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место!

— И откуда у тебя, воблушка, такая ума палата? — спрашивают ее благодарные пискари, которые, по милости ее советов, неискалеченными остались.

— От рожденья бог меня разумом наградил,— скромно отвечает воблушка,— а сверх того, и во время вяленья мозг у меня в голове выветрился... С тех пор и начала я умом раскидывать...

И действительно: покуда наивные люди в эмпиреях витают, а злецы ядом передовых статей жизнь отравляют, воблушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакое человеконенавистничество, никакие змеиные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный воблушкин пример. «Уши выше лба не растут!» — ведь

это то самое, о чем древние римляне говорили: «Respice finem!» [1] Только более нам ко двору.

Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше, но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Все кажется, что одна половина тут наподлена́, а другая — налгана́. А главное, конца-краю не видать. Слушаешь или читаешь и все думаешь: «Ловко-то ловко, да что́ же дальше?» — а дальше опять клевета, опять яд... Вот это-то и смущает. То ли дело скромная воблушкина резонность? «Ты никого не тронь — и тебя никто не тронет!» — ведь это целая поэма! Тускленька, правда, эта пресловутая резонность, но посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает! Сначала клевета поизмучает, потом хлевный яд одурманит, и когда процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всем его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет иного ощущения, кроме безграничной тоски,— вот тогда и выступает воблушка с своими скромными афоризмами. Она бесшумно подкрадывается к искалеченному и безболезненно додурманивает его. И, приведя его к стене, говорит: «Вон сколько каракуль там написано; всю жизнь разбирай — всего не разберешь!»

Смотри на эти каракули, и, ежели есть охота,— доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучено: и заветы прошлого, и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, вешних потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем еще лучше. Верь на слово, что суть этих каракуль может быть выражена в немногих словах: выше лба уши не растут. И затем — живи.

Все это отлично поняла вяленая вобла, или, лучше сказать, не сама она поняла, а принес ей это понимание тот процесс вяления, сквозь который она прошла. А впоследствии время и обстоятельства усыновили ее и дали широкий простор для применений.

Все поприща поочередно открывались перед ней, и на всяком она службу сослужила. Везде она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что, по обстоятельствам, лучше не надо.

Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на

[1] Подумай о последствиях! *(лат.)*

канцелярской тайне да на округлении периодов настаивала. «Главное,— твердила она,— чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем действительно сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то воблушка резонно утверждала, что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни, и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделенная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать.

Забралась вяленая вобла в ряды «излюбленных» — и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: «Мы-ста, да вы-ста... повергнуть наши умные мысли к стопам!» Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: «Моя речь еще впереди». И действительно: раз повергли, в другой — повергли, в третий — опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Один кричит: «Мало!», другой перекрикивает: «Много!», а третий прямо бунт объявляет: «Едем, братцы, прямо...» — так вас и пустили! Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит: «Повергать, говорит, мы тогда можем, коли нас спрашивают, а ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание».— «Как так? почему?» — «А потому, говорит, что так исстари заведено: коли спрашивают — повергай! а не спрашивают — сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться ее уму-разуму.

— Откуда у тебя такая ума палата взялась? — обступили ее со всех сторон,— ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились!

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

— Оттого я так умна, что своевременно меня провялили. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести — ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе, и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!

— Правильно! — согласились излюбленые люди и тут же раз навсегда постановили: — Коли спрашивают — повергать! а не спрашивают — сидеть и получать присвоенное содержание...

Каковое правило соблюдается и доныне.

Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить — и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет сердца робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судье: «Проверь самого себя!» А ежели у кого совесть, вместе с прочей требухой, из нутра вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней — полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувши, на заблуждения человеческие и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится, и против каждого камешек припасен — тоже под номером. Остается только нелицеприятную бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью — полностью искалечь: сам виноват! Ежели следует искалечить в частности — искалечь частицу: вперед наука! И так она этою своею резонностью всем понравилась, что скоро про совесть никто и вспомнить без смеха не мог...

Но больше всего была богата последствиями добровольческая воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера не уставаючи ходила она по градам и весям и все одну песню пела: «Не расти ушам выше лба! не расти!» И не то чтоб с азартом пела, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было не́ за что. Разве что вгорячах кто крикнет: «Ишь, паскуда, распелась!» — ну, да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал...

Вяленая вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основания говорила себе: «Пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь...»

Надо сказать правду: общество, к которому обращались поучения воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек. Это, положим, и везде так бывает, но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки, а тут они — коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставить, извольте добиться, чтоб они усвоили себе представление о своем праве на жизнь, да не машинально только усвоили, а с тем, чтобы, в случае надобности, и защитить это право умели. Утвердительно можно сказать, что это задача мучительная. А между тем сколько, во имя ее, погубляется жизней, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжелых дум! И ежели в результате этих усилий блеснет одна-единственная минута радости (вдобавок мнимой), то это уже награда, которая считается достаточною, чтобы оправдать целые годы последующих отрав...

А кроме того, и время стояло смутное, неверное и жестокое. Убежденные люди надрывались, мучались, метались, вопрошали и, вместо ответа, видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе, чем пахнет. Пахло не хорошо; ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. «Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет?» — ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады-радехоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки.

Наступает короткий период задумчивости: пестрые люди уже решились, но еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает мало-помалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: «Не растут уши выше лба, не растут!»

Общество отрезвилось. Это зрелище поголовного освобождения от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести до такой степени умилительно, что даже клеветники и человеконенавистники на время умолкают. Они вынуждены сознаться, что простая вобла, с провяленными молоками и выветрившимся мозгом, со-

вершила такие чудеса консерватизма, о которых они и гадать не смели. Одно утешает их: что эти подвиги подъяты воблой под прикрытием их человеконенавистнических воплей. И если б они не взывали к посредничеству ежовых рукавиц, если б не угрожали согнутием в бараний рог — могла ли бы вобла с успехом вести свою мирно-возродительную пропаганду? Не заклевали бы ее? не насмеялись ли бы над нею? И, наконец, не перспектива ли скорпионов и ран, ежеминутно ими, клеветниками, показываемая, повлияла на решение пестрых людей?

Некоторые из клеветников даже устраивали на всякий случай лазейку. Хвалить хвалили, но камень за пазухой все-таки приберегали. «Прекрасно,— говорили они,— мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось, что химера упразднена, а на место ее вступила в свои права здоровая, неподкрашенная жизнь. Но надолго ли? но прочно ли наше отрезвление — вот вопрос. В этом смысле мирный характер, который ознаменовал процесс нашего возрождения, наводит на очень серьезные мысли. До сих пор мы знали, что заблуждения не так-то легко полагают оружие даже перед очевидностью совершившихся фактов, а тут вдруг, нежданно-негаданно, благодаря авторитету пословицы,— положим, благонамеренной и освященной вековым опытом, но все-таки не более как пословицы,— является радикальное и повсеместное отрезвление! Полно, так ли это? искренно ли состоявшееся на наших глазах обращение? не представляет ли оно искусного компромисса или временного modus vivendi [1], допущенного для отвода глаз? И нет ли в самых приемах, которыми сопровождалось возрождение, признаков того легковесного либерализма, который, избегая такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть не что иное, как разношерстный и бесхарактерный агломерат всевозможных веяний и наслоений, и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющие, предварительно приведены к одному знаменателю?»

Как бы то ни было, но настоящий, здоровый тон

[1] сосуществования *(лат.)*.

был найден. Сперва его в салонах усвоили; потом он в трактиры проник, потом... Дамочки радовались и говорили: «Теперь у нас балы начнутся». Гостинодворцы развертывали материи и ожидали оживления промышленности.

Оставалось одно: отыскать настоящее, здоровое «дело», к которому можно было бы «здоровый» тон применить.

Однако тут совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы, а об деле так мало думали, что никто даже по имени не мог его назвать. Все говорят охотно: «Надо дело делать», но какое — не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: «Не растут уши выше лба! не растут!»

— Помилуй, воблушка! да ведь это только «тон», а не «дело»,— возражают ей,— дело-то какое нам предстоит, скажи!

Но она заладила одно и ни пяди уступить не согласна! Так ни от кого насчет дела ничего и не узнали.

Но, кроме того, тут же сбоку выскочил и другой вопрос: а что, если настоящее дело наконец и откроется — кто же его делать-то будет?

— Вы, Иван Иваныч, будете дело делать?

— Где мне, Иван Никифорыч! Моя изба с краю... вот разве вы...

— Что вы! что вы! да разве я об двух головах! ведь я, батюшка, не забыл...

И таким образом все. У одного — изба с краю, другой — не об двух головах, третий — чего-то не забыл... все глядят, как бы в подворотню проскочить, у всех сердце не на месте и руки — как плети...

«Уши выше лба не растут!» — хорошо это сказано, сильно, а дальше что? На стене каракули-то читать? — положим, и это хорошо, а дальше что? Не шевельнуться, не пикнуть, носа не совать, не рассуждать? — прекрасно и это, а дальше что?

И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос: «А дальше что?»

Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеконенавистники.

«Само по себе взятое,— говорили и писали они,— учение, известное под именем доктрины вяленой воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадежным. Но дело не в доктрине и ее положениях, а в тех приемах, которые употреблялись для ее осуществления и насчет которых мы, с самого начала, предостерегали тех, кому ведать о сем надлежит. Приемы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничанья, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что ежели мы еще не находимся на дне оной, то именно только благодаря здравому смыслу, искони лежавшему в основании нашей жизни. Пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу. Пусть подскажет он всем, серьезно понимающим интересы своего отечества, что единственный целесообразный прием, при помощи которого мы можем прийти к какому-нибудь результату, представляют ежовые рукавицы. Об этом напоминают нам предания прошлого; о том же свидетельствует смута настоящего. Этой смуты не было бы и в помине, если б наши предостережения были своевременно выслушаны и приняты во внимание. «Caveant consules!» [1] — повторяем мы и при этом прибавляем для не знающих по-латыни, что в русском переводе выражение это значит: не зевай!»

Таким образом, оказалось, что хоть и провялили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки в конце концов ей пришлось распоясываться. Из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной — в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, составлявшая основание ее пропаганды.

И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал...

Пестрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: «Да здравствуют ежовые рукавицы!» Но История взглянула на дело иначе и в тайне положила в сердце своем: «Годиков через сто я непременно все это тисну!»

---

[1] Пусть консулы будут бдительны! *(лат.)*

ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом. «Подобно орлу, говорят, городовой бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав,— простил».

Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал: «Ведь, в самом деле, красиво! Выхватил... простил! Простил?!» — вот что в особенности пленяло. «Кого простил? — мышь!! Что такое мышь?!» И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, и затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль. «С чего же, однако, орел «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?»

Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он — птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению.

И теперь я думаю об орлах так: «Орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они, в то же время, сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что, при появлении их, все пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».

* * *

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

— Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце — инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Воро́ны бы сплетни ему переносили, попугаи — кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы — величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

— Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и всё.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму воро́н. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона — птица плодущая и на все согласная. Главным же образом, тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что бы такое было, и наконец догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других.

Три птицы, в особенности, считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет

насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется — ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук. Вот он и замыслил: «Пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!»

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запоем, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-Яга», «Каким по́лом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: «Пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!»

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять... Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать...

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: «Доложи да доложи!»

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни Бабой-Ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слыхал: что эта птица — малая, не сто́ит из-за ее клюв марать.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? — спросил сокол.

— Какой такой Бонапарт?

— То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: «При Бонапарте это было»,— а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.

Призвали на совет сову,— и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье — свет, а неученье — тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» — ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали,— значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведерко с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: «Ловок орел, а простофиля».

— Что ж, я не прочь от наук! — цыркнул орел.

Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают», коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи — новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей — академию де сиянс, да кстати уж и воронятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И, в заключение, самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем.

И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что

холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает,— а орел подтвердил: «Имянно!»

Наконец снегирь надоел.

— Следующий! — цыркнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». «Было у солнца,— говорил дятел,— трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная — ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец владыкою над пустыней сделал; а Орёлко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвел».

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпеньи кричал:

— Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш!

— Что этот дуралей бормочет! — крикнул он наконец,— позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о сю пору

он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения все-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководительство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год, вместо «Орел», подписывался «Арер», так что ни один солидный заимодавец векселей с такою подписью не принимал. Но еще бóльшая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: «Бб...зз...хх...», а сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

— Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел — сколько в запасе осталось? — с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Ученый! ученый!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: «Вв... зз... рррр...»

— Уйди, постылая! — кротко огрызнулся орел.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб..., кк... мм...

— Второй раз говорю: уйди!

— Пп... хх... шш...

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое.

А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

— Вот тебе задача,— сказал он,— награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну — тебе, другую — всем прочим челядинцам,— сколько на твою долю достанется?

— Всё,— отвечал орел.

— Ты говори дело,— возразил сокол.— Ежели бы «всё», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «всё», а холоп осмеливается возражать: «Не всё». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличать не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:

— А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества, с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутою.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего золотого века не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без просыпу, а на ворóнах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую.

Чтобы оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны.

Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем...

И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища...

— Шабаш! — вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое.

Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

— Знаки препинания ставить умеешь?

— Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как-то: кавычки, тире, скобки — всегда, по сущей совести, становлю.

— А женский пол от мужеского отличить можешь?

— Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, по́мре.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо: жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: «Да сиянсы-то зачем?» И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали игральных карт.

Дальше — больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днем молчит, а ночью спит...

Дворня опустела. Остались орел с орлицею, и при

них ястреб да коршун. А вдали — масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накоплялось на нем недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет не полагалось), стали изводить друг друга. И всё на почве наук. Ястреб донес, что коршун, по секрету, читает часослов, а коршун съябедничал, что у ястреба в дупле «Новейший песенник» спрятан.

Орел смутился...

Но тут уж сама История ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, воро́ны вдруг спохватились: «А что, бишь, на этот счет в азбуке-копейке сказано?» И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

— Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок»: то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе — об этом он умолчал.

И. Ф. ГОРБУНОВ

МАСТЕРОВОЙ

Мастеровой пришел к своему хозяину сказать, что он женится.

— Что ты?
— Да я, Кузьма Петрович, к вашей милости...
— Что?
— Так как, значит, оченно благодарны вашей милостью... почему что сызмальства у вас обиход имеем...
— Так что же?
— Ничаво-с!.. Таперича я, значит, в цветущих летах... матушку, выходит, схоронил...
— Ну, царство небесное.
— Вестимо, царство небесное, Кузьма Петрович... московское дело... за гульбой пойдешь...
— Да что ж ты лясы-то все точишь?
— Известно, како наше дело...
— Денег, что ли?
— Благодарим покорно... Туточка вот у Гужонкина ундер живет... у его, значит, сторож...
— Да.
— А она и его дочь...
— Ну?
— В прачешной должности состоит и портному обучена...
— Тебе-то какое же дело?
— То есть... выходит... по своему делу, а он у его... сторож...
— Так тебе-то что же?
— Законным браком хотим.
— Ну так женись.
— То-то. Я вашей милости доложить пришел.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ

Сцена

Около воздушного шара толпа народа.

— Скоро полетит?

— Не можем знать, сударь. С самых вечерен надувают; раздуть, говорят, невозможно.

— А чем это, братцы, его надувают?

— Должно, кислотой какой... Без кислоты тут ничего не сделаешь.

— А как он полетит — с человеком?

— С человеком... Сам немец полетит, а с им портной.

— Портной?!

— Портной нанялся лететь... Купцы наняли...

— Портной!..

— Пьяной?

— Нет, черезвый, как следовает.

— Портной!.. Зачем же это он летит?

— Запутался человек, ну и летит. Вестимо, от хорошего житья не полетишь, а значит, завертелся...

— Мать его там, старушка, у ворот стоит, плачет... «На кого ты, говорит, меня оставляешь».— «Ничего, говорит, матушка, слетаю, опосля тебе лучше будет. Знать, говорит, мне судьба такая, чтобы, значит, лететь».

— Давай мне теперича, при бедности моей, тысячу целковых да скажи: «Петров, лети!..»

— Полетишь?

— Я-то?

— Ты-то?

— Ни за что! Первое дело — мне и здесь хорошо, а второе дело — ежели теперича этот портной летит, самый он, выходит, пустой человек... Пустой человек!.. Я теперича осьмушечку выпил, бог даст — другую выпью и третью, может, по грехам моим... а лететь мы не согласны. Так ли я говорю? Не согласны!..

— Где же теперича этот самый портной?

— А вон ему купцы водки подносят.

— Купец ублаготворит, особливо ежели сам выпивши.

— Все пьяные... Уж они его и угощали, и целовать пробовали — все делали. А один говорит: «Ежели, бог даст, благополучно прилетишь, я тебя не забуду».

— Идет, идет... Портной идет...

— Кто?
— Посторонись, братцы...
— Портной идет...
— Это он самый и есть?
— Он самый...
— Летишь?
— Летим; прощайте.
— Нас прости, Христа ради, милый человек.
— Прощай, брат!.. Кланяйся там... Несчастный ты человек, вот я тебе что скажу! Мать плачет, а ты летишь... Ты хошь бы подпоясался...
— Это дело наше...
— Но только ежели этот пузырь ваш лопнет, и как ты оттедова турманом... в лучшем виде... только пятки засверкают...
— Смотри-ка, братцы, купцы его под руки повели; сейчас, должно, сажать его будут...
— Ты что за человек?..
— Портной...
— Какой портной?
— Портной с Покровки, от Гусева. Купцы его лететь наняли.
— Лететь! Гриненко, сведи его в часть.
— Помилуйте...
— Я те полечу!.. Гриненко! Извольте видеть!.. Лететь!.. Гриненко, возьми...
— Поволокли!..
— Полетел, голубчик!..
— Да, за этакие дела...
— Народ-то уж оченно избаловался, придумывает, что чудней!
— Что это, мошенника повели?
— Нет, сударь, портнова...
— Что же, украл он что?
— Никак нет, сударь... Он, изволите видеть... бедный он человек... и купцы его наняли, чтобы сейчас, значит, в шару лететь.
— На воздусях...
— А квартальному это обидно показалось...
— Потому — беспорядок...
— Летит, братцы, летит... Трогай!..
— И как это возможно без начальства лететь?!

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА

Сцены из московского захолустья

— Что это за народ собрамши?

— Бог их знает... с утра стоят.

— Не насчет ли солонины?

— Какой солонины?

— Да ведь как же: этот хозяин кормил фабрику солониной, но только теперича эту самую солонину запечатали, потому есть ее нет никакой возможности.

— Это вы насчет солонины-то? Нет, уж он им три ведра поставил: распечатали, опять жрут...

— Да, уж эта солонина!..

— Что это за народ собрамши?

— Разно говорят: кто говорит — на небе неладно, кто говорит — купец повесился...

— А мы из Нижнего ехали... пьяные... Едем мы пьяные, и сейчас эта комета прямо к нам в тарантас... инда хмель соскочил! Я говорю: «Петр Семенов, смотри!» — «Я, говорит, уж давно вижу»... а сам так и трясется...

— Затрясешься, коли, значит... Богу ежели что... Все мы люди, все человеки...

— «Не оборотить ли, говорит, нам назад?..» — «Бог милостив, говорю, от судьбы не уйдешь, давай лучше выпьем, а она, матушка, может, стороной пройдет». Хвост уж очень разителен!.. Такой хвост, я тебе доложу, что просто...

— Грехи наши тяжкие... Слаб есть человек! Вот хоть бы теперь! Этакое наказанье божеское, а сколько народу пьяного.

— Без этого нельзя: иной опасается, а другой так опосля вчерашнего поправляется...

— Нет, вы докажите!

— И докажу!

— Одно ваше невежество!

— Извольте говорить, мы слушаем. Вы говорите...

— Я вас очень хорошо знаю: вы — московский мещанин и больше ничего!

— Оченно это может быть, а вы про затмение докажите. Вы только народ в сумнение привели!.. Из-за ваших пустых слов теперича этакое собрание!.. Городовой!.. Городовой!..

— Вот он тебе покажет затмение!..

— Да, наш городовой никого не помилует!

— Докажите!

— Живем мы тихо, смирно, благородно, а вы тут пришли — всех взбудоражили.

— Хозяйка наша в баню поехала и сейчас спрашивает: зачем народ собирается? А кучер-то, дурак, и ляпни: затмения небесного дожидаются... Сырой-то женщине!..

— Образование!

— Так та и покатилась! Домой под руки потащили...

— Он с утра здесь путается. Спервоначалу зашел в трактир и стал эти свои слова говорить. Теперича, говорит, земля вертится, а Иван Ильич как свистнет его в ухо!.. «Разве мы, говорит, на вертушке живем?..»

— Дикая ваша сторона, дикая!..

— Мы довольны, слава тебе господи!..

— Господин, проходите!

— Барин, ступай лучше, откуда пришел, а то мы тебе лопатки назад скрутим...

— Смотри-ко, что народу подваливает.

— Горяченькие пирожки! У меня со вкусом! Так и кипят!

— Что это за народ собрамши?

— Вон пьяный какой-то выскочил из трактиру, наставил трубочку на солнышко, говорит — затмение будет.

— А где ж городовой-то?

— Чай пить пошел.

— Надо бы в часть вести.

— Сведут, уж это беспременно...

— За такие дела не похвалят.

— Все в трубку глядит; может, что и есть.

— У нас, на Капказе, на правом фланге, у ротного командира во какая труба была... все наскрозь видно... Ночью ли, днем ли — как наставит... шабаш: что-нибудь да есть.

— Начало затмения! Вот, вот, вот... Сейчас, сейчас, сейчас...

— А вот и городовой идет.

— Сейчас выручит!

— Вот, господин городовой, теперича этот человек...

— Осади назад!

— Теперича этот человек...

— Неизвестный он нам человек...

— Позвольте, спервоначалу здесь был... Вышел он,

примерно, из трактира... но только народ, известно, глупый... и стал сейчас...

— Не наваливайте... которые!.. Осадите назад!

— Иван Павлыч, ты наш телохранитель, выручи! Выпил я за свои деньги...

— Вы тогда поймете, когда в диске будет.

— Почтенный, вы за это ответите!

— За что?

— А вот за это слово ваше нехорошее...

— Выскочил он из трактира...

— Сейчас затмится!

— Может, и затмится, а вы, господин, пожалуйте в участок... Этого дела так оставить нельзя.

— Как возможно?!

— Может, хозяйка-то наша теперича на тот свет убралась по твоей милости.

— Хотел на божью планиду, а попал в часть...

— На Капказе бы за это...

— Сколько этого глупого народу на свете!..

ТРАВИАТА

Рассказ купца

А то раз мы тоже с приказчиком, с Иваном Федоровым, шли мимо каменного театру. Иван Федоров почитал-почитал объявление: «Понять, говорит, невозможно, потому не нашими словами напечатано».

— Господин, что на афишке обозначено?

Прочитал. Говорит: «Фру-фру».

— В каком, говорим, смысле?

— Это, говорит, на ихнем языке обозначает настоящее дело.

— Так-с! Покорнейше благодарим...

— Господин городовой, вы человек здешний, может, слыхали: как нам понимать эту самую Фру-фру?

— Ступайте, говорит, в кассу — там все отлепортуют.

Пришли в кассу.

— Пожалуйте два билета, на самый на верх, выше чего быть невозможно.

— На какое представление?

— «Фру-фру».

— Здесь, говорит, опера.

— Все одно, пожалуйте два билета, нам что хошь представляй. Иван Федоров, трогай! Ступай!

Пришли мы, сели, а уж тальянские эти самые актеры действуют. Сидят, примерно, за столом, закусывают и поют, что им жить оченно превосходно, так что лучше требовать нельзя. Сейчас г-жа Патти налила стаканчик красненького, подает г-ну Канцеляри:

— Выкушайте, милостивый государь.

Тот выпил да и говорит:

— Очень я в вас влюблен.

— Не может быть!

— Верное слово!

— Ну так, говорит, извольте идти, куда вам требуется, а я сяду, подумаю об своей жизни, потому, говорит, наше дело женское, без оглядки нам невозможно...

Сидит г-жа Патти, думает об своей жизни, входит некоторый человек...

— Я, говорит, сударыня, имени-отчества вашего не знаю, а пришел поговорить насчет своего парнишки: парнишка мой запутался и у вас скрывается — турните вы его отседа.

— Пожалуйте, говорит, в сад, милостивый государь, на вольном воздухе разговаривать гораздо превосходнее.

Пошли в сад.

— Извольте, говорит, милостивый государь, сейчас я ему такую привелегию напишу, что ходить он ко мне не будет, потому я сама баловства терпеть не могу.

Тут мы вышли в калидор, пожевали яблочка, потому жарко оченно, разморило. Оборотили назад-то — я говорю:

— Иван Федоров, смотри хорошенько.

— Смотрю, говорит.

— К чему клонит?

— А к тому, говорит, клонит, что парнишка пришел к ней в своем невежестве прощенья просить: «Я, говорит, ни в чем не причинен, все дело тятенька напутал».

А та говорит:

— Хоша вы, говорит, меня при всей публике острамили, но, при всем том, я вас оченно люблю! Вот вам мой патрет на память, а я, между прочим, помереть должна...

Попела еще с полчасика да богу душу и отдала.

БЕЗОТВЕТНЫЙ

Сцена в деревне

— Калина Митрич, скажи ты мне, отчего я так много доволен?

— Может, выпимши...

— Стаканчик выпил, это верно! А ты мне скажи, отчего я так много доволен?

— Ну, от стаканчика и доволен.

— Стаканчик один — ничего! А я очень рад! Видишь — птичка сидит, и я рад! Пущай сидит, голубушка!.. Оттого я много доволен, что хороший я оченно человек! Такой я хороший человек — по всей деревне и людей таких нет! Чаю я не пью...

— А стаканчик-то...

— Впервой отроду! Силком влили! «Давайте, говорят, мы Мите стаканчик поднесем». Священник заступился: «Что вы, говорит, непьющему человеку...»

— То-то я смотрю: тихий ты человек, голосу твоего никогда не слыхать, а теперь разговаривать стал.

— Оттого я много доволен, что всех я люблю!.. Рыбу я ловить люблю. В лесу чтобы мне ночью — первое это мое удовольствие!.. Выду я в лес, когда почка развернется, да и стою. Тихо! Дух такой здоровый!.. Мать ты родная моя, как я лес люблю! Ежели теперича в лесу ночью гроза...

— Не боишься?

— Люблю! Как почнет это она сосны выворачивать... страсть! А опосля того поднимется всякая разная птица, на разные голоса...

— Охотник ты большой!

— Большой я охотник! По нашему лесу вплоть до вантеевской мельницы — я все гнезда знаю. А как меня рыба уважает!.. Ух, как она меня уважает! Но только за мою эту охоту великое мне наказание было! И как это, Калина Митрич, обидно! Хороший я человек, чаю не пью...

— Так за что же?

— Жил я на фабрике, и как слободное время — сейчас в лес. Там народ — кто в трактир, кто куда, а я в лес. И сижу это я в лесу, и таково мне хорошо — лучше требовать нельзя. Вдруг, братец ты мой, откуда ни возьмись — двое:

— Какой ты есть человек? По какому случаю?

— Птицу, говорю, наманиваю.

Поволокли меня к становому.

— Помилуйте, говорю, за что же? Ни в чем я не причинен... Ах, Калина Митрич, как мне было обидно!

Вышел становой и сейчас меня обыскивать.

— Сознавайся, говорит, тебе легче будет,— ты фальшивую монету делал?

— Никак нет,— говорю.

— За что вы, ребята, его взяли?

— Не можем, говорят, знать: сидит в овраге — и взяли.

— Зачем, говорит, ты в овраге сидел?

— Птиц, говорю, люблю, ваше благородие.

— Вот тебе, говорит, двугривенный, ступай на все четыре стороны.

Веришь ты богу, Калина Митрич, как мне это обидно!

Иду мимо церкви, хотел положить этот самый двугривенный в кружку, а уж дело под вечер было, сейчас меня опять судить: «Ты, говорят, у храма божьего кружки ломать хочешь!..»

— Пустите, говорю, голубчики,— сейчас меня судили. Вот двугривенный становой дал. Человек я безответный, смирный!..

Отпустили. Ну и как же мне это обидно!..

НА ПОЧТОВОЙ СТАНЦИИ

Ночью

— Ямщики! Эй, ямщики! Тарантас подъехал...

— Вставай... Чья череда-то?

— Микиткина...

— Микитка!.. Слышь!.. Микитка, гладкий черт! Тарантас подъехал...

— Сичас!..

— Да как же ты теперича поедешь-то?

— А что?

— Ночью-то?!.

— Ну?

— Так что же?

— По косогорам-то?

— Так тарантас-то вляпаешь!..

— Вляпаешь! Пятнадцать годов езжу, да вляпаешь!..

— Ваше благородие! Тут у нас на седьмой версте к Озерецкому-то косогоры, так вот от поштового епартаменту обозначено, чтоб сумления не было...

— Помилуйте, ваше благородие, я пятнадцать годов езжу...

— Он те в загривок-то накладет...

— Наклал!.. Мазали, чтолича?

— Смазано!..

— Извольте садиться, ваше благородие! Эх вы, голубчики!..

— Смотри осторожнее...

— Помилуйте, сударь, я пятнадцать годов езжу. Ямщики, известно, со смотрителем заодно... Смотрителю только бы самовары наставлять, пользоваться... Тпру!!.

— Что?

— Вот этот самый косогор-то и есть.

— Осторожней!

— Помилуйте, сударь, я пятнадцать годов езжу. Не извольте сумлеваться... Тпру!

— Смотри!

— Точно что оно, опосля дождя, тут жидко...

— Держи!..

— Господи, ужли в пятнадцать-то годов дороги не знаю... *(Тарантас падает.)*

— Что ж ты, черт тебя возьми!..

— Поди ж ты! Кажинный раз на этом месте...

<ТОСТ ГЕНЕРАЛА ДИТЯТИНА НА ОБЕДЕ В ЧЕСТЬ ТУРГЕНЕВА>

Милостивые государи, вы собрались здесь чествовать литератора сороковых годов, отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева.

Я против этого ничего не имею...

По приглашению господ директоров я явился сюда неприготовленным встретить такое собрание российского ума и образованности.

Хотелось бы говсрить, но говорить, находясь среди вас, трудно: во-первых, разница наших взглядов, во-вторых, свойственная людям моей эпохи осторожность. Нас учили больше *осматриваться,* чем *всматриваться,* больше *думать,* чем *говорить,*— словом, нас учили тому, чему, к сожалению, теперь... уже более... не учат.

Милостивые государи, вы слишком молоды! Среди вас нет ни одного, кто был бы свидетелем того перелома и треска в литературе, коего я был свидетелем.

Объясняюсь...

В начале тридцатых годов, выражаясь риторическим языком — среди безоблачного неба, тайный советник Дмитриев был внезапно обруган семинаристом Каченовским.

Подняли шум...

Критик скрылся...

Далее, генерал-лейтенант, сочинитель патриотической повести двенадцатого года Михайловский-Данилевский был обруган.

Были приняты меры...

Критик испытал на себе быстроту фельдъегерской тройки...

Стало тихо.

Но на почве, удобренной и усеянной мыслителями тридцатых годов, показались всходы. Эти всходы заколосились, и первый тучный колос, сорвавшийся со стебля в сороковых годах, были «Записки охотника», принадлежавшие перу чествуемого вами ныне литератора сороковых годов, отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева.

В простоте солдатского сердца я взял эти «Записки», думая найти в них записки какого-либо *военного* охотника.

Оказалось... что под поэтической оболочкой скрываются *такие* мысли, о которых я не решился не доложить графу Закревскому.

Граф сказал:

— Я знаю.

Я в разговоре упомянул об этом князю Сергею Михайловичу Голицыну.

Он сказал:

— Это дело администрации, а не мое.

Я сообщил митрополиту Филарету.

Владыка мне ответил:

— Это веяние времени.

Я увидел что-то странное. Я понял, что мое дело проиграно, и... посторонился.

Теперь, милостивые государи, я стою в стороне, пропуская мимо себя нестройные ряды идей и мнений, постоянно сбивающиеся с ноги, но я всем говорю:

— Хорошо!

Но мне уже никто, как бывало, не отвечает: «Рады стараться, ваше превосходительство», а только взводные с усмешкой кивают головой.

Я кончил...

И еще раз подымаю бокал за здоровье отставного коллежского секретаря, литератора сороковых годов Ивана Тургенева.

Н. А. ЛЕЙКИН

САМОГЛОТ-ЗАГРЕБАЕВЫ

(Краткий современный роман в документах)

I

Ницца

Пишу тебе это письмо, неисчерпаемо добрый Лев Викторович, и сгораю от стыда за свой прошлый грех. Простите вашу блудную жену и позвольте ей по-прежнему поселиться под одним с Вами кровом. Увлечения мои... Господи! Мне скоро сорок лет, а я говорю о увлечениях! Увлечения мои кончились печально. Ненавистный Вам человек теперь и мне ненавистен. Я навсегда покончила с ним. Он оказался мерзавцем. Я бросила его в Гамбурге, переехала в Ниццу и на днях еду в Петербург. Я в нищете. Больше писать не смею... Умоляю...

Ваша жена

Лариса Самоглот-Загребаева.

II

Отвечаю Вам в нескольких строках, Лариса Петровна... Приезжайте и живите в моем доме... Но простить Вас я пока не могу. Мерзавец Заксмиллер слишком еще жив в моей памяти. Шлю переводом через банкира триста рублей.

Лев Самоглот-Загребаев.

III

(Перевод с французского)

...В Париже Вы ничто, а в Петербурге Вы можете сделать себе карьеру. Вспомните меня и приезжайте. Нам нужен для детей гувернер-француз. Муж не может предоставить Вам большого жалованья, но 1000 р.

в год к Вашим услугам. Будете жить у нас на всем готовом. О том, что Вы не дипломированы,— не заботьтесь. Но, приехав, вы не должны показывать вида, что мы были знакомы раньше...

. . . .

Лариса Самоглот-Загребаева.

IV

Вы, Лев Викторович, не являетесь ко мне более недели и забыли Ваши обязанности. Ко мне пристают извозчик, портниха... Прислуга требует жалованье... Управляющий ходит каждый день и просит, наступя на горло, уплаты за квартиру. И Вы еще после этого смеете меня ревновать! Непременно приезжайте завтра же и привезите денег, иначе поссоримся.

Пока еще Ваша Сонечка Бучкова.

V

Счет ее превосходительству Ларисе Петровне Самоглот-Загребаевой из магазина торгового дома А. Баволе.

Костюм для прогулки	400	р.	—	к.
Коробочка булавок	1	р.	25	к.
Бальное платье	550	р.	—	к.
За цветы на платье	78	р.	—	к.
Коробочка булавок	1	р.	25	к.
Шубка бархатная с соболями .	730	р.	—	к.
Осталось по старому счету . .	2340	р.	—	к.
Итого:	4100	р.	50	к.
Получено в уплату	350	р.	—	к.
Осталось доплатить	3750	р.	50	к.

VI

Ваше превосходительство, многоуважаемая Лариса Петровна! Вы просили у меня пожертвовать на нужды Ваших бедных, а посему, чувствуя все это до глубины души, препровождаю к Вам при сем тысячу рублей и прошу замолвить за меня словечко у супруга Вашего, так как вся наша подрядчицкая механика в ихней власти.

Потомственный почетный гражданин и 1-й гильдии купец и кавалер *Савва Нагревалов.*

VII

Добрый папаша! Не знаю, как и просить Вас... Я в ужасном положении. Я поставил чужой бланк на векселе, и 7 ноября срок... Спасите... вышлите тысячу рублей... Не погубите Ваше и Вашего сына доброе имя. Я пробовал перехватить у товарищей по полку, но у всех безденежье полное, поэтому бога ради поспешите.

Ваш покорный сын Николай Самоглот-Загребаев.

VIII

Французскому подданному Анри Тюрбо.

Вещи Ваши вышвырнуты из квартиры в сарай. Дабы мне не марать рук о Вашу физиономию, советую Вам самому за ними не являться. Медальон с Вашим портретом, сорванный мною с шеи той, которую я имею несчастие называть женою, при сем препровождаю. Надпись на портрете — «подлец» сделана моей рукой.

Лев Самоглот-Загребаев.

IX

Левушка мой старенький, но миленький! Я опять без денег. За квартиру нужно, за лошадей, портнихе. Вчера привезли новую коляску и тоже требуют денег... Привези.

Твоя Софи Бучкова.

Отчего тебя вчера в балете не было?

X

Ваше превосходительство, многоуважаемый Лев Викторович!

По поручению артистки Надежды Михайловны Одуванчиковой (по сцене Онежской), имею честь при сем представить Вам поданный ей из нашего магазина счет в 2844 р. 30 к. и просить по оному сделать уплату. Счет признан г-жою Онежской и подписан ею.

Обойный и мебельный фабрикант Оноре.

XI

Вы можете по неделям не видеться с Вашей женой, но все-таки, пока Вы с ней не разведены, обязаны забо-

титься о том, чтобы она не терпела лишений хоть в своих мелких нуждах. С подательницей этой записки, горничной Машей, пришлите хоть пятьсот рублей.

Лариса Самоглот-Загребаева.

XII

Осмелюсь Вам напомнить, уважаемый Лев Викторович, о карточном долге в 1800 р. Веря Вашему слову, я не записал тогда в клубе Вашего имени в книгу, но вот уже прошло три дня, а уплаты я не получал.

Искренно преданный Ф. Кинд.

XIII

Папаша! За долги меня выгнали из полка. Не с чем выехать в Петербург. Ради бога, вышлите хоть триста рублей.

Ваш сын Н. Самоглот-Загребаев.

XIV

Многоуважаемый Лев Викторович!

Сейчас я узнал конфиденциально, что у нас назначена экстренная ревизия всех сумм. Меня поразило как громом. Что делать? Надо доложить растраченное. Бога ради, ищите скорей где-нибудь денег, иначе мы погибли.

Преданный Вам П. Сыроедов.

XV

Счет из оружейного магазина К. Флинте. Господину Л. В. Самоглот-Загребаеву.

Один револьвер центрального боя. Р. 50.

Деньги верю получить артельщику.

К. Флинте.

XVI

Мы слышали, что в... обнаружена крупная растрата. Заведующий... арестован домашним арестом.

XVII

Вдова и дети действительного статского советника Льва Викторовича Самоглот-Загребаева извещают о кончине первая любезнейшего мужа ее, а вторые отца их, последовавшей сего 17 Января 188... г. Вынос тела покойного из квартиры его для отпевания и погребения на Волковом кладбище имеет быть 20-го Января в 10 час. утра.

С подлинным верно:
Н. Лейкин.

АЙВАЗОВСКИЙ

(Сценка)

Черный купец сидел по одну сторону стола около чайного прибора и пощелкивал щипчиками, дробя куски сахару на более мелкие части. Рыжий купец помещался по другую сторону стола и просматривал газету, вздетую на палку.

— Ну, что Кобургский? — спросил черный купец рыжего.

— Да ничего сегодня про него не пишут. Второй день уж не пишут. Надо полагать, уж не отменили его. Да и пора. Надоел. Ну что ему мотаться в политическом гарнизоне. Побаловал, да и будет.

— Да нешто это можно, чтобы отменить?

— Отчего же? Бисмарк все может. Погоди, вот конгресс всех нот будет, так и совсем запретят. Из-за чего Бисмарк с Кальноки шушукались-то? Все из-за этого. «Надо, говорят, нам нашего молодца посократить. Достаточно ему мозолить глаза». Довольно. Уж ежели залез, то сиди и пей себе пиво с букивротами, а действовать не смей. Немец немца завсегда послушает.

— Чего ему! Он теперь при генеральском мундире и при шпорах.

— А вот конгресс нот порешит, так и шпоры спилят.

— Уж хоть бы решали скорей. Куда его решат?

— Да куда решить? Решат, я думаю, в Калугу. Этих всех в Калугу решают. Туда и Шамиль решен был. Баттенберга тоже в Калугу везли, да сбежал он с дороги.

Рыжий купец опять углубился в чтение.

— Пей чай-то. Чего тут? Остынет. Вон я кусочков сахару нащипал,— сказал черный купец.

— А вот сейчас, только про Айвазовского юбилей дочту. Юбилей ему устраивают,— отвечал рыжий купец.

— Какой это Айвазовский? Чем он торгует?

— Живописец он, картины водяные пишет.

— О-о! А я думал, наш брат купец.

— Чего ты окаешь-то! Этому стоит юбилей сделать, хоть он и не купец. Главное дело, пятьдесят лет живописного рукомесла день в день выполнил, точка в точку. А это не шутка. Ведь за последнее время у нас все какие юбилеи бывали: семь лет, тринадцать лет, а то так и четыре с половиной. Четырехсполовинойлетний юбилей — нешто это можно. А тут пятьдесят лет! Говорят, он за это время одного полотна стравил столько, что щеколдинской фабрике в год не сработать.

— Водяные картины, ты говоришь, он писал?

— Только водяные. Вода, вода и вода. Вода и небесы — и ничего больше. И ведь в чем штука: только одну синюю краску и покупал. Разве малость белилами разводил.

— Ну, водяные-то картины не мудрость. Вот ежели бы портреты.

— Не мудрость! Нет, ты попробуй-ка пятьдесят лет подряд все одной и той же синей краской. Ведь он ею, может статься, миллион аршин полотна замазал. Да ведь не зря мазал, а надо тоже так, чтобы выходило что-нибудь. А у него было как. Вот поставишь ты его картину к стене, к примеру, а супротив ее утку пустишь, смотришь, утка-то в картину и лезет, на воду, значит, идет. Уток надувал.

— Т-с... Ну, это действительно. А портретов он не писал?

— Ни боже мой! Только одна вода да небесы. Да он и не умеет портреты... начал, говорят, раз с одного купца писать портрет, глядь, а вместо купца-то не то облизьяна, не то черт, а из пасти фонтал воды льется.

— Скажи на милость!

— Да. Кому уж бог какое упование дал. Другой вот способен только вывески для мелочных лавочек писать, чтобы фрукта была, хлеб, стеариновые свечи, а воду не может. А этот только воду да небесы. Третий и для мелочной лавочки не напишет вывески, а для табачной в

лучшем виде. Дай ты ему турку с трубкой написать, либо арапа с цигаркой — напишет, а заставь воду — не может. Ты думаешь, воду-то легко, чтобы по-настоящему выходило?

— Да что говорить!

— А у Айвазовского как угодно. С мальчишек уж руку набил. И ведь что удивительно-то: надо тебе морскую воду — он морскую напишет, надо речную — речная готова. И видишь ты сейчас, что это речная вода, а это морская.

— И на вкус? — спросил черный человек.

— Чудак человек! Как же можно на вкус-то?

— А ежели лизнуть по картине? Ведь морская вода соленая.

— Ах, вот это-то! Так. Да кто ж его знает, может статься, в морскую-то воду он и прибавлял соли, только я его картины видеть видел, а лизать не лизал. Да ведь и не допустят до этого на выставке. Ну-ка, коли ежели вся публика начнет лизать картину? Что из этого выйдет? До дыр и пролижешь. А его айвазовские картины дорогие.

— И фонтал может написать?

— И фонтал. Глядишь — ну, вот живой, да и только. Такое уж ему от бога умудрение.

— А болотную воду?

— И болотную воду. Одно только — сельтерской воды он не мог ухитриться написать; сколько ни старался — не выходит, да и что ты хочешь!

— Не далось?

— Не может. Пробовал хоть стаканчик — не выходит, да и шабаш. Уж он и так и эдак — нет. Колодезная, ключевая — всякая выходит, а сельтерскую не может.

— А кипяток?

— Кипяток? Кипяток выходит, а самовар не выходит. И так он за пятьдесят лет к этой воде пристрастился, что только о воде и думает, только о воде и разговаривает. Жареного даже ничего не ест, а только варево. Каждый день только уха и уха — в том его и пища. От воды, говорит, я себе капиталы нажил, так ничего мне теперича кроме воды и не надо.

— Капиталы?

— При больших капиталах состоит. В Крыму, в Феодосии, у него большое поместье и тоже стоит на воде. Спереди море, сбоку река, а сзади фонталы клю-

чевой воды бьют. Нынче он городу Феодосии пятьдесят тысяч ведер воды в день на водопровод подарил. «Нате, говорит, пользуйтесь». Гости к нему приедут, а он сейчас водой угощать.

— Ну, это не больно вкусно.

— Так-то оно так, но старичка уважают. Пьют. И ничем ты его не утешишь, как ежели из всех его кадок хоть по рюмке воды выпьешь.

— А у него кадки в доме стоят?

— Никакой мебели, а только кадки стоят, крышками прикрытые, и это взаместо стульев и столов. На кадках все сидят, на кадке с водой простую уху хлебают — вот и все угощение. Потом купаться. Сначала в морской воде все выкупаются, потом в речной и, наконец, в ключевой на загладку. Требовает. Коли уж, говорит, в гости пришел, то действуй по-нашему. В чужой монастырь с своим уставом не ходят.

— И как это его умудрило насчет воды?

— Видение было в юности. «Напиши ты, говорит, Ноев потоп, чтоб ничего не было видно, а только одна вода и небесы». Написал, и с тех пор вода, вода и вода.

— Водку-то он пьет ли?

— А то как же? Ведь она тоже вода. Ты водку от воды нешто можешь отличить. По виду ни в жизнь. Лизнешь — ну, дело другое. Водку он пьет. Да ты чего к водке-то подговариваешься? Не хочешь ли уж дербалызнуть? — спросил рыжий купец.

— Следовало бы за здоровье старичка. Как его?..

— Айвазовский.

— Следовало бы за господина водяного живописца Айвазовского.

— Ну, вали!

— Прислужающий! Насыпь-ка нам пару баночек хрустальной! — крикнул трактирному слуге черный купец.

В. В. БИЛИБИН

Я И ОКОЛОТОЧНЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ

Я познакомился с ним случайно: он явился ко мне с визитом в не совсем принятое для визитов время, надо правду сказать. Мы были, впрочем, взаимно очень любезны: я ему гостеприимно показал даже мою маленькую коллекцию писем и расположение моей квартиры, а он ласково расспрашивал меня о здоровье и фамилиях моих знакомых, заявил, что он очень любит литературу, сам немножко пописывает и рад со мной познакомиться. Мы расстались еще любезнее, и с тех пор он заходил ко мне иногда поболтать за стаканом чая о том о сем. Мы откровенничаем.

— А знаете,— говорил он мне однажды, подливая ром в чай,— знаете, говоря откровенно, по душе, я так называемую юмористическую литературу не одобряю... Помилуйте: к чему? Ведь соблазн! Для публики соблазн!

— Да полноте, Станислав Иванович! — возразил я.— Какой же соблазн? Какие у нас и темы возможны! Сами ведь читаете. Совсем ведь уж безобидные. Теща, кассир, интендант... Даже самим и досадно, и грустно...

— Читаю-с, читаю и не одобряю... Вот вы изволите говорить «теща». Во-первых, теща может быть очень честной женщиной, а во-вторых, вы подрываете этими насмешками семейную жизнь, институт брака. Другой бы и женился, да боится теперь тещи. И стыдно ему: знакомые с улыбочкой будут спрашивать о здоровье тещи. А все вы виноваты, юмористы. Вред делаете. Теперь вы говорите «интендант». Да ведь вы возьмите то во внимание, что интенданты суть правительственные чиновники, удостоены, значит, вообще доверия начальства. Вы против начальства, выходит, пишете.

— Да ведь воруют.

— Их и казнят. Но смеяться нельзя-с, подрываете... Или опять «кассир». Да ведь вы, нападая на кассиров, на собственность нападаете.

— Это еще как?

— Конечно-с. Другой бы стал копить деньги, движимость, в банк положил бы, а теперь боится, расточает.

— Да мы-то чем виноваты, что они воруют?

— Раздуваете, нехорошо-с. Нет, я не одобряю. Да вы и вообще без уважения пишете. Нередко читаешь критику и карикатуры даже на генералов. Возможно ли это? Вы с отрицанием и насмешкою обо всем толкуете... Я, знаете ли, говоря откровенно, я бы юмористическую литературу того, похерил бы... Не время смеяться... Там, за границей, другое дело-с, там давно неверие. А у нас народ благочестив и всегда всем сердцем готов, а вы портите. Верно я вам говорю. Не в русских нравах смех. Русский молитву любит. Вот в этаком духе и пишите. О доблестях пишите, военных и гражданских, внушайте печатным словом страх и повиновение, любовь к отчизне, о необходимости военной службы и об умеренности в спиртных напитках также... Ну, наконец, я понимаю, для более образованных читателей возможны разные этакие любовные описания, этакие романы... Отчего нет? Развлечение для усталого от службы духа, и ежели талантливо написана вещь, то даже способствует, склоняя к брачной жизни, увеличению народонаселения, следовательно, государственных доходов...

— Вы, конечно, сами пишете? — перебил я.

Он покраснел и стыдливо сказал:

— Стихи-с... В свободное от занятий время...

— У вас при себе? Покажите, любопытно...

— При себе-с...— И он стыдливо вынул из бокового кармана розовую тетрадку.— Вначале мои первые опыты стихотворства и поэзии... Я переложил в стихотворную форму всех домовладельцев города Санкт-Петербурга... Далее, вот это стихотворение более лирического свойства: я взял мысли дворника, страдающего зубною болью, но принужденного дежурить ночью... Ведь надо же и их пожалеть... Другой раз дашь в зубы, а самому жалко... Служба... Вот это-с небольшая ода в честь частного пристава, вроде Державина... Нет, нет, тех не читайте... Вроде как у Пушкина... Вот я все хотел спросить вас,— робко прибавил он, помолчав,— нельзя ли некоторые тиснуть?

— Где? В «Осколках»? Да ведь вы сами...

— Дух журнала подняли бы...

— Нет, стихи прелестны, звучны, но не подходят к программе...

Он самодовольно улыбнулся и стал пить чай.

А. П. ЧЕХОВ

ПИСЬМО К УЧЕНОМУ СОСЕДУ

Село Блины-Съедены

Дорогой Соседушка.

Максим... (забыл как по батюшке, извените великодушно!) Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизацыя и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете через свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимус понтифекс[1] отец

[1] верховный жрец (от *лат.* pontifex maximus).

Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на щот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например Амвросий, живший во время óно в царстве Польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Маиора). Абат значит католический поп. Извените меня неука за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую по-своему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей ско-

рей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть, по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Ска-

жу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приезжайте ко мне дорогой соседушко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислениям различным поучите.

Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученыи. И насщот этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Приезжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе все у ней дураки только она одна умная. Молодеж теперь я Вам скажу дает себя знать. Дай им бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же привезет его пожже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если доставит пожже то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень

и смелости не хватает. Извените меня негодника за беспокойство.

Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед

Василий Семи-Булатов.

РАДОСТЬ

Было двенадцать часов ночи.

Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.

— Откуда ты? — удивились родители.— Что с тобой?

— Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это... это даже невероятно!

Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.

— Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!

Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.

— Что с тобой? На тебе лица нет!

— Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Мамаша! О господи!

Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.

— Да что такое случилось? Говори толком!

— Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!

— Что ты? Где?

Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.

— Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите!

Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.

— Читайте!

Отец надел очки.

— Читайте же!

Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать:

— «29 декабря, в 11 часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров...

— Видите, видите? Дальше!

— ...коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии...

— Это я с Семеном Петровичем... Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!

— ...и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...

— Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!

— ...который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь...»

— Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!

Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.

— Побегу к Макаровым, им покажу... Надо еще

Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу... Побегу! Прощайте!

Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу.

НА ГВОЗДЕ

По Невскому плелась со службы компания коллежских регистраторов и губернских секретарей. Их вел к себе на именины именинник Стручков.

— Да и пожрем же мы сейчас, братцы! — мечтал вслух именинник.— Страсть как пожрем! Женка пирог приготовила. Сам вчера вечером за мукой бегал. Коньяк есть... воронцовская... Жена, небось, заждалась!

Стручков обитал у черта на куличках. Шли, шли к нему и наконец пришли. Вошли в переднюю. Носы почувствовали запах пирога и жареного гуся.

— Чувствуете? — спросил Стручков и захихикал от удовольствия.— Раздевайтесь, господа! Кладите шубы на сундук! А где Катя? Эй, Катя! Сбор всех частей прикатил! Акулина, поди помоги господам раздеться!

— А это что такое? — спросил один из компании, указывая на стену.

На стене торчал большой гвоздь, а на гвозде висела новая фуражка с сияющим козырьком и кокардой. Чиновники поглядели друг на друга и побледнели.

— Это его фуражка! — прошептали они.— Он... здесь!?!

— Да, он здесь,— пробормотал Стручков.— У Кати... Выйдемте, господа! Посидим где-нибудь в трактире, подождем, пока он уйдет.

Компания застегнула шубы, вышла и лениво поплелась к трактиру.

— Гусем у тебя пахнет, потому что гусь у тебя сидит! — слиберальничал помощник архивариуса.— Черти его принесли! Он скоро уйдет?

— Скоро. Больше двух часов никогда не сидит. Есть хочется! Перво-наперво мы водки выпьем и килечкой закусим... Потом повторим, братцы... После второй сейчас же пирог. Иначе аппетит пропадет... Моя женка хорошо пироги делает. Щи будут...

— А сардин купил?

— Две коробки. Колбаса четырех сортов... Жене, должно быть, тоже есть хочется... Ввалился, черт!

Часа полтора посидели в трактире, выпили для блезиру по стакану чаю и опять пошли к Стручкову. Вошли в переднюю. Пахло сильней прежнего. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами. Акулина что-то вынимала из печи.

— Опять неблагополучно, братцы!

— Что такое?

Чиновные желудки сжались от горя: голод не тетка, а на подлом гвозде висела кунья шапка.

— Это Прокатилова шапка,— сказал Стручков.— Выйдемте, господа! Переждем где-нибудь... Этот недолго сидит...

— И у этакого скверпавца такая хорошенькая жена! — послышался сиплый бас из гостиной.

— Дуракам счастье, ваше превосходительство! — аккомпанировал женский голос.

— Выйдемте! — простонал Стручков.

Пошли опять в трактир. Потребовали пива.

— Прокатилов — сила! — начала компания утешать Стручкова.— Час у твоей посидит, да зато тебе... десять лет блаженства. Фортуна, брат! Зачем огорчаться? Огорчаться не надо.

— Я и без вас знаю, что не надо. Не в том дело! Мне обидно, что есть хочется!

Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Кунья шапка продолжала еще висеть на гвозде. Пришлось опять ретироваться.

Только в восьмом часу вечера гвоздь был свободен от постоя и можно было приняться за пирог! Пирог был сух, щи теплы, гусь пережарен — все перепортила карьера Стручкова! Ели, впрочем, с аппетитом.

ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА

Купе первого класса.

На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке, pince-nez то и дело спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья сре-

ди волн. Она взволнована... Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, «новэллы» — из великосветской жизни... Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает... Душа ее, вся ее психология у него как на ладони.

— О, я постигаю вас! — говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета.— Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта... Да! Борьба страшная, чудовищная, но... не унывайте! Вы будете победительницей! Да!

— Опишите меня, Вольдемар! — говорит дамочка, грустно улыбаясь.— Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра... Но главное — я несчастна! Я страдалица во вкусе Достоевского... Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы — психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!

— Говорите! Умоляю вас, говорите!

— Слушайте. Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умный, но... дух времени и среды... vous comprenez[1], я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты... брал взятки... Мать же... Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества... Ах, не заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь... Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь... А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! Вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймете... К несчастью, я наделена широкой натурой... Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком — в этом я видела свое счастье!

— Чудная! — лепечет писатель, целуя руку около браслета.— Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал.

— О, Вольдемар! Мне нужна была слава... шум, блеск, как для всякой — к чему скромничать? — недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенно-

---

[1] вы понимаете *(фр.)*.

го... не женского! И вот... И вот... подвернулся на моем пути богатый старик-генерал... Поймите меня, Вольдемар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро... А как я страдала, как невыносимы, низменно-пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, в свое время он храбро сражался. Бывали минуты... ужасные минуты! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива... А у меня есть такой человек, Вольдемар! Видит бог, есть!

Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение.

— Но вот старик умер... Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо... Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но... нет! Вольдемар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой... отдохнуть... Но как все пошло, гадко и глупо на этом свете! Как все подло, Вольдемар! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!

— Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите! Что же?

— Другой богатый старик...

Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки...

ИЗ ДНЕВНИКА ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА

1863 г. Май, 11. Наш шестидесятилетний бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по сему случаю белою горячкой. Доктора, со свойственною им самоуверенностью, утверждают, что завтра помрет. Наконец-таки я буду бухгалтером! Это место мне уже давно обещано.

Секретарь Клещев пойдет под суд за нанесение побоев просителю, назвавшему его бюрократом. Это, по-видимому, решено.

Принимал декокт от катара желудка.

1865 г. Август, 3. У бухгалтера Глоткина опять заболела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. Если помрет, то место останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна!

Клещев вырвал у армянина вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдет.

Одна старушка (Гурьевна) вчера говорила, что у меня не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть!

1867 г. Июнь, 30. В Аравии, пишут, холера. Быть может, в Россию придет, и тогда откроется много вакансий. Быть может, старик Глоткин помрет и я получу место бухгалтера. Живуч человек! Жить так долго, по-моему, даже предосудительно.

Что бы такое от катара принять? Не принять ли цитварного семени?

1870 г. Январь, 2. Во дворе Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная примета, и мы с нею до двух часов ночи говорили о том, как я, ставши бухгалтером, куплю себе енотовую шубу и шлафрок. И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке — это мне не по годам, а на вдове.

Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух неприличный анекдот рассказывал и смеялся над патриотизмом члена торговой депутации Понюхова. Последний, как слышно, подает в суд.

Хочу с катаром к доктору Боткину сходить. Говорят, хорошо лечит...

1878 г. Июнь, 4. В Ветлянке, пишут, чума. Народ так и валится, пишут. Глоткин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума, то уж наверное я буду бухгалтером.

1883 г. Июнь, 4. Умирает Глоткин. Был у него и со слезами просил прощения за то, что смерти его с нетерпением ждал. Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофий.

А Клещев опять едва не угодил под суд: заложил еврею взятый напрокат фортепьян. И несмотря на все

это, имеет уже Станислава и чин коллежского асессора. Удивительно, что творится на этом свете!

Инбиря 2 золотника, калгана $1^1/_2$ зол., острой водки 1 зол., семибратней крови 5 зол.; всё смешав, настоять на штофе водки и принимать от катара натощак по рюмке.

Того же года. Июнь, 7. Вчера хоронили Глоткина. Увы! Не в пользу мне смерть сего старца! Снится мне по ночам в белой хламиде и кивает пальцем. И, о горе, горе мне, окаянному: бухгалтер не я, а Чаликов. Получил это место не я, а молодой человек, имеющий протекцию от тетки генеральши. Пропали все мои надежды!

1886 г. Июнь, 10. У Чаликова жена сбежала. Тоскует, бедный. Может быть, с горя руки на себя наложит. Ежели наложит, то я — бухгалтер. Об этом уже разговор. Значит, надежда еще не потеряна, жить можно и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представится хороший случай, только нужно посоветоваться с кем-нибудь; это шаг серьезный.

Клещев обменялся калошами с тайным советником Лирмансом. Скандал!

Швейцар Паисий посоветовал от катара сулему употреблять. Попробую.

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он

увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков.— Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

— Ничего, ничего...

— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы всё о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах,— подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала.— И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись,— сказала она.— Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который

уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство,— начал докладывать экзекутор,— я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея.— Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков.— Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство,— забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза,— не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

— Пошел вон!!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.— Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания.— Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий.— Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга.— Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое...

ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера?!»

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:

«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя».

«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».

«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».

«Никандров социалист!»

«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка... (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим... (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки... (далее все зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».

«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».

«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».

«Господа! Тельцовский шулер!»

«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм!

«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».

«Лопай, что дают»...

«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу».

«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».

«Добродетелью украшайтесь».

«Катенька, я вас люблю безумно!»

«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а дурак».

ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— Ааа... мое вам! — зевает фельдшер.— С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и

гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

— Мда... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...

— Предрассудок... (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные... по гроб жизни...

— Пустяки...— скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах.— Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире...— говорит он, подходя с щипцами к дьячку.— Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все... (подрезывает десну) и все...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять... (тянет) чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...

— Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь!

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом.— Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер.— Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил...

(Тянет.) Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой...— бормочет фельдшер.— Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый черт...— выговаривает он.— Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут...— бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы.— Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

ХАМЕЛЕОН

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов.— Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!..— говорит городовой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписаный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу.— Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю...— начинает Хрюкин, кашляя в кулак.— Насчет дров с Митрий Митричем,— и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

— Гм!.. Хорошо...— говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями.— Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин,— обращается надзиратель к городовому,— узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину.— Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть,

расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская...— глубокомысленно замечает городовой.— У генерала таких нет. У него всё больше легавые...

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие...

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держать?!. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или в Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

— А может быть, и генеральская...— думает вслух городовой.— На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего,— говорит Очумелов.— Она бродячая! Нечего тут долго разговари-

вать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все.

— Это не наша,— продолжает Прохор.— Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления.— Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости...

— Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцик этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

НОЧЬ ПЕРЕД СУДОМ

Рассказ подсудимого

— Быть, барин, беде! — сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебегавшего нам дорогу.

Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в с—ий окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я к ночи приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли,— до того я озяб, промок и обалдел от однообразной дорожной тряски. На станции встретил меня станционный смотритель, высокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали ему нюхать.

А понюхать, признаться, было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротником, отворил дверь в станционные «покои» и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного клопа,— и

я едва не задохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столе и освещавшая деревянные некрашеные стены, коптила, как лучина.

— Да и вонь же у вас, синьор! — сказал я, входя и кладя чемодан на стол.

Смотритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой.

— Пахнет, как обыкновенно,— сказал он и почесался.— Это вам с морозу. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут.

Я услал смотрителя и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит клеенкой и был холоден, как лед. Кроме дивана, в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постлал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони. Снявши сюртук, брюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги... Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть, но тут случился маленький казус. Мой взгляд нечаянно упал на ширмы и... представьте мой ужас! Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черные брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки — стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взор, я смирнехонько направился к дивану, лег и укрылся шубой.

«Какая оказия! — подумал я.— Значит, она видела, как я прыгал! Нехорошо...»

И, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнее затеснились в моем воображении, и... и, словно в наказание за грешные мысли, я вдруг почувствовал на своей правой щеке сильную, жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело: запахло раздавленным клопом.

— Это черт знает что такое! — услышал я в то же время женский голосок.— Проклятые клопы, вероятно, хотят съесть меня!

Гм!.. Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидский порошок. И на сей раз я не изменил этой привычке. Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средство от «энциклопедии» и — знакомство готово. Но как предложить?

— Это ужасно!

— Сударыня,— сказал я возможно сладеньким голосом.— Насколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то...

— Ах, пожалуйста!

— В таком случае я сейчас... надену только шубу,— обрадовался я,— и принесу...

— Нет, нет... Вы через ширму подайте, а сюда не ходите!

— Я и сам знаю, что через ширму. Не пугайтесь: не башибузук какой-нибудь...

— А кто вас знает! Народ вы проезжий...

— Гм!.. А хоть бы и за ширму... Тут ничего нет особенного... тем более, что я доктор,— солгал я,— а доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь.

— Вы правду говорите, что вы доктор? Серьезно?

— Честное слово. Так позволите принести вам порошок?

— Ну, если вы доктор, то пожалуй... Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам... Федя! — сказала брюнетка, понизив голос.— Федя! Да проснись же, тюлень! Встань и пойди за ширму! Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку.

Присутствие за ширмой «Феди» было для меня ошеломляющею новостью. Меня словно обухом ударило... Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный курок, когда делает осечку: и совестно, и досадно, и жалко... На душе у меня стало так скверно и таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не закричал караул. Федя изображал из себя высокого жилистого человека, лет пятидесяти, с седыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и с синими жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях.

— Вы очень любезны, доктор...— сказал он, прини-

мая от меня персидский порошок и поворачивая к себе за ширмы.— Merci... И вас застала пурга?

— Да! — проворчал я, ложась на диван и остервенело натягивая на себя шубу.— Да!

— Так-с... Зиночка, по твоему носику клопик бежит! Позволь мне снять его!

— Можешь,— засмеялась Зиночка.— Не поймал! Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь!

— Зиночка, при постороннем человеке... (вздох). Вечно ты... Ей-богу...

— Свиньи, спать не дают! — проворчал я, сердясь сам не зная чего.

Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, час... и я не спал. В конце концов и соседи мои заворочались и стали шепотом браниться.

— Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет! — проворчал Федя.— Так их много, этих клопов! — Доктор! Зиночка просит меня спросить вас: отчего это клопы так мерзко пахнут?

Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии; поговорили об Эдисоне...

— Ты, Зиночка, не стесняйся... Ведь он доктор! — услышал я шепот после разговора об Эдисоне.— Не церемонься и спроси... Бояться нечего. Шервецов не помог, а этот, может быть, поможет.

— Спроси сам! — прошептала Зиночка.

— Доктор,— обратился ко мне Федя,— отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли... теснит, точно, знаете ли, запеклось что-то...

— Это длинный разговор, сразу нельзя сказать...— попытался я увернуться.

— Ну так что ж, что длинный? Время есть... все одно не спим... Посмотрите ее, голубчик! Надо вам заметить, лечит ее Шервецов... Человек-то он хороший, но... кто его знает? Не верю я ему! Не верю! Вижу, вам не хочется, но будьте так добры! Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить.

Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок.

— Покажите язык! — начал я, садясь около нее и хмуря брови.

Она показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс.

— Гм...— промычал я, не найдя пульса.

Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющееся личико, помню только, что под конец моей диагностики я был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов.

Наконец я сидел в компании Феди и Зиночки за самоваром; надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки:

Rp. Sic transit 0,05
Gloria mundi 1,0
Aquae distillatae 0,1 [1]

Через два часа по столовой ложке.

Г-же Съеловой.
Д-р Зайцев.

Утром, когда я, совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке, прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убеждал:

— Нет, вы обязаны взять! Я привык платить за всякий честный труд! Вы учились, работали! Ваши знания достались вам пóтом и кровью! Я понимаю это!

Нечего было делать, пришлось взять десятирублевку.

Так в общих чертах провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз; и я прочел себе отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно важные физиономии присяжных...

Но я не могу описать, а вы представить себе, моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте — кого бы вы думали? — Федю! Он сидел и что-то писал. Глядя

---

[1] Так проходит 0,05
Мирская слава 1,0
Дистиллированной воды 0,1 *(лат.)*.

на него, я вспомнил клопов, Зиночку, свою диагностику, и не мороз, а целый Ледовитый океан пробежал по моей спине... Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла... рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в него глазами...

— Подсудимый, назовите суду ваше имя и проч.,— начал председатель.

Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу.

«Ну, быть бане!» — подумал я.

По всем признакам, прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал...

Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда, во время обеденного перерыва... Сейчас будет речь прокурора.

Что-то будет?

НЕ В ДУХЕ

Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но бес жадности и корыстолюбия сидел в ухе станового и упрекал его в расточительности.

— Восемь рублей — экая важность! — заглушал в себе Прачкин этого беса.— Люди и больше проигрывают, да ничего. И к тому же деньги дело наживное... Съездил раз на фабрику или в трактир Рылова, вот тебе и все восемь, даже еще больше!

— «Зима... Крестьянин, торжествуя...» — монотонно зубрил в соседней комнате сын станового, Ваня.— «Крестьянин, торжествуя... обновляет путь...»

— Да и отыграться можно... Что это там «торжествуя»?

— «Крестьянин, торжествуя, обновляет путь... обновляет...»

— «Торжествуя...» — продолжал размышлять Прачкин.— Влепить бы ему десяток горячих, так не очень

бы торжествовал. Чем торжествовать, лучше бы подати исправно платил... Восемь рублей — экая важность! Не восемь тысяч, всегда отыграться можно...

— «Его лошадка, снег почуя... снег почуя, плетется рысью как-нибудь...»

— Еще бы она вскачь понеслась! Рысак какой нашелся, скажи на милость! Кляча — кляча и есть... Нерассудительный мужик рад спьяну лошадь гнать, а потом как угодит в прорубь или в овраг, тогда и возись с ним... Поскачи только мне, так я тебе такого скипидару пропишу, что лет пять не забудешь!.. И зачем это я с маленькой пошел? Пойди я с туза треф, не был бы я без двух...

— «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая... бразды пушистые взрывая...»

— «Взрывая... Бразды взрывая... бразды...» Скажет же этакую штуку! Позволяют же писать, прости господи! А все десятка, в сущности, наделала! Принесли же ее черти не вовремя!

— «Вот бегает дворовый мальчик... дворовый мальчик, в салазки Жучку посадив... посадив...»

— Стало быть, наелся, коли бегает да балуется... А у родителей нет того в уме, чтоб мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше бы дрова колол или Священное писание читал... И собак тоже развели... ни пройти, ни проехать! Было бы мне после ужина не садиться... Поужинать бы, да и уехать...

— «Ему и больно и смешно, а мать грозит... а мать грозит ему в окно...»

— Грози, грози... Лень на двор выйти да наказать... Задрала бы ему шубенку да чик-чик! чик-чик! Это лучше, чем пальцем грозить... А то, гляди, выйдет из него пьяница... Кто это сочинил? — спросил громко Прачкин.

— Пушкин, папаша.

— Пушкин? Гм!.. Должно быть, чудак какой-нибудь. Пишут-пишут, а что пишут — и сами не понимают. Лишь бы написать!

— Папаша, мужик муку привез! — крикнул Ваня.

— Принять!

Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительнее становилась для него потеря. Так было жалко восьми рублей, так жалко, точно он в самом деле проиграл восемь тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин стал у окна и,

тоскуя, вперил свой печальный взор в снежные сугробы... Но вид сугробов только растеребил его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатило под душу... Потребность излить на чем-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящих отлагательства. Он не вынес...

— Ваня! — крикнул он.— Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил!

КАНИТЕЛЬ

На клиросе стоит дьячок Отлукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная с розового и кончая темно-синим. Перед ним на рыжем переплете Цветной триоди лежат две бумажки. На одной из них написано «о здравии», на другой — «за упокой», и под обоими заглавиями по ряду имен... Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась.

— Дальше кого? — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом.— Скорей, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану.

— Сейчас, батюшка... Ну, пиши... О здравии рабов божиих: Андрея и Дарьи со чады... Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи...

— Постой, не шибко... Не за зайцем скачешь, успеешь.

— Написал Марию? Ну, таперя Кирилла, Гордея, младенца новопреставленного Герасима, Пантелея... Записал усопшего Пантелея?

— Постой... Пантелей помер?

— Помер...— вздыхает старуха.

— Так как же ты велишь о здравии записывать? — сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку.— Вот тоже еще... Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой?

— За упокой? Сейчас... постой... Ну, пиши... Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора... Запиши... воина Захара... Как пошел на службу в четвертом годе, так с той поры и не слыхать...

— Стало быть, он помер?

— А кто ж его знает! Может, помер, а может, и жив... Ты пиши...

— Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии. Пойми вот вашего брата!

— Гм!.. Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его ни записывай: непутящий человек... пропащий... Записал? Таперя за упокой Марка, Левонтия, Арину... ну, и Кузьму с Анной... болящую Федосью...

— Болящую-то Федосью за упокой? Тю!

— Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?

— Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего в за упокой лезть. Путаешь тут! Изволь вот теперь Федосью херить и в другое место писать... всю бумагу изгадил! Ну, слушай, я тебе прочту... О здравии Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новопреставленного младенца Гер... Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новопреставленный, и вдруг — о здравии! Нет, запутала ты меня, убогая! Бог с тобой, совсем запутала!

Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел.

— Слушай! О здравии Марии, Кирилла, воина Захарии... Кого еще?

— Авдотью записал?

— Авдотью? Гм... Авдотью... Евдокию...— пересматривает дьячок обе бумажки.— Помню, записывал ее, а теперь шут ее знает... никак не найдешь... Вот она! За упокой записана!

— Авдотью-то за упокой? — удивляется старуха.— Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь!.. Сам вот, сердешный, путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает...

— Постой, не мешай...

Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе Авдотью. Перо на букве «д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.

— Авдотью, стало быть, долой отсюда...— бормочет он смущенно,— а записать ее туда... Так? Постой...

Ежели ее туда, то будет о здравии, ежели же сюда, то за упокой... Совсем запутала баба! И этот еще воин Захария встрял сюда... Шут его принес... Ничего не разберу! Надо сызнова...

Дьячок лезет в шкапчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги.

— Выкинь Захарию, коли так...— говорит старуха.— Уж бог с ним, выкинь...

— Молчи!

Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок.

— Я их всех гуртом запишу,— говорит он,— а ты неси к отцу дьякону... Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый; он в семинарии обучался, а я этих самых делов... хоть убей, ничего не понимаю.

Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы копейки и семенит к алтарю.

ДИПЛОМАТ

Сценка

Жена титулярного советника Анна Львовна Кувалдина испустила дух.

— Как же теперь быть-то? — начали совещаться родственники и знакомые.— Надо бы мужа уведомить. Он хоть не жил с нею, но все-таки любил покойницу. Намеднись приезжал к ней, на коленках ползал и все: «Анночка! Когда же наконец ты простишь мне увлечение минуты?» И все в таком, знаете, роде. Надо дать знать...

— Аристарх Иваныч! — обратилась заплаканная тетенька к полковнику Пискареву, принимавшему участие в родственном совещании.— Вы друг Михаилу Петровичу. Сделайте милость, съездите к нему в правление и дайте ему знать о таком несчастье! Только вы, голубчик, не сразу, не оглоушьте, а то как бы и с ним чего не случилось. Болезненный. Вы подготовьте его сначала, а потом уж...

Полковник Пискарев надел фуражку и отправился в правление дороги, где служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением баланса.

— Михайлу Петровичу,— начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот...— Здорово, голубчик!

Да и пыль же на улицах, прости господи! Пиши, пиши... Я мешать не стану... Посижу и уйду... Шел, знаешь, мимо и думаю: а ведь здесь Миша служит! Дай зайду! Кстати же и тово... дельце есть...

— Посидите, Аристарх Иваныч... Погодите... Я через четверть часика кончу, тогда и потолкуем...

— Пиши, пиши... Я ведь так только, гуляючи... Два словечка скажу, и — айда!

Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал у себя за воротником и продолжал:

— Душно у вас здесь, а на улице чистый рай... Солнышко, ветерочек этакий, знаешь ли... птички... Весна! Иду себе по бульвару, и так мне, знаешь ли, хорошо!.. Человек я независимый, вдовый... Куда хочу, туда и иду... Хочу — в портерную зайду, хочу — на конке взад и вперед проедусь, и никто не смеет меня остановить, никто за мной дома не воет... Нет, брат, и лучше житья, как на холостом положении. Вольно! Свободно! Дышишь и чувствуешь, что дышишь! Приду сейчас домой, и никаких... Никто не посмеет спросить, куда ходил... Сам себе хозяин... Многие, братец ты мой, хвалят семейную жизнь, по-моему же она хуже каторги... Моды эти, турнюры, сплетни, визг... то и дело гости... детишки один за другим так и ползут на свет божий... расходы... Тьфу!

— Я сейчас,— проговорил Кувалдин, берясь за перо.— Кончу и тогда...

— Пиши, пиши... Хорошо, если жена попадется не дьяволица, ну а ежели сатана в юбке? Ежели такая, что по целым дням стрекозит да зудит?.. Взвоешь! Взять хоть тебя к примеру... Пока холост был, на человека похож был, а как женился на своей, и захирел, в меланхолию ударился... Осрамила она тебя на весь город, из дому прогнала... Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего...

— В нашем разрыве я виноват, а не она,— вздохнул Кувалдин.

— Оставь, пожалуйста! Знаю я ее! Злющая, своеправная, лукавая! Что ни слово, то жало ядовитое, что ни взгляд, то нож острый... А что в ней, в покойнице, ехидства этого было, так и выразить невозможно!

— То есть как в покойнице? — сделал большие глаза Кувалдин.

— Да нешто я сказал: в покойнице? — спохватился Пискарев краснея.— И вовсе я этого не говорил... Что

ты, бог с тобой... Уж и побледнел! Хе-хе!.. Ухом слушай, а не брюхом!

— Вы были сегодня у Анюты?

— Заходил утром... Лежит... Прислугой помыкает... То ей не так подали, другое... Невыносимая женщина! Не понимаю, за что ты и любишь ее, бог с ней совсем... Дал бы бог, развязала бы она тебя, несчастного... Пожил бы ты на свободе, повеселился... на другой бы оженился... Ну, ну, не буду! Не хмурься! Я ведь так только, по-стариковски... По мне, как знаешь... Хочешь — люби, хочешь — не люби, а я ведь так... добра желаючи... Не живет с тобой, знать тебя не хочет... что ж это за жена? Некрасивая, хилая, злонравная... И жалеть не за что... Пущай бы...

— Легко вы рассуждаете, Аристарх Иваныч! — вздохнул Кувалдин.— Любовь — не волос, не скоро ее вырвешь.

— Есть за что любить! Акроме ехидства, ты от нее ничего не видел. Ты прости меня, старика, а не любил я ее... Видеть не мог! Еду мимо ее квартиры и глаза закрываю, чтобы не увидеть... Бог с ней! Царство ей небесное, вечный покой, но... не любил, грешный человек!

— Послушайте, Аристарх Иваныч...— побледнел Кувалдин.— Вы уже во второй раз проговариваетесь... Умерла она, что ли?

— То есть кто умерла? Никто не умирал, а только не любил я ее, покойницу... тьфу! то есть не покойницу, а ее... Аннушку-то твою...

— Да она умерла, что ли? Аристарх Иваныч, не мучайте меня! Вы как-то странно возбуждены, путаетесь... холостую жизнь хвалите... Умерла? Да?

— Уж так и умерла! — пробормотал Пискарев кашляя.— Как ты, брат, все сразу... А хоть бы и умерла! Все помрем, и ей, стало быть, помирать надо... И ты помрешь, и я...

Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами.

— В котором часу? — спросил он тихо.

— Ни в котором... Уж ты и рюмзаешь! Да не умерла она! Кто тебе сказал, что она померла?

— Аристарх Иваныч, я... я прошу вас. Не щадите меня!

— С тобой, брат, и говорить нельзя, словно ты маленький. Ведь не говорил же я тебе, что она преставилась? Ведь не говорил? Чего же слюни распускаешь?

Поди полюбуйся — живехонька! Когда заходил к ней, с теткой бранилась... Тут отец Матвей панихиду служит, а она на весь дом орет.

— Какую панихиду? Зачем ее служить?

— Панихиду-то? Да так... словно как бы вместо молебствия. То есть... никакой панихиды не было, а что-то такое... ничего не было.

Аристарх Иваныч запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять.

— Кашель у меня, братец... Не знаю, где простудился...

Кувалдин тоже поднялся и нервно заходил около стола.

— Морочаете вы меня,— сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку.— Теперь понятно... все понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия! Почему же сразу не говорить? Умерла ведь?

— Гм... Как тебе сказать? — пожал плечами Пискарев.— Не то чтобы умерла, а так... Ну вот ты уж и плачешь! Все ведь умрем! Не одна она смертная, все на том свете будем! Чем плакать-то при людях, взял бы лучше да помянул! Перекрестился бы!

Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел и, упавши в кресло, залился истерическим плачем... Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к нему на помощь. Пискарев почесал затылок и нахмурился.

— Комиссия с такими господами, ей-богу! — проворчал он, растопыривая руки.— Ревет... ну, а отчего ревет, спрашивается? Миша, да ты в своем уме? Миша! — принялся он толкать Кувалдина.— Ведь не умерла же еще! Кто тебе сказал, что она умерла? Напротив, доктора говорят, что есть еще надежда! Миша! А Миша! Говорю тебе, что не померла! Хочешь, вместе к ней съездим? Как раз и к панихиде поспеем... то есть что я? Не к панихиде, а к обеду. Мишенька! уверяю тебя, что еще жива! Накажи меня бог! Лопни мои глаза! Не веришь? В таком разе едем к ней... Назовешь тогда чем хочешь, ежели... И откуда он это выдумал, не понимаю? Сам я сегодня был у покойницы, то есть не у покойницы, а... тьфу!

Полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы.

— Ступайте вы к нему сами! — проговорил он в от-

чаянии.— Сами его подготовляйте к известию, а меня уж избавьте! Не желаю-с! Два слова ему только сказал... Чуть только намекнул, поглядите, что с ним делается! Помирает! Без чувств!.. В другой раз ни за какие коврижки! Сами идите!..

САПОГИ

Фортепианный настройщик Муркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и с ватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребезжащим голосом прокричал:

— Семен! Коридорный!

И, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка или что он только что у себя в номере увидел привидение.

— Помилуй, Семен! — закричал он, увидев бегущего к нему коридорного.— Что же это такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить босиком! Отчего ты до сих пор не даешь мне сапог! Где они?

Семен вошел в номер Муркина, поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги, и почесал затылок: сапог не было.

— Где ж им быть, проклятым? — проговорил Семен.— Вечером, кажись, чистил и тут поставил... Гм!.. Вчерась, признаться, выпивши был... Должно полагать, в другой номер поставил. Именно так и есть, Афанасий Егорыч, в другой номер! Сапог-то много, а черт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнишь... Должно, к барыне поставил, что рядом живет... к актрисе...

— Изволь я теперь из-за тебя идти к барыне, беспокоить! Изволь вот из-за пустяка будить честную женщину!

Вздыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал.

— Кто там? — послышался через минуту женский голос.

— Это я-с! — начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой.— Извините за беспокойство, сударыня, но я человек болезненный, ревматический... Мне, сударыня,

доктора велели ноги в тепле держать, тем более что мне сейчас нужно идти настраивать рояль к генеральше Шевелицыной. Не могу же я к ней босиком идти!..

— Да вам что нужно? Какой рояль?

— Не рояль, сударыня, а в отношении сапог! Невежда Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил в ваш номер. Будьте, сударыня, столь достолюбезны, дайте мне мои сапоги!

Послышалось шуршание, прыжок с кровати и шлепанье туфель, после чего дверь слегка отворилась и пухлая женская ручка бросила к ногам Муркина пару сапог. Настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер.

— Странно...— пробормотал он, надевая сапог.— Словно как будто это не правый сапог. Да тут два левых сапога! Оба левые! Послушай, Семен, да это не мои сапоги! Мои сапоги с красными ушками и без латок, а это какие-то порванные, без ушек!

Семен поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился.

— Это сапоги Павла Александрыча...— проворчал он, глядя искоса.

Он был кос на левый глаз.

— Какого Павла Александрыча?

— Актера... каждый вторник сюда ходит... Стало быть, это он вместо своих ваши надел... Я к ней в номер поставил, значит, обе пары: его и ваши. Комиссия!

— Так поди и перемени!

— Здравствуйте! — усмехнулся Семен.— Поди и перемени... А где ж мне взять его теперь? Уж час времени, как ушел... Поди, ищи ветра в поле!

— Где же он живет?

— А кто ж его знает! Приходит сюда каждый вторник, а где живет — нам неизвестно. Придет, переночует, и жди до другого вторника...

— Вот видишь, свинья, что ты наделал! Ну, что мне теперь делать! Мне к генеральше Шевелицыной пора, анафема ты этакая! У меня ноги озябли!

— Переменить сапоги недолго. Наденьте эти сапоги, походите в них до вечера, а вечером в театр... Актера Блистанова там спросите... Ежели в театр не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходит...

— Но почему же тут два левых сапога? — спросил настройщик, брезгливо берясь за сапоги.

— Какие бог послал, такие и носит. По бедности... Где актеру взять?.. «Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрыч! Чистая срамота!» А он и говорит: «Умолкни, говорит, и бледней! В этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл!» Чудной народ! Одно слово, артист. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров — и в острог.

Бесконечно кряхтя и морщась, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился к генеральше Шевелицыной. Целый день ходил он по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги с латками и с покривившимися каблуками! Кроме нравственных мук, ему пришлось еще испытать и физические: он натер себе мозоль.

Вечером он был в театре. Давали «Синюю Бороду». Только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазались, третьи курили. Синяя Борода стоял с королем Бобешем и показывал ему револьвер.

— Купи! — говорил Синяя Борода.— Сам купил в Курске по случаю за восемь, ну, а тебе отдам за шесть... Замечательный бой!

— Поосторожней... Заряжен ведь!

— Могу ли я видеть господина Блистанова? — спросил вошедший настройщик.

— Я самый! — повернулся к нему Синяя Борода.— Что вам угодно?

— Извините, сударь, за беспокойство,— начал настройщик умоляющим голосом,— но, верьте... я человек болезненный, ревматический. Мне доктора приказали ноги в тепле держать...

— Да вам, собственно говоря, что угодно?

— Видите ли-с...— продолжал настройщик, обращаясь к Синей Бороде.— Того-с... эту ночь вы изволили быть в меблированных комнатах купца Бухтеева... в шестьдесят четвертом номере...

— Ну, что врать-то! — усмехнулся король Бобеш.— В шестьдесят четвертом номере моя жена живет!

— Жена-с? Очень приятно-с...— Муркин улыбнулся.— Оне-то, ваша супруга, собственно мне и выдали ихние сапоги... Когда они,— настройщик указал на Блистанова,— от них ушли-с, я хватился своих сапог...

кричу, знаете ли, коридорного, а коридорный и говорит: «Да я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил!» Он по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил в шестьдесят четвертый номер мои сапоги и ваши-с,— повернулся Муркин к Блистанову,— а вы, уходя вот от ихней супруги, надели мои-с...

— Да вы что же это? — проговорил Блистанов и нахмурился.— Сплетничать сюда пришли, что ли?

— Нисколько-с! Храни меня бог-с! Вы меня не поняли-с... Я ведь насчет чего? Насчет сапог! Вы ведь изволили ночевать в шестьдесят четвертом номере?

— Когда?

— В эту ночь-с.

— А вы меня там видели?

— Нет-с, не видел-с,— ответил Муркин в сильном смущении, садясь и быстро снимая сапоги.— Я не видел-с, но мне ваши сапоги вот ихняя супруга выбросила... Это вместо моих-с...

— Так какое же вы имеете право, милостивый государь, утверждать подобные вещи? Не говорю уж о себе, но вы оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа!

За кулисами поднялся страшный шум. Король Бобеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и изо всей силы ударил кулаком по столу, так что в уборной по соседству с двумя актрисами сделалось дурно.

— И ты веришь? — кричал ему Синяя Борода.— Ты веришь этому негодяю? О-о! Хочешь, я убью его, как собаку? Хочешь? Я из него бифштекс сделаю! Я его размозжу!

И все, гулявшие в этот вечер в городском саду около летнего театра, рассказывают теперь, что они видели, как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и с глазами, полными ужаса. За ним гнался человек в костюме Синей Бороды и с револьвером в руке. Что случилось далее — никто не видел. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, две недели лежал больной и к словам «я человек болезненный, ревматический» стал прибавлять еще «я человек раненый»...

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ

— Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю — стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? — спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...

— Позвольте, вы ведь не урядник, не староста,— разве это ваше дело народ разгонять?

— Не его! Не его! — слышатся голоса из разных углов камеры.— Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

— Именно так, вашескородие! — говорит свидетель староста.— Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

— Погодите, вы еще успеете дать показание,— говорит мировой,— а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

— Слушаюсь-с! — хрипит унтер.— Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людьми простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому — для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное,— нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар

бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? — обращается унтер к уряднику Жигину.

— Сказывал.

— Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела не подсудны». Все слыхали, как ты это самое... Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что́ ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: «Поди, говорю, сюда, кавалер»,— и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну, да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо ежели за дело... ежели беспорядок...

— Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

— Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

— Но поймите, что это не ваше дело!

— Чего-с? Как же это не мое? Чудно́-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне, хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом

каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

— Что у вас записано?

— Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

— «Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров».

— Довольно! — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками.— По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

— Наррод, расходись! Не толпись! По домам!

НУ, ПУБЛИКА!

— Шабаш, не буду больше пить!.. Ни... ни за что! Пора уж за ум взяться. Надо работать, трудиться... Любишь жалованье получать, так работай честно, усердно, по совести, пренебрегая покоем и сном. Баловство брось... Привык, брат, задаром жалованье получать, а это вот и нехорошо... и нехорошо...

Прочитав себе несколько подобных нравоучений, обер-кондуктор Подтягин начинает чувствовать непреодолимое стремление к труду. Уже второй час ночи, но, несмотря на это, он будит кондукторов и вместе с ними идет по вагонам контролировать билеты.

— Вашш... билеты! — выкрикивает он, весело пощелкивая щипчиками.

Сонные фигуры, окутанные вагонным полумраком, вздрагивают, встряхивают головами и подают свои билеты.

— Вашш... билеты! — обращается Подтягин к пассажиру II класса, тощему, жилистому человеку, окутанному в шубу и одеяло и окруженному подушками.— Вашш... билеты!

Жилистый человек не отвечает. Он погружен в сон. Обер-кондуктор трогает его за плечо и нетерпеливо повторяет:

— Вашш... билеты!

Пассажир вздрагивает, открывает глаза и с ужасом глядит на Подтягина.

— Что? Кто? а?

— Вам говорят по-челаэчески: вашш... билеты! Па-а-трудитесь!

— Боже мой! — стонет жилистый человек, делая плачущее лицо.— Господи, боже мой! Я страдаю ревматизмом... три ночи не спал, нарочно морфию принял, чтоб уснуть, а вы... с билетом! Ведь это безжалостно, бесчеловечно! Если бы вы знали, как трудно мне уснуть, то не стали бы беспокоить меня такой чепухой... Безжалостно, нелепо! И на что вам мой билет понадобился? Глупо даже!

Подтягин думает, обидеться ему или нет,— и решает обидеться.

— Вы здесь не кричите! Здесь не кабак! — говорит он.

— Да в кабаке люди человечней...— кашляет пассажир.— Изволь я теперь уснуть во второй раз! И удивительное дело: всю заграницу объездил, и никто у меня там билета не спрашивал, а тут, словно черт их под локоть толкает, то и дело, то и дело!..

— Ну, и поезжайте за границу, ежели вам там нравится!

— Глупо, сударь! Да! Мало того, что морят пассажиров угаром, духотой и сквозняком, так хотят еще, черт ее подери, формалистикой добить. Билет ему по-

надобился! Скажите, какое усердие! Добро бы это для контроля делалось, а то ведь половина поезда без билетов едет!

— Послушайте, господин! — вспыхивает Подтягин.— Вы извольте подтвердить ваши доводы! И ежели вы не перестанете кричать и беспокоить публику, то я принужден буду высадить вас на станции и составить акт об этом факте!

— Это возмутительно! — негодует публика.— Пристает к больному человеку! Послушайте, да имейте же сожаление!

— Да ведь они сами ругаются! — трусит Подтягин.— Хорошо, я не возьму билета... Как угодно... Только ведь, сами знаете, служба моя этого требует... Ежели б не служба, то, конечно... Можете даже начальника станции спросить... Кого угодно спросите...

Подтягин пожимает плечами и отходит от больного. Сначала он чувствует себя обиженным и несколько третированным, потом же, пройдя вагона два-три, он начинает ощущать в своей обер-кондукторской груди некоторое беспокойство, похожее на угрызения совести.

«Действительно, не нужно было будить больного,— думает он.— Впрочем, я не виноват... Они там думают, что это я с жиру, от нечего делать, а того не знают, что этого служба требует... Ежели они не верят, так я могу к ним начальника станции привести».

Станция. Поезд стоит пять минут. Перед третьим звонком в описанный вагон II класса входит Подтягин. За ним шествует начальник станции, в красной фуражке.

— Вот этот господин,— начинает Подтягин,— говорят, что я не имею полного права спрашивать с них билет, и... и обижаются. Прошу вас, господин начальник станции, объяснить им — по службе я требую билет или зря? Господин,— обращается Подтягин к жилистому человеку.— Господин! Можете вот начальника станции спросить, ежели мне не верите.

Больной вздрагивает, словно ужаленный, открывает глаза и, сделав плачущее лицо, откидывается на спинку дивана.

— Боже мой! Принял другой порошок и только что задремал, как он опять... опять! Умоляю вас, имейте вы сожаление!

— Вы можете поговорить вот с господином начальником станции... Имею я полное право билет спрашивать или нет?

— Это невыносимо! Нате вам ваш билет! Нате! Я куплю еще пять билетов, только дайте мне умереть спокойно! Неужели вы сами никогда не были больны? Бесчувственный народ!

— Это просто издевательство! — негодует какой-то господин в военной форме.— Иначе я не могу понять этого приставанья!

— Оставьте...— морщится начальник станции, дергая Подтягина за рукав.

Подтягин пожимает плечами и медленно уходит за начальником станции.

«Изволь тут угодить! — недоумевает он.— Я для него же позвал начальника станции, чтоб он понимал, успокоился, а он... ругается».

Другая станция. Поезд стоит десять минут. Перед вторым звонком, когда Подтягин стоит около буфета и пьет сельтерскую воду, к нему подходят два господина, один в форме инженера, другой в военном пальто.

— Послушайте, г. обер-кондуктор! — обращается инженер к Подтягину.— Ваше поведение по отношению к больному пассажиру возмутило всех очевидцев. Я инженер Пузицкий, это вот... господин полковник. Если вы не извинитесь перед пассажиром, то мы подадим жалобу начальнику движения, нашему общему знакомому.

— Господа, да ведь я... да ведь вы...— оторопел Подтягин.

— Объяснений нам не надо. Но предупреждаем, если не извинитесь, то мы берем пассажира под свою защиту.

— Хорошо, я... я, пожалуй, извинюсь... Извольте...

Через полчаса Подтягин, придумав извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажира и не умалила его достоинства, входит в вагон.

— Господин! — обращается он к больному.— Послушайте, господин!

Больной вздрагивает и вскакивает.

— Что?

— Я тово... как его?.. Вы не обижайтесь...

— Ох... воды...— задыхается больной, хватаясь за сердце.— Третий порошок морфия принял, задремал

и... опять! Боже, когда же, наконец, кончится эта пытка!

— Я тово... Вы извините...

— Слушайте... Высадите меня на следующей станции... Более терпеть я не в состоянии. Я... я умираю...

— Это подло, гадко! — возмущается публика.— Убирайтесь вон отсюда! Вы поплатитесь за подобное издевательство! Вон!

Подтягин машет рукой, вздыхает и выходит из вагона. Идет он в служебный вагон, садится изнеможенный за стол и жалуется:

«Ну, публика! Извольте вот ей угодить! Извольте вот служить, трудиться! Поневоле плюнешь на все и запьешь... Ничего не делаешь — сердятся, начнешь делать — тоже сердятся... Выпить!»

Подтягин выпивает сразу полбутылки и больше уже не думает о труде, долге и честности.

РОМАН С КОНТРАБАСОМ

Музыкант Смычков шел из города на дачу князя Бибулова, где, по случаю сговора, «имел быть» вечер с музыкой и танцами. На спине его покоился огромный контрабас в кожаном футляре. Шел Смычков по берегу реки, катившей свои прохладные воды хотя не величественно, но зато весьма поэтично.

«Не выкупаться ли?» — подумал он.

Не долго думая, он разделся и погрузил свое тело в прохладные струи. Вечер был великолепный. Поэтическая душа Смычкова стала настраиваться соответственно гармонии окружающего. Но какое сладкое чувство охватило его душу, когда, отплыв шагов на сто в сторону, он увидел красивую девушку, сидевшую на крутом берегу и удившую рыбу. Он притаил дыхание и замер от наплыва разнородных чувств: воспоминания детства, тоска о минувшем, проснувшаяся любовь... Боже, а ведь он думал, что он уже не в состоянии любить! После того, как он потерял веру в человечество (его горячо любимая жена бежала с его другом, фаготом Собакиным), грудь его наполнилась чувством пустоты, и он стал мизантропом.

«Что такое жизнь? — не раз задавал он себе вопрос.— Для чего мы живем? Жизнь есть миф, мечта... чревовещание...»

Но стоя пред спящей красавицей (нетрудно было заметить, что она спала), он вдруг, вопреки своей воле, почувствовал в груди нечто похожее на любовь. Долго он стоял перед ней, пожирая ее глазами...

«Но довольно...— подумал он, испустив глубокий вздох.— Прощай, чудное виденье! Мне уже пора идти на бал к его сиятельству...»

И, еще раз взглянув на красавицу, он хотел уже плыть назад, как в голове его мелькнула идея.

«Надо оставить ей о себе память! — подумал он.— Прицеплю ей что-нибудь к удочке. Это будет сюрпризом от «неизвестного».

Смычков тихо подплыл к берегу, нарвал большой букет полевых и водяных цветов и, связав его стебельком лебеды, прицепил к удочке.

Букет пошел ко дну и увлек за собой красивый поплавок.

Благоразумие, законы природы и социальное положение моего героя требуют, чтобы роман кончился на этом самом месте, но — увы! — судьба автора неумолима: по не зависящим от автора обстоятельствам роман не кончился букетом. Вопреки здравому смыслу и природе вещей, бедный и незнатный контрабасист должен был сыграть в жизни знатной и богатой красавицы важную роль.

Подплыв к берегу, Смычков был поражен: он не увидел своей одежды. Ее украли... Неизвестные злодеи, пока он любовался красавицей, утащили все, кроме контрабаса и цилиндра.

— Проклятие! — воскликнул Смычков.— О, люди, порождение ехидны! Не столько возмущает меня лишение одежды (ибо одежда тленна), сколько мысль, что мне придется идти нагишом и тем преступить против общественной нравственности.

Он сел на футляр с контрабасом и стал искать выхода из своего ужасного положения.

«Не идти же голым к князю Бибулову! — думал он.— Там будут дамы! Да и к тому же воры вместе с брюками украли и находившийся в них канифоль!»

Он думал долго, мучительно, до боли в висках.

«Ба! — вспомнил он наконец.— Недалеко от берега

в кустарнике есть мостик... Пока настанет темнота, я могу просидеть под этим мостиком, а вечером, в потемках, проберусь до первой избы...»

Остановившись на этой мысли, Смычков надел цилиндр, взвалил на спину контрабас и поплелся к кустарнику. Нагой, с музыкальным инструментом на спине, он напоминал некоего древнего мифического полубога.

Теперь, читатель, пока мой герой сидит под мостом и предается скорби, оставим его на некоторое время и обратимся к девушке, удившей рыбу. Что сталось с нею? Красавица, проснувшись и не увидев на воде поплавка, поспешила дернуть за леску. Леска натянулась, но крючок и поплавок не показались из воды. Очевидно, букет Смычкова размок в воде, разбух и стал тяжел.

«Или большая рыба поймалась,— подумала девушка,— или же удочка зацепилась».

Подергав еще немного за леску, девушка решила, что крючок зацепился.

«Какая жалость! — подумала она.— А вечером так хорошо клюет! Что делать?»

И, не долго думая, эксцентричная девушка сбросила с себя эфирные одежды и погрузила прекрасное тело в струи по самые мраморные плечи. Не легко было отцепить крючок от букета, в который впуталась леска, но терпение и труд взяли свое. Через какие-нибудь четверть часа красавица, сияющая и счастливая, выходила из воды, держа в руке крючок.

Но злая судьба стерегла ее. Негодяи, укравшие одежду Смычкова, похитили и ее платье, оставив ей только банку с червяками.

«Что же мне теперь делать? — заплакала она.— Неужели идти в таком виде? Нет, никогда! Лучше смерть! Я подожду, пока стемнеет; тогда, в темноте, я дойду до тетки Агафьи и пошлю ее домой за платьем... А пока пойду спрячусь под мостик».

Моя героиня, выбирая траву повыше и нагибаясь, побежала к мостику. Пролезая под мостик, она увидела там нагого человека с музыкальной гривой и волосатой грудью, вскрикнула и лишилась чувств.

Смычков тоже испугался. Сначала он принял девушку за наяду.

«Не речная ли это сирена, пришедшая увлечь меня? — подумал он, и это предположение польстило

ему, так как он всегда был высокого мнения о своей наружности.— Если же она не сирена, а человек, то как объяснить это странное видоизменение? Зачем она здесь, под мостом? И что с ней?»

Пока он решал эти вопросы, красавица приходила в себя.

— Не убивайте меня! — прошептала она.— Я княжна Бибулова. Умоляю вас! Вам дадут много денег! Сейчас я отцепляла в воде крючок и какие-то воры украли мое новое платье, ботинки и все!

— Сударыня! — сказал Смычков умоляющим голосом.— И у меня также украли мое платье. К тому же они вместе с брюками утащили и находившийся в них канифоль!

Все играющие на контрабасах и тромбонах обыкновенно ненаходчивы; Смычков же был приятным исключением.

— Сударыня! — сказал он немного погодя.— Вас, я вижу, смущает мой вид. Но, согласитесь, мне нельзя уйти отсюда, на тех же основаниях, как и вам. Я вот что придумал: не угодно ли вам будет лечь в футляр моего контрабаса и укрыться крышкой? Это скроет меня от вас...

Сказавши это, Смычков вытащил из футляра контрабас. Минуту казалось ему, что он, уступая футляр, профанирует святое искусство, но колебание было непродолжительно. Красавица легла в футляр и свернулась калачиком, а он затянул ремни и стал радоваться, что природа одарила его таким умом.

— Теперь, сударыня, вы меня не видите,— сказал он.— Лежите здесь и будьте покойны. Когда станет темно, я отнесу вас в дом ваших родителей. За контрабасом же я могу прийти сюда и потом.

С наступлением потемок Смычков взвалил на плечи футляр с красавицей и поплелся к даче Бибулова. План у него был такой: сначала он дойдет до первой избы и обзаведется одеждой, потом пойдет далее...

«Нет худа без добра...— думал он, взбудораживая пыль босыми ногами и сгибаясь под ношей.— За то теплое участие, которое я принял в судьбе княжны, Бибулов наверно щедро наградит меня».

— Сударыня, удобно ли вам? — спрашивал он тоном cavalier galant[1], приглашающего на кадриль.—

---

[1] учтивого кавалера *(фр.)*.

Будьте любезны, не церемоньтесь и располагайтесь в моем футляре, как у себя дома!

Вдруг галантному Смычкову показалось, что впереди его, окутанные темнотою, идут две человеческие фигуры. Вглядевшись пристальней, он убедился, что это не оптический обман: фигуры действительно шли и даже несли в руках какие-то узлы...

«Не воры ли это? — мелькнуло у него в голове.— Они что-то несут! Вероятно, это наше платье!»

Смычков положил у дороги футляр и погнался за фигурами.

— Стой! — закричал он.— Стой! Держи!

Фигуры оглянулись и, заметив погоню, стали улепетывать... Княжна еще долго слышала быстрые шаги и крики «Стой!». Наконец все смолкло.

Смычков увлекся погоней, и, вероятно, красавице пришлось бы еще долго пролежать в поле у дороги, если бы не счастливая игра случая. Случилось, что в ту пору по той же дороге проходили на дачу Бибулова товарищи Смычкова, флейта Жучков и кларнет Размахайкин. Споткнувшись о футляр, оба они удивленно переглянулись и развели руками.

— Контрабас! — сказал Жучков.— Ба, да это контрабас нашего Смычкова! Но как он сюда попал?

— Вероятно, что-нибудь случилось со Смычковым,— решил Размахайкин.— Или он напился, или же его ограбили... Во всяком случае, оставлять здесь контрабас не годится. Возьмем его с собой.

Жучков взвалил себе на спину футляр, и музыканты пошли дальше.

— Черт знает какая тяжесть! — ворчал всю дорогу флейта.— Ни за что на свете не согласился бы играть на таком идолище... Уф!

Придя на дачу к князю Бибулову, музыканты положили футляр на месте, отведенном для оркестра, и пошли к буфету.

В это время на даче уже зажигали люстры и бра. Жених, надворный советник Лакеич, красивый и симпатичный чиновник ведомства путей сообщения, стоял посреди залы и, заложив руки в карманы, беседовал с графом Шкаликовым. Говорили о музыке.

— Я, граф,— говорил Лакеич,— в Неаполе был лично знаком с одним скрипачом, который творил бук-

вально чудеса. Вы не поверите! На контрабасе... на обыкновенном контрабасе он выводил такие чертовские трели, что просто ужас! Штраусовские вальсы играл!

— Полноте, это невозможно...— усумнился граф.

— Уверяю вас! Даже листовскую рапсодию исполнял! Я жил с ним в одном номере и даже, от нечего делать, выучился у него играть на контрабасе рапсодию Листа.

— Рапсодию Листа... Гм!.. вы шутите...

— Не верите? — засмеялся Лакеич.— Так я вам докажу сейчас! Пойдемте в оркестр!

Жених и граф направились к оркестру. Подойдя к контрабасу, они стали быстро развязывать ремни... и — о ужас!

Но тут, пока читатель, давший волю своему воображению, рисует исход музыкального спора, обратимся к Смычкову... Бедный музыкант, не догнавши воров и вернувшись к тому месту, где он оставил футляр, не увидел драгоценной ноши. Теряясь в догадках, он несколько раз прошелся взад и вперед по дороге и, не найдя футляра, решил, что он попал не на ту дорогу...

«Это ужасно! — думал он, хватая себя за волосы и леденея.— Она задохнется в футляре! Я убийца!»

До самой полуночи Смычков ходил по дорогам и искал футляра, но под конец, выбившись из сил, отправился под мостик.

«Поищу на рассвете»,— решил он.

Поиски во время рассвета дали тот же результат, и Смычков решил подождать под мостом ночи...

— Я найду ее! — бормотал он, снимая цилиндр и хватая себя за волосы.— Хотя бы год искать, но я найду ее!

. . . .

И теперь еще крестьяне, живущие в описанных местах, рассказывают, что ночами около мостика можно видеть какого-то голого человека, обросшего волосами и в цилиндре. Изредка из-под мостика слышится хрипение контрабаса.

БЕЗЗАЩИТНОЕ СУЩЕСТВО

Как ни силен был ночью припадок подагры, как ни скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий.

— Что вам угодно? — обратился он к просительнице в допотопном салопе, очень похожей сзади на большого навозного жука.

— Изволите ли видеть, ваше превосходительство,— начала скороговоркой просительница,— муж мой, коллежский асессор Щукин, проболел пять месяцев, и, пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьем, они, изволите видеть, вычли из его жалованья 24 рубля 36 коп.! За что? — спрашиваю. «А он, говорят, из товарищеской кассы брал и за него другие чиновники ручались». Как же так? Нешто он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами... Я слабая, беззащитная... От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу...

Просительница заморгала глазами и полезла в салоп за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать.

— Позвольте, как же это? — пожал он плечами.— Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж.

— И-и, батюшка, я в пяти местах уже была, и везде даже прошения не взяли! — сказала Щукина.— Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай бог здоровья зятю Борису Матвеичу, надоумил к вам сходить. «Вы, говорит, мамаша, обратитесь к господину Кистунову: он влиятельный человек, для вас все может сделать»... Помогите, ваше превосходительство!

— Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать... Поймите вы: ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, у нас банк. Как не понять этого!

Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме, с флюсом.

— Ваше превосходительство,— пропела жалобным голосом Щукина,— а что муж болен был, у меня докторское свидетельство есть! Вот оно, извольте поглядеть!

— Прекрасно, я верю вам,— сказал раздраженно Кистунов,— но, повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно! Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?

— Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно: «Не твое дело! Пошла вон!» да и все тут... А чье же дело? Ведь на моей-то шее они сидят! На мое-ей!

Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала:

— Так, так, так... Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей! Я согласна не всё сразу.

— Уф! — вздохнул Кистунов, откидывая назад голову.— Вам не втолкуешь! Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку. Вам недоплатили, но мы-то тут при чем?

— Ваше превосходительство, заставьте вечно бога молить, пожалейте меня, сироту,— заплакала Щукина.— Я женщина беззащитная, слабая... Замучилась до смерти... И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею и зять без места... Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою... Всю ночь не спала.

Кистунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной, но голос его оборвался...

— Нет, извините, я не могу с вами говорить,— сказал он и махнул рукой.— У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете. Уф!.. Алексей Николаич,— обратился он к одному из служащих,— объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной!

Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг, а Алексей Николаич все еще возился со Щукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса: монотонный, сдержанный бас Алексея Николаича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной...

— Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная,— говорила Щукина.— На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетита решилась... Кофий сегодня пила, и без всякого удовольствия.

А Алексей Николаич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер.

— Удивительно противная баба! — возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой.— Это идиотка, пробка! Меня замучила и их заездит, подлая! Уф... сердце бьется!

Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаич.

— Что у вас там? — томно спросил Кистунов.

— Да никак не втолкуем, Петр Александрыч! Просто замучились. Мы ей про Фому, а она про Ерему...

— Я... я не могу ее голоса слышать... Заболел я... не выношу...

— Позвать швейцара, Петр Александрыч, пусть ее выведет.

— Нет, нет! — испугался Кистунов.— Она визг поднимет, а в этом доме много квартир, и про нас черт знает что могут подумать... Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей.

Через минуту опять послышалось гуденье Алексея Николаича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сиплый тенорок бухгалтера.

— За-ме-чательно подлая! — возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами.— Глупа, как сивый мерин, черт бы ее взял. Кажется, у меня опять подагра разыгрывается... Опять мигрень...

В соседней комнате Алексей Николаич, выбившись из сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу.

— Одним словом, у вас на плечах не голова,— сказал он,— а вот что...

— Ну, нечего, нечего...— обиделась старуха.— Своей жене постучи... Скважина! Не очень-то рукам волю давай.

И, глядя на нее со злобой, с остервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаич сказал тихим, придушенным голосом:

— Вон отсюда!

— Что-о? — взвизгнула вдруг Щукина.— Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю! Мой муж коллежский асессор! Скважина этакая! Схожу к адвокату Дмитрию Карлычу, так от тебя звания не останется! Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься! Я до вашего генерала пойду! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!

— Пошла вон отсюда, язва! — прошипел Алексей Николаич.

Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие.

— Что такое? — спросил он плачущим голосом.

Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и, тоже красные, видимо замученные, растерянно переглядывались.

— Ваше превосходительство! — бросилась к Кистунову Щукина.— Вот этот, вот самый... вот этот... (она указала на Алексея Николаича) постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу... Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается! Я женщина слабая, беззащитная... Мой муж коллежский асессор, и сама я майорская дочь!

— Хорошо, сударыня,— простонал Кистунов,— я разберу... приму меры... Уходите... после!..

— А когда же я получу, ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны!

Кистунов дрожащей рукой провел себе по лбу, вздохнул и опять начал объяснять:

— Сударыня, я уже вам говорил. Здесь банк, учреждение частное, коммерческое... Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете.

Щукина выслушала его и вздохнула.

— Так, так...— согласилась она.— Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость, заставьте

вечно бога молить, будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверение представить... Прикажите выдать мне деньги!

У Кистунова зарябило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул.

— Сколько вы хотите получить? — спросил он слабым голосом.

— 24 рубля 36 копеек.

Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной.

— Берите и... и уходите!

Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила:

— Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?

— Я уеду... болен...— сказал Кистунов томным голосом.— У меня страшное сердцебиение.

По отъезде его Алексей Николаич послал Никиту за лавровишневыми каплями, и все, приняв по 20 капель, уселись за работу, а Щукина потом часа два еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов.

Приходила она и на другой день.

В. С. СОЛОВЬЕВ

ЭПИГРАММА

Благонамеренный
И грустный анекдот!
Какие мерины
Пасут теперь народ!

ТАИНСТВЕННЫЙ ПОНОМАРЬ

Баллада

Двенадцать лет граф Адальберт фон Крани
Вестей не шлет;
Быть может, труп его на поле брани
Уже гниет?..
Графиня Юлия тоскует в божьем храме,
Как тень бледна;
Но вдруг взглянула грустными очами —
И смущена.
Кругом весь храм в лучах зари пылает,
Блестит алтарь;
Священник тихо мессу совершает,
С ним пономарь.
Графини взгляд весьма обеспокоен
Пономарем:
Он так хорош, и стан его так строен
Под стихарем...
Обедня кончена, и панихида спета;
Они — вдвоем,
И их уносит графская карета
К графине в дом.
Вошли. Он мрачен, не промолвит слова.
К нему она:
«Скажи, зачем ты так глядишь сурово?
Я смущена...

Я женщина без разума и воли,
А враг силен...
Граф Адальберт уж не вернется боле...»
«Верррнулся он!
Он беззаконной отомстит супруге!»
Долой стихарь!
Пред нею рыцарь в шлеме и кольчуге —
Не пономарь.
«Узнай, я граф — граф Адальберт фон Крани;
Чтоб испытать,
Верна ль ты мне, бежал я с поля брани —
Верст тысяч пять...»
Она: «Ах, милый, как ты изменился
В двенадцать лет!
Зачем, зачем ты раньше не открылся?»
Он ей в ответ:
«Молчи! Служить я обречен без срока
В пономарях...»
Сказал. Исчез. Потрясена глубоко,
Она в слезах...
Прошли года. Граф в храме честно служит
Два раза в день;
Графиня Юлия все по супруге тужит,
Бледна как тень,—
Но не о том, что сгиб он в поле брани,
А лишь о том,
Что сделался граф Адальберт фон Крани
Пономарем.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Израиля ведя стезей чудесной,
Господь зараз два дива сотворил:
Отверз уста ослице бессловесной
И говорить пророку запретил.
Далекое грядущее таилось
В сих чудесах первоначальных дней,
И ныне казнь Моаба совершилась,
Увы! над бедной родиной моей.
Гонима, Русь, ты беспощадным роком,
Хотя за грех иной, чем Билеам,
Заграждены уста твоим пророкам
И слово вольное дано твоим ослам.

ЭПИТАФИЯ

Владимир Соловьев
Лежит на месте этом.
Сперва был философ́,
А ныне стал шкелетом.
Иным любезен быв,
Он многим был и враг;
Но, без ума любив,
Сам ввергнулся в овраг.
Он душу потерял,
Не говоря о теле:
Ее диавол взял,
Его ж собаки съели.
Прохожий! Научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

<ПАРОДИИ НА РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ>

1

Горизонты вертикальные
В шоколадных небесах,
Как мечты полузеркальные
В лавровишневых лесах.

Призрак льдины огнедышащей
В ярком сумраке погас,
И стоит меня не слышащий
Гиацинтовый пегас.

Мандрагоры имманентные
Зашуршали в камышах,
А шершаво-декадентные
Вирши в вянущих ушах.

2

Над зеленым холмом,
Над холмом зеленым,
Нам влюбленным вдвоем,
Нам вдвоем влюбленным
Светит в полдень звезда,

Она в полдень светит,
Хоть никто никогда
Той звезды не заметит.
Но волнистый туман,
Но туман волнистый,
Из лучистых он стран,
Из страны лучистой,
Он скользит между туч,
Над сухой волною,
Неподвижно летуч
И с двойной луною.

3

На небесах горят паникадила,
А снизу — тьма.
Ходила ты к нему иль не ходила?
Скажи сама!

Но не дразни гиену подозренья,
Мышей тоски!
Не то смотри, как леопарды мщенья
Острят клыки!

И не зови сову благоразумья
Ты в эту ночь!
Ослы терпенья и слоны раздумья
Бежали прочь.

Своей судьбы роди́ла крокодила
Ты здесь сама.
Пусть в небесах горят паникадила,—
В могиле — тьма.

А. А. ИЗМАЙЛОВ

<ПАРОДИИ>

К. БАЛЬМОНТ

Я вижу Толедо,
Я вижу Мадрид,
О белая Леда! Твой блеск и победа
Различным сияньем горит...

К. Бальмонт. Испанский цветок

Я плавал по Нилу,
Я видел Ирбит.
Верзилу Вавилу бревном придавило,
Вавила у виллы лежит.

Мне сладко блеск копий
И шлемов следить.
Слуга мой Прокопий про копи, про опий,
Про кофий любил говорить.

Вознес свою длань я
В небесную высь.
Немые желанья пойми, о Маланья! —
Не лань я, не вепрь и не рысь!..

О, щель Термопилы,
О, Леда, о, рок!
В перила вперила свой взор Неонилла,
Мандрилла же рыла песок...

З. ГИППИУС

> И я такая добрая,
> Влюблюсь — так присосусь.
> Как ласковая кобра я,
> Ласкаясь, обовьюсь.
> И опять сожму, сомну,
> Винт медлительно ввинчу,
> Буду грызть, пока хочу,
> Я верна — не обману.
>
> *З. Гиппиус*

Углем круги начерчу,
Надушусь я серою,
К другу сердца подскачу
Сколопендрой серою.
Плоть усталую взбодрю,
Взвизгну драной кошкою.
Заползу тебе в ноздрю
Я сороконожкою.
Вся в мистической волшбе,
Знойным оком хлопая,
Буду ластиться к тебе,
Словно антилопа я.
Я свершений не терплю,
Я люблю — возможности.
Всех иглой своей колю
Без предосторожности.
Винт зеленый в глаз ввинчу
Под извив мелодии.
На себя сама строчу
Злейшие пародии...

НОВЫЙ ВЕК

> ...Это дульцинировало ее влечение к принцу Танкреду и альдонсировало ее любовь к жениху...
>
> *Сологуб. Королева Ортруда*

Офеоктистившись сначала,
Осоловьевившись поздней [1],

[1] Феоктистов и Соловьев — начальники главного управления по делам печати — в некотором роде кормчие былой литературы. *(Примеч. А. А. Измайлова.)*

Живет успехами скандала
Писатель наших серых дней.
Подонкихотил он изрядно,
Как был прогресс в умах у всех,
И человек не мыслил стадно,
И салтыковился нещадно
Над пошляками гневный смех.

Теперь иных поэтов куча,
Завет отцов сочтя за гиль,
Претенциозна и трескуча,
Морализировать наскуча,
Рамолизирует свой стиль.
И тщетно с ними кто бы спорил:
Уж блещет свет иных светил.
Егор Чулков нас объегорил,
Кузмин нас крепко подкузьмил.

Одульцинирован успехом
И альдонсирован толпой,
Одетый в шубу кверху мехом,
В лицо смеется явным смехом
Модернизованный герой.
И с легкомысленностью женской
Толпа все славит сотней губ,
Что санатолит ей Каменский,
И намудрит Сергеев-Ценский,
И нафедорит Сологуб...

А. А. БЛОК

ПОЭТЫ

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты,— и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.

Напрасно и день светозарный вставал
Над этим печальным болотом:
Его обитатель свой день посвящал
Вину и усердным работам.

Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и пряно.
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно.

Потом вылезали из будок, как псы,
Смотрели, как море горело.
И золотом каждой прохожей косы
Пленялись со знанием дела.

Разнежась, мечтали о веке златом,
Ругали издателей дружно.
И плакали горько над малым цветком,
Над маленькой тучкой жемчужной...

Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть,— хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?

Нет, милый читатель, мой критик слепой!
По крайности, есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,
Тебе ж не доступно все это!..

Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!

Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,—
Я верю: то бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!

В. М. ДОРОШЕВИЧ

ПОЭТЕССА

(Рассказ одного критика)

— К вам г-н Пулеметов.

Пулеметов! Пулеметов! Где я слышал эту фамилию?

— Просят принять их на одну минутку. Говорят, что по очень важному делу.

— Хорошо. Проси.

Влетел господин. В нем было что-то виляющее. На лице было написано:

— Не убий!

Он схватил меня обеими руками за руку.

— Ради бога, простите, что отнимаю у вас время... Не задержу, не задержу!.. Очень, очень рад познакомиться. Давно хотелось. Всегда с таким удовольствием... Мы ваши ужасные поклонники. В особенности жена! прямо влюблена. Утром, знаете, как только проснется, еще в постели, первым долгом: «Где он?»... Это про вас, а не про что-нибудь другое.

— Очень, очень благодарен. Очень лестно...

Г-н Пулеметов захихикал.

— Вы знаете, я уж даже ее ревную к вам. Ей-богу!

— Очень вам благодарен. Чем могу?

Г-н Пулеметов посмотрел мне в глаза с любовью.

— Простите за нескромный вопрос! Вы женаты?

— Н-нет.

— А дети у вас... Ах, виноват! Что я!.. Впрочем, я надеюсь, что вы с вашей фантазией! Вы сумеете войти в положение беременной женщины!

— Постараюсь. В чем дело?

Г-н Пулеметов посмотрел на меня с мольбой:

— Вы получили сегодня стихотворения моей жены?

— Ах, да, да, да! Как же, как же! Получил книжку, получил! Вот, вот! Очень благодарен!

Г-н Пулеметов посмотрел на меня с тревожной мольбой:

— Вы не успели их еще прочитать?

— Всего два часа тому назад!

— Прочтите!

Мне показалось, что у него на глазах выступили слезы.

— Вы мне позволите сказать все, откровенно, как на духу! Я вас не задержу! Я вам скажу, как родному отцу! Моя жена беременна и выпустила стихи!

Г-н Пулеметов схватился за голову:

— Вы понимаете, это будет наш первенец! Бог даст мальчика, бог даст девочку. Но это будет первенец. Мы восемь лет женаты — и у нас не было детей! Первенец! Первенец! Дайте мне воды! Я напьюсь! Вы извините меня, что я так волнуюсь!

— Сделайте одолжение! Сделайте одолжение!

Я дал воды. Г-н Пулеметов выпил, стуча зубами о стакан.

— Благодарю вас. Она такая слабая. Доктор говорит: «Малейшее волнение...» А она выпустила стихи. Первый неблагоприятный отзыв — и она сбросит!

— Как сбросит?

— Младенца сбросит! Недонесет и сбросит! Ради бога! Когда будете писать, имейте это в виду. Она сбросит!

— Д-да... Дело, знаете, серьезное.

— Ужасное дело!

— Знаете... Я лучше... Я лучше остерегусь... Я лучше совсем ничего писать не буду!

Г-н Пулеметов вскочил, как будто под него подложили горячий уголь.

— Ради самого бога!!! Да вы ее убьете! Она только вашего отзыва и ждет! Она говорит: «Мне решительно все равно, что другие напишут! Мне важно только, что он!» Это про вас! Сегодня нет отзыва, завтра нет отзыва, послезавтра нет отзыва,— она умрет! Скажет: «Значит, я дрянь! Мои стихи дрянь! Обо мне даже слова сказать нельзя!» Она умрет! Доктор говорит: «Малейшее, малейшее волнение...» Ради бога! Не ради себя прошу, даже не ради нее! Ради ребенка! Не погубите ребенка!

— Извольте... Извольте... Хорошо... хорошо... Постараюсь... Такой случай...

— Благодарю вас! От всего сердца благодарю вас. Когда?

— Н-не знаю... как-нибудь на днях...

— Не откладывайте! Ради ребенка! Не откладывайте! Сегодня еще ничего, а завтра уж она начнет волноваться: «Ах, он обо мне ничего не сказал! Он обо мне ничего не сказал! И не скажет! Книжка не понравилась!» А доктор говорит: «Малейшее волнение...» Она от ожидания сбросит! Нельзя ли назавтра?

— Право, не знаю...

— Ведь жизнь человеческая! Дорогой! Жизнь человеческая! Если бы вы ее видели, она такая слабая. Последние, последние дни! Вы понимаете, в это время...

— Хорошо, напишу! Назавтра!

— Дорогой! Благодарю вас! Позвольте вас поцеловать! Вы меня извините, что я плачу! Когда будете писать, помните о ребенке! Помните о ребенке! Больше ни о чем не прошу, помните о ребенке!

Он вымочил мне лицо слезами, поколол бородой и ушел.

Впрочем, он еще раз вернулся, сложил молитвенно руки, сказал мне с порога:

— О ребенке! Только о ребенке!

Всхлипнул и исчез.

Собственно говоря... черт знает что такое...

Гнусно, однако, заниматься чем бы то ни было, когда в руках держишь человеческую жизнь!

— Иван! Завтракать я сегодня не буду. Можешь сам все съесть. У меня дело! Не принимать никого. Черта, дьявола — никого! Понял? Отец родной придет из гроба — и того не принимать! Занят очень важным делом. В доме не стучать и не кашлять.

Я взял книжку г-жи Пулеметовой.

В ней было 762 стихотворения.

Через четыре стиха я сидел за письменным столом.

— «Родная литература»...

Ловко ли — «родная».

«Родная»... «роды»... Дама в этаком положении. Пожалуй, увидит намек.

Скажет:

— Откуда знает?

Догадается, что муж приходил просить, рассказал. И сбросит.

Зачем «родная»? Просто «русская».

— «Русская литература обогатилась новым вкладом».

Зачем вкладом? Не надо вкладом! Просто книгой.

— «...новой хорошей книгой».

Хорошей? А не повредит это младенцу: просто «хорошей»?

Слабо! Обидится и сбросит!

— «...новой замечательной книгой».

«Замечательной». Гм... слово-то такое! Его теперь иронически стали употреблять. И выдумали, черт их возьми, эту иронию. Все слова перепортили!

Как ребенок примет это слово?

Просто вместо «замечательной» поставлю «превосходной». «Превосходной» — младенцу не повредит.

— «...новой превосходной книгой...»

«Новой»? Значит, и до нее были превосходные книги? Значит, превосходных книг много?

Не надо «новой». Просто:

— «Обогатилась превосходной книгой нашей талантливой поэтессы...»

Нашей «высокоталантливой поэтессы».

Замаслить, замаслить младенца.

Младенцу это хорошо.

— «Местами отсутствие рифмы...»

Мне показалось, что в углу запищал мертвый ребенок.

— «Всюду блестящая рифма...»

Младенец перестал пищать.

— «Изумительная по красоте форма, глубокое содержание...»

Это для родительницы хорошо.

У меня начинались галлюцинации. Мне казалось, что я не пишу, а делаю труднейшую операцию. Я боялся дотрагиваться до бумаги. Вдруг сейчас из бумаги побежит младенческая кровь.

Что-то застонало сзади меня.

По комнате прошел Никита из «Власти тьмы» и проговорил:

— Захрустели косточки-то... захрустели...

Потом появился на кресле Ирод, засмеялся и исчез.

Вокруг меня лежали младенцы.

Я боялся пошевелиться. Пошевелюсь — и всех передавлю.

— «Со времен Пушкина, Лермонтова мы не встречали таких стихов».

Сбрасывает! Сбрасывает!

— «Со времен Алексея Толстого, Некрасова».

А не обидится она, что я Некрасова с ней сравниваю? Женщина в таком положении.

Вон Некрасова!

— «Байрона, Альфреда Мюссе...»

— «Событие в русской литературе...»

— «Чудный дар...»

— «Приветствуем...»

— «Дай бог, чтоб и впредь!..»

Эту ночь я не спал. Я лежал в холодном поту. Зубы у меня стучали.

Возьмет корректор да вместо «чудный» и поставит «нудный».

И сбросит!

Я молился, когда мне подали газету, и сказал:

— Иван! Разверни мне газету — я не могу!

Во всех газетах, до одной, без исключения, были огромные статьи о сборнике стихотворений г-жи Пулеметовой.

Все писали восторженные статьи!

Один сравнивал ее сонеты с сонетами Петрарки. Другой писал, что небо глядится в ее стихи и всю природу заставляет в них глядеться. Третий восклицал:

«Не верится, чтоб это была женщина! Вот была бы жена для Пушкина!»

Вчера я встретил г-на Пулеметова в театре.

Он летел сияющий. Полосатенькие брючки на нем весело играли. Сюртук сверкал шелковыми отворотами.

Он меня заметил:

— А! Почтеннейший! Очень рад вас видеть! Все не удосужился как-то зайти вас поблагодарить! Очень, очень мило написано.

Он ласково кивал мне головой.

— Ну, а дома у вас? — заикнулся я.

У г-на Пулеметова сделалось удивленное лицо.

— Что дома? Как дома? Дома ничего!

— Супруга ваша, кажется, была...

— Ах, это!

Г-н Пулеметов махнул рукой.

— Прошло. Совсем прошло!

— То есть... виноват... как, собственно...

— Вообразите, оказалось, что все на нервной почве! Нервная беременность. Это бывает. Теперь, знаете, эпидемия какая-то. Все дамы нервно беременны! Оказалось

пустяками! Фальшивая тревога, фальшивая тревога! — успокаивал он меня.— Я рад, однако, что критика нашла в жене такой талант. Вы читали? Во всех газетах! Восторженнейшие отзывы! И, главное, на другой же день! Сегодня книга вышла, а назавтра же все газеты приветствовали! Что-то небывалое! Словно сговорились! Идет книга! Удивительно! На днях второе издание. Это жену очень поддержало, придало ей сил. Эти пожелания, эти настояния критики продолжать, продолжать. Жена теперь пишет пьесу. Вот посмотрите! В этот сезон не успеет, конечно. Но месяцев через девять так, через десять...

Пари, что к первому представлению г-жа Пулеметова опять забеременеет?

ПИСАТЕЛЬНИЦА

(Из воспоминаний редактора)

— Вас желает видеть г-жа Маурина.

Ах, черт возьми! Маурина...

— Попросите подождать... Я одну секунду... одну секунду...

Я переменил визитку, поправил перед зеркалом галстук, прическу и вышел...

Вернее — вылетел.

— Ради самого бога, простите, что я вас заставил...

Передо мной стояла пожилая женщина, низенькая, толстая, бедно одетая. Все на ней висело, щеки висели, платье висело.

Я смешался. Она тоже.

— Маурина.

— Виноват, вы, вероятно, матушка Анны Николаевны?

Она улыбнулась грустной улыбкой.

— Нет, я сама и есть Анна Николаевна Маурина. Автор помещенных у вас рассказов...

— Но позвольте! Как же так? Я знаю Анну Николаевну...

— Та? Брюнетка? Она никогда не была Анной Николаевной... Это... это... это обман. Не сердитесь на меня. Выслушайте...

Она была растерянна. На глазах стояли слезы.

— Вы позволите мне сесть?

— Ах, конечно... Прошу... прошу... Простите, что я раньше...

— Нет, ничего! Ради бога, не беспокойтесь... Позвольте мне вам рассказать... Не сердитесь... Рассказы писала я... Вот, видите ли, мне хотелось печататься... Не только для гонорара,— нет. Мне казалось, что у меня есть что сказать. Я много пережила, перечувствовала, много думала. Мне хотелось писать. Я написала три рассказа и отнесла в три редакции. Может быть, это были недурные рассказы, может быть, плохие. Я не знаю... Они... они не были прочитаны. Один из рассказов был и у вас. Я приходила несколько раз, мне говорили, что вы заняты, «через неделю»! Наконец ваш секретарь передал мне рассказ с пометкой «нет». Простите меня, но вы его не читали!

— Сударыня, этого не может...

— Этот рассказ был потом напечатан у вас же! — ответила она тихо и печально.— Тогда мне в голову пришла мысль... быть может, очень нехорошая... быть может, очень-очень дурная... Я... В тех же меблированных комнатах жила молодая девушка, гувернантка без места, очень красивая... Та самая, которая приходила к вам под именем Анны Николаевны Мауриной и... простите меня... талантом которой вы так заинтересовались. Она также сидела без средств, и я предложила ей комбинацию. Я буду писать, а она — носить мои рассказы от своего имени... Вы знаете, портрет автора при сочинениях всегда интересует... Особенно, когда такой портрет! Я посмотрела на нее: роскошные волосы, глаза, фигура, щеки, от которых пышет молодостью и жизнью. В ней есть все, чтобы заинтересовались ее психологией. Не сердитесь на меня, я ничего не хочу сказать дурного ни про вас, ни про ваших коллег! Ничего! Никем не было сделано ни одного слишком скверного намека! Ни одного слишком вольного слова! Но когда она отнесла рассказы по редакциям, ей ответ дали через три дня. Только и всего! И все рассказы были приняты. Боже мой! Это так естественно! Молодая, очень красивая женщина пишет. Интересно знать, что думает такая красивая головка! Сначала в особенности — рассказы бывали не совсем удачны, и некоторые господа редакторы были так добры, что сами их переделывали. И с какой любовью! Вычеркивали, но как осторожно,

с каким сожаленьем: «Мне самому жаль, но это немножко длинно, дитя мое». Она мне, обыкновенно, рассказывала все подробности своих визитов. Удивлялись: «Как вы, такая молоденькая,— и откуда вы все это знаете?» Простите меня, ради бога! Это ваши слова. Но и другие говорили то же самое. Изумлялись ее талантливости: «Откуда у вас такие мысли?» Всякая мысль получает особую прелесть, если она родилась в хорошенькой головке! Жизнь не выучила меня быть оптимисткой. И такая молоденькая, такая красивая женщина со взглядами, полными пессимизма! Это придавало ей только интерес. Ей и «ее» рассказам! Она всегда мне рассказывала все, что ей говорили. И мы,— простите меня,— много смеялись. Она очень весело, я не так... Но все-таки, смейтесь надо мной,— от похвал у меня кружилась голова. Как замечали всякое красивое, удачное, чуть-чуть оригинальное слово! Наши дела шли великолепно. Мы зарабатывали рублей двести в месяц. Сто я отдавала ей, сто брала себе. И все шло отлично. Как вдруг... На прошлой неделе та Анна Николаевна поступила в кафешантан.

— В кафешан...

— В кафешантан. Там ей показалось веселее, и предложили больше денег. Я умоляла ее не бросать литературы. Ведь мы были накануне славы. Еще полгода — мы стали бы зарабатывать 500—600 рублей в месяц. У меня почти готов роман. У нее бы его приняли. Я умоляла ее не губить моей литературной карьеры. Она ушла: «Там веселее!..» Что мне оставалось делать! Взять на ее место другую? Но это было бы невозможно: сегодня одна Маурина, завтра другая... Да и к тому же... не сердитесь на меня... я думала, я надеялась, что мои труды, одобренные, печатавшиеся, дают уж мне право выступить с открытым забралом... с некрасивым лицом... Не гневайтесь же на меня за маленькое разочарование.

— Я... я, право, не знаю... все это так странно. Такая нелитературность приема...

Она сделала такой жест, словно я собираюсь ее бить.

— Не говорите мне! Не говорите! Я уж слышала это! В одной уж редакции меня почти выгнали. «Нелитературный прием! Расчет на какие-то посторонние соображения! Это не принято в литературе!» И вот я пришла к вам. Вы всегда так хорошо относились к... моим

рассказам. Вы так хвалили. Не откажите прочитать вот эту вещицу. Это в том роде, который вам у нее особенно нравился. Ей вы читали в три дня. Мне можно зайти через неделю?

— Помилуйте... зачем же через неделю... уверяю вас... вы ошибаетесь...

— Не сердитесь!

— Я прошу вас зайти через три дня. Через три дня рассказ будет прочитан!

— Может быть, лучше через...

— Сударыня, повторяю вам: че-рез три дня рассказ будет про-чи-тан. Имею честь кланяться!

Через три дня я получил через секретаря записку:

«Я говорила, что лучше через неделю. Не сердитесь на меня, я зайду еще через неделю. Уважающая вас *Маурина*».

Такая досада, черт возьми! Непременно надо было прочитать,— и забыл!

Затем... Я уж не помню, что именно случилось. Но что-то было. Осложнения на Дальнем Востоке, затем недород во внутренних губерниях — вообще события, на которые публицисту нельзя не откликнуться. Словом, был страшным образом занят. Масса обязанностей. Положительное отсутствие времени. При спешной, лихорадочной газетной работе... Потом рассказ, вероятно, куда-то затерялся. Я не мог его найти...

Недавно я встретил в одном новом журнале под рассказом подпись Мауриной.

Вечером я встретился с редактором.

— Кстати, а у вас Маурина пишет?

— А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенок?

— Да?

— И премило пишет, премило. Конечно, немножечко по-дамски. Длинноты там, отступления. Приходится переделывать, перерабатывать. Но для такого талантливого ребенка прямо не жаль. У нас в редакции ее все любят. Прямо — войдет, словно луч солнца заиграет. Прелестная такая. Детское личико. Чудная блондинка.

— Ах, она блондинка?

— Блондинка. А что?

— Так... Ничего...

ГАМЛЕТ

Мистер Крэг сидел верхом на стуле, смотрел куда-то в одну точку и говорил, словно ронял крупный жемчуг на серебряное блюдо:

— Что такое «Гамлет»? Достаточно только прочитать заглавие: «Гамлет»! Не «Гамлет и Офелия», не «Гамлет и король». А просто: «Трагедия о Гамлете, принце датском». «Гамлет» — это Гамлет!

— Мне это понятно! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Все остальное не важно. Вздор. Больше! Всех остальных даже не существует!

— Да и зачем бы им было и существовать! — пожал плечами г-н Немирович-Данченко.

— Да, но все-таки в афише...— попробовал было заметить г-н Вишневский.

— Ах, оставьте вы, пожалуйста, голубчик, с вашей афишей! Афишу можно заказать какую угодно.

— Слушайте! Слушайте! — захлебнулся г-н Станиславский.

— Гамлет страдает. Гамлет болен душой! — продолжал г-н Крэг, смотря куда-то в одну точку и говоря, как лунатик.— Офелия, королева, король, Полоний, может быть, они вовсе не таковы. Может быть, их вовсе нет. Может, они такие же тени, как тень отца.

— Натурально, тени! — пожал плечами г-н Немирович-Данченко.

— Видения. Фантазия. Бред его больной души. Так и надо ставить. Один Гамлет. Все остальное так, тень! Не то есть, не то нет. Декораций никаких. Так! Одни контуры. Может быть, и Эльсинора нет. Одно воображение Гамлета.

— Я думаю,— осторожно сказал г-н Станиславский,— я думаю: не выпустить ли, знаете ли, дога. Для обозначения, что действие все-таки происходит в Дании?

— Дога?

Мистер Крэг посмотрел на него сосредоточенно.

— Дога? Нет. Может идти пьеса Шекспира. Играть — Сальвини. Но если на сцене появится собака и замахает хвостом, публика забудет и про Шекспира, и про Сальвини и будет смотреть на собачий хвост. Пред собачьим хвостом никакой Шекспир не устоит.

— Поразительно! — прошептал г-н Вишневский.

— Сам я, батюшка, тонкий режиссер! Но такой тонины не видывал! — говорил г-н Станиславский.

Г-н Качалов уединился.

Гулял по кладбищам.

Ел постное.

На письменном столе положил череп.

Читал Псалтырь.

Г-н Немирович-Данченко говорил:

— Да-с! Крэг-с!

Г-н Вишневский решил:

— Афишу будем печатать без действующих лиц.

* * *

Г-н Крэг бегал по режиссерской, хватался за голову, кричал:

— Остановить репетиции! Прекратить! Что они играют?

— «Гамлета»-с! — говорил испуганно г-н Вишневский.

— Да ведь это одно название! Написано «Гамлет» — так Гамлета и играть? А в «Собаке садовника», что ж, вы собаку играть будете? Может быть, никакого Гамлета и нет?!

— Все может быть! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Дело не в Гамлете. Дело в окружающих. Гамлет — их мечта. Фантазия. Бред. Галлюцинация! Они наделали мерзостей — и им представляется Гамлет! Как возмездие!

— Натурально, это так! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Надо играть сильно. Надо играть сочно. Надо играть их! — кричал мистер Крэг,— декорации! Что это за мечты о декорациях? За идеи о декорациях? За воспоминания о декорациях? Мне дайте сочную, ядреную декорацию. Саму жизнь! Разверните картину! Лаэрт уезжает. Вероятно, есть придворная дама, которая в него влюблена. Это мне покажите! Вероятно, есть кавалер, который вздыхает по Офелии. Дайте мне его. Танцы. Пир! А где-то там, на заднем фоне, чрез все это сквозит... Вы понимаете: сквозит?

— Ну, еще бы не понимать: сквозит! Очень просто! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Сквозит, как их бред, как кошмар,— Гамлет!

— Я думаю, тут можно будет датского дога пустить? — с надеждой спросил г-н Станиславский.

Мистер Крэг посмотрел на него с восторгом.

— Собаку? Корову можно будет пустить на кладбище! Забытое кладбище! Забытые Иорики!

— Ну вот. Благодарю вас!

Г-н Станиславский с чувством пожал ему руку.

Г-н Качалов стал ходить на свадьбы, посещать Литературный кружок, беседовать там с дантистами — вообще начал проводить время весело.

Г-н Вишневский спрашивал встречных:

— Какие еще в Дании бывают животные? Мне для Станиславского. Хочется порадовать.

Г-н Немирович задумчиво поглаживал бородку:

— Неожиданный человек.

Мистер Крэг даже плюнул.

— Чтоб я стал ставить эту пьесу? Я? «Гамлета»? Да за кого вы меня принимаете? Да это фарс! Насмешка над здравым смыслом! Это у Сабурова играть. Да и то еще слишком прилично!

— Да, пьеса, конечно, не из удачных! — согласился г-н Немирович-Данченко.

— Бессмыслица! Ерунда! Сапоги всмятку! Пять актов человек колеблется, убить ли ему Клавдия,— и убивает Полония, словно устрицу съел! Где же тут логика? Ваш Шекспир — если он только существовал — был дурак! Помилуйте! Гамлет говорит: «Что ждет нас там, откуда никто еще не приходил?» — а сам только что своими глазами видел тень своего отца! С чем это сообразно? Как можно такую ерунду показывать публике?

— Конечно! — сказал и г-н Станиславский,— но мне кажется, что, если на сцену выпустить датского дога,— появление собаки отвлечет публику от многих несообразностей пьесы.

— И гиппопотам не поможет! Нет! Хотите играть «Гамлета» — будем играть его фарсом! Пародией на трагедию!

Г-н Вишневский говорил знакомому генералу:

— А вы знаете, ваше превосходительство, ведь Шекспира-то, оказывается, нет!

— Как нет, мой друг?!

— Так и нет. Сегодня только выяснилось. Не было и нет!

Г-н Немирович-Данченко ходил, зажав бороду в кулак.

— Парадоксальный господин!

* * *

— Друг мой! — кинулся мистер Крэг.

Г-н Немирович-Данченко даже вскрикнул.

Так Крэг схватил его за руку.

— Какую ночь я провел сегодня! Какую ночь! Вчера я взял на сон грядущий книгу. Книгу, которую все знают! Книгу, которой никто не читает, потому что все думают, будто ее знают! «Гамлет»!

Мистер Крэг схватил г-на Немировича-Данченко за плечо.

— Какая вещь! Так каждый день смотришь на свою сестру и не замечаешь, что она выросла в красавицу! Первая красавица мира!

Мистер Крэг схватил его за ногу.

«Буду весь в синяках!» — подумал с отчаянием г-н Немирович-Данченко.

— Какая вещь! Эти слова: «Быть или не быть?» А? Мороз по коже! Или это: «Ты честная девушка, Офелия?» А? Ужас-то, ужас?! Нет, вы понимаете этот ужас?!

— Кому ж и понять! — сказал г-н Немирович-Данченко, становясь подальше.— Шекспир!

— Гений! Гений! Давайте репетировать «Гамлета»! Сейчас! Сию минуту! День и ночь будем репетировать «Гамлета»! Ни пить, ни есть! Давайте ничего, ничего не делать всю свою жизнь, только играть «Гамлета». Без перерыва! Играть! Играть!

— Про собаку разговору не было? — осведомился г-н Станиславский.

— Владимир Иванович, как же теперь,— полюбопытствовал с тревогой г-н Вишневский,— насчет Шекспира? Есть Шекспир или нет Шекспира?

— Вот вопрос! — пожал плечами г-н Немирович-Данченко,— как же Шекспиру — и вдруг не быть?

— Ну, слава богу!

Г-н Вишневский облегченно вздохнул:

— А то, знаете, привык к Шекспиру — и вдруг его нет. Прямо словно чего-то недостает.

Г-н Станиславский крутил головой.

— Большой энтузиаст!

* * *

Мистер Крэг посмотрел на вошедших к нему господ Немировича-Данченко и Станиславского с глубоким изумлением.

— Чем могу служить, господа?

— Да мы насчет «Гамлета»! — сказал г-н Немирович-Данченко.

Мистер Крэг переспросил:

— Как вы сказали?

— «Гамлета».

— Гамлет?! Это что же такое? Город, кушанье, скаковая лошадь?

— «Гамлет»! Пьеса Шекспира!

— Кто ж это такой, этот Шекспир?

— Боже мой! Драматург!

— Н-не знаю. Не припомню. Не слышал. Может быть. Что ж он такое сделал, этот господин, про которого вы говорите?

— «Гамлета» написал.

— Ну, и господь с ним! Мало ли пьес пишут!

— Да, но вы... ставить... в нашем театре...

— Извините, господа! Кто-то написал какую-то пьесу. Кто-то зачем-то хочет ее играть. Мне-то до всего этого какое дело? Извините, господа! Я думаю сейчас совсем о другом!

И мистер Крэг погрузился в глубокую задумчивость.

— Капризный у человека гений! — погладил бороду г-н Немирович-Данченко.

— Придется вместо «Гамлета» на сцену просто датского дога выпустить! — вздохнул г-н Станиславский.— Не пропадать же догу.

А г-н Вишневский так даже заплакал:

— Господи! Я-то всем знакомым генералам, графам, князьям даже говорил: «Гамлет»!

И. М. ВАСИЛЕВСКИЙ

(Не-Буква)

В ГЛУШИ

I

Когда приставу Крыжановскому доложили об очередном приходе агента Хильдебранда — он сказал:

— Пусть подождет. Я занят: ботвинью ем, а потом всхрапнуть лягу... Пусть не уходит только. А чтоб не скучал, пускай мне папирос пока набьет. Да пусть побольше набьет, не то я ему морду набью.

Ждать было долго и утомительно. В кухне было душно, надоедали мухи, от мелкого табаку першило в горле и — в довершение всего — пришлось на свой счет покупать гильз.

— Ну, дела...— вздыхал агент Хильдебранд.— Чтоб ему такой год был, какие дела. Например, он себе спит, а я должен ждать и терять время. Я бы пока мог, между прочим, пойти и купить собаку для пана Робашевского и таки да заработать на этом деле. А между тем — что? Я себе тут сижу, а там кто-нибудь перебьет мне, и таки будет поздно, и у пана Робашевского уже без меня будет собака! Что значит? Все хотят заработать. Кто это не хочет заработать? И главное — я для него бесплатно делаю папиросы, так я еще должен на свой счет купить ему гильзы. Ей-богу, это оригинально!

II

Сегодня пристав проспал полтора часа, на полчаса меньше обычной послеобеденной нормы. Когда агента позвали в кабинет — пристав сладко зевал, по случаю жары лежа на диване в чем мать родила. Рядом, нежно прижавшись к волосатой груди пристава, сидела его дебелая законная супруга.

— С добрым утром, ваше превосходительство, ясновельможный пан,— с веселым, приветливым видом отрапортовал агент.

— С добрым утром? Ишь ты... Это остроумно. Х-ха... Слышишь, Маничка? «С добрым утром». Выдумал ведь. Х-ха... Да ты его не стесняйся, матушка. Зачем тебе кофточка? И так жарко. Хильдебранда стесняться нечего. Он свой. Правда, Хильдебранд?

— Так точно, ясновельможный пан. Им совсем даже нечего стесняться. У них такие белые плечи и груди. Даже можно гордиться, накажи меня бог.

— Слышишь, Маничка? Вот он какой. Он и комплименты умеет! Х-ха. Так, значит, белые, а? Гордиться можно? Х-ха... То-то!.. Вот что, Хильдебранд... Дело есть! Робашевского знаешь? Шестой раз обыск у него вчера делали. Опять никаких результатов. Этакий мерзавец!.. Благонамеренным притворяется. А по-моему, он социал-демократический социал-революционер. Я этому максималисту, бревно ему в глотку...

— Ах, Андрюша, какие ты ужасы говоришь...

— Да уж я, матушка, знаю... Он думает, что улик нет — так он и прав. Не-ет! Я этому полячку покажу. Надо придумать, Хильдебранд. Бомбу вот надо у него найти. Понял? А папирос, кстати, ты мне набил? Смотри, Хильдебранд. Мало набил, так я тебе морду много набью. Х-ха! Слышишь, Маничка! Игра слов: «мало набил — много набью». Х-ха...

— Помилуй бог, какие ясновельможный пан большие шутники.

— Д-да. Так ты того... Надо у него бомбу найти, Хильдебранд.

— Я бы сам радый, ваше превосходительство, найти. Только как его найдешь. Бомбы это такое дело. Что значит? Один держит, а другому даром не надо.

— Ты что это, рассуждать, кажется, выдумал?

— Так когда же нельзя...

— С места вылететь захотел? Тебе кто велит, а? Начальства, сто чертей и одна ведьма, не слушаться? Кто там свободен? Ефименко? Дай ему по морде, Ефименко.

III

— Пан Робашевский дома? Здравствуйте, пан Робашевский. У вас такой красивый кабинет — так я вам вот под цвет собаку привел.

— Какую собаку?

— Замечательную собаку. И таки совсем недорого. Только для вас, себе в убыток. Купите, ей-богу. Тут купишь — там продашь. Надо же что-нибудь заработать. И еще у меня к вам так себе, маленькое дело: может быть, у вас есть бомба?

— Откуда бомба?

— Как я могу знать откуда? Оригинально. Я совсем не могу знать откуда. Будьте такие добрые, продайте одну бомбу.

— Да нету у меня. Что ты!

— Может, хоть маленькая найдется, а?

— Говорят, нету!

— Может, спрятано у вас где-нибудь? Сделайте одолжение!

— Да ты сумасшедший, Хильдебранд!

— Нету? Жалко... А мне надо. Тут, знаете, поручение одно. Придется шурину таки в Ровно ехать покупать. Может, пускай и для вас парочку купит? Что вы думаете? Почему нет?

— Да зачем мне?

— Что значит зачем? В хозяйстве покупка всегда полезно. А я б недорого взял. Что же вы сердитесь? Почему нет? Все может быть. «Вставай, подымайся, рабочий народ»... Вы думаете, Хильдебранд не понимает? Хильдебранд все понимает. И таки почему не «всеобщая, прямая, равная и тайная»? Возьмите, ей-богу. На всякий случай, как говорится. Недорого. Что же вы сердитесь?.. Чего же вы толкаетесь? Странно! Я и сам уйду, тише!..

IV

— Господин пристав встали? Ваше превосходительство, ясновельможный пан. Когда Робашевский не берут! Я им пару бомб совсем даже задешево отдавал. Так когда они не хочут!

— Не берет? Ишь ты... Поляки — они хитрые. Да меня, брат, не перехитрить. Не хочешь добром бомбу иметь — силой заставлю мерзавца. Вот что... Не иначе, как подбросить надо, Хильдебранд.

— Как же это можно, ваше превосходительство? Это же нельзя...

— Ты, кажется, опять рассуждать вздумал? Я тебе велю, понял. Я знаю... Робашевский все равно максималист.

— Где же я рассуждаю? Я не рассуждаю. Только как же это? Протокол же будет...

— Дурак! Я же и протокол составлять буду... Х-ха... Бомбы делать умеешь? Рассказывай! У тебя шурин молодой есть... Молодые все умеют. Чтоб к понедельнику готово было, слышишь? Домбровский, выдать ему четвертной билет в задаток! Справишься, Хильдебранд,— награду получишь. А рассуждать будешь — со свету сживу. То-то! Какие там еще дела на сегодня назначены? Пускай обед подают. Да вот еще, Хильдебранд. Материал для бомбы покупать будешь — фейерверк мне в подарок купи...

— Ну, идем в канцелярию,— говорил Домбровский растерявшемуся Хильдебранду.— Получай четвертной билет. Здесь вот распишись. Да не так, не так. «За овес для пожарных лошадей» — пиши. Ну вот... Займи трешку, Хильдебранд...

— Ах, какой вы странный, господин Домбровский. Какие я вам могу давать трешки!

— Вот как! Ну ладно, Хильдебранд... Попомнишь.

V

Жандармский поручик был дома и пил с приятелем пиво.

— Ну и тоска,— говорил поручик.— Что это только за город такой? В карты даже, в тетку, не с кем сыграть.

— Это уж как есть,— отзывался приятель.— А только темное пиво здоровее. Темное пиво — оно мягчит.

— Предрассудок!

— Не скажите.

— Я вот только одного не понимаю. Почему собака всегда на задних лапках служит, а кошка не умеет? Васька, служи!

— Там, ваше благородие, пришли. Агент, говорит, Домбровский, черный такой.

— Ах, Домбровский! Здравствуй, Домбровский! Что скажешь?

— Так что, ваше благородие, бомба в городе...

— Да что ты? Неужели бомба? Это интересно.

— Так что, ваш-бродь, Хильдебранд готовит. Шурин его — извините — в Ровно даже за материалом ездил.

— Вот как... Скажите. Да ты выпей пива, Домбровский. Не стесняйся, еще выпей и рассказывай.

— В понедельник Робашевскому, ваш-бродь, подбрасывать будут. Ко вторничному обыску, значит, готовят.

— Ко вторничному? Вот как... Это интересно. Выпей-ка еще пива. Тебе темного? Так, во вторник, значит, бомбу отыскивать будем? Симпатично.

— Так точно. Покорнейше благодарю. Я светлого, ваше благородие. А только, в случае чего, так оно и теперь можно бомбу отыскать.

— Теперь? Это как же?

— А зачем нам, ваше благородие, ждать. У Хильдебранда бы и нашли. Бомба совсем готовая ведь. Как быть следует, в аккурате.

— А что ты думаешь, это идея. Прямо-таки идея! Тут тощища такая. П-шел, Васька. Молодец ты, Домбровский! Придумал ведь, а?

— Рад стараться, ваше высокоблагородие. За ваше здоровье.

VI

На суде Хильдебранд держался спокойно и с достоинством.

На вопрос: «Признаете ли вы себя виновным?» — он ответил коротким: «При чем тут?»

И, наклонившись к молодому защитнику, быстро зашептал:

— Что значит — виновен? Когда начальство велит, так исполняют. Они говорят — провокация. Вы думаете — это приятно, когда бьют по морде или когда нечего кушать? Это, я вам говорю, совсем неприятно, когда бьют по морде или когда нечего кушать...

— Хорошо,— сказал молодой адвокат.— Мы примем к сведению.

И только когда вынесли оправдательный приговор приставу, а Хильдебранда и его шурина приговорили к арестантским ротам, Хильдебранд съежился, потускнел и зашептал:

— Оригинально! Значит, мы же еще и виноваты? Ну... Так разве не факт, что таки да нужно «всеобщая, прямая, равная и тайная»?..

ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ

(Петербургская история для детей младшего возраста)

I

— Мы этого знать не можем. А только вы по счету уплатить извольте!

— Видишь ли, голубчик. Я ведь признаю. Ты прав — надо заплатить. Все дело в сроке. Понимаешь?

Старый, уже много лет подающий надежды беллетрист Модернистов стоял возле мясистого приказчика в белом фартуке и с серьгой в ухе и, стараясь быть убедительным, объяснял ему:

— Понимаешь, голубчик,— двадцатого. Новый журнал возникает. Орган реальных мистиков — понимаешь? Я там двадцатого вот получу аванс, и мы того... рассчитаемся.

— Мы насчет реальных мистиков знать не можем. А только вы уж по счету сегодня прикажите получить.

— Убери ты его,— просил жену после получасовой беседы с приказчиком беллетрист Модернистов.— В кухню, что ли, его возьми. Мне надо писать, а он торчит в кабинете. Милая, убери!

— Как его уберешь! — уныло отвечала жена.

Приказчика заманили в кухню и оттуда, благодаря помощи горничной, к которой он был явно неравнодушен,— выставили.

«Эта сцена — самая важная,— думал Модернистов, принимаясь за сцену любовного объяснения в своем рассказе.— Самое важное место: «Тишина звенела»...— начал размашистым беглым почерком Модернистов.— «Тишина звенела»... Прежде небось так не умели!..

Д-и-и-инь — испуганно зазвенело у дверей.

— Опять кого-то черт принес! — с тоской подумал Модернистов.

— Так что хозяин сказал, что больше ждать не будут,— наставительно и строго говорил старший дворник.

— Видишь ли, голубчик. Реальные мистики основывают журнал. Будущее, видишь ли, безусловно за ними. И двадцатого — понимаешь, двадцатого — я получаю там аванс. До двадцатого надо подождать... Понимаешь?

— Ждали уж! — уныло ответил дворник.— Которые порядочные, те платят. Сколько разов обещали..

«Тишина звенела,— писал Модернистов, выпроводив дворника.— Они вдохновенно сидели на скамейке у опалового моря, и казалось, что чей-то голос, властный и чарующий...»

— Барин! Там из мясной пришли. Ругаются очень...— прозвучал вдруг настойчивый голос горничной.

Когда «пришедшие из мясной» ушли — пришла прачка, швейцар и сапожник.

После их ухода творческая нить оборвалась. «Он нежно привлек ее к себе»,— начал было писать Модернистов, но непослушное перо неожиданно написало: «Он нежно привлек ее к суду».

— Маланья! Принесите мне черного кофе,— попросил Модернистов.

— Кофе нету. Третьего дня еще вышло.

— Ну, тогда чаю с лимоном дайте.

— Лимону нету. Лавочник — нешто не знаете? — не дает. Ваш, говорит, барин — самый, говорит...

— Ну, без лимона дайте. Скоро только устройте...

— Так что, барин, угля нету. И еще я хотела жалованье попросить. Помилуйте, как же это возможно? Я на каких местах служила — такого не видела. Будь вы порядочные господа — вам же бы стыдно было!!

II

Направленский очень любил литературу. Когда вышел альманах с новым рассказом Модернистова, Направленский попросил книгу у знакомых «на вечерок» и тут же решил зачитать ее.

— Маничка! — говорил Направленский жене, придя домой и снимая в передней пальто.— Я новый альманах достал.

— А я вас дожидаю,— мрачно отозвался басом мясистый приказчик в белом переднике и с серьгой в ухе,— все говорят — дома нет. А на проверку — прячутся. Вы вот лучше по счету уплатить извольте.

Приказчика заманили в кухню и отсюда под благовидным предлогом с трудом, но сплавили.

— Новая вещь Модернистова? Интересно...— томно говорила Маничка. Супруги сели рядом, и Направленский стал читать вслух.

— «Тишина звенела»,— начал он, откашлявшись.— Видишь, Маничка? «Тишина звенела». Прежде вот так не умели.

Ди-и-инь — испуганно зазвенел колокольчик у дверей.

«Так что хозяин сказал, что больше ждать не будут»,— громко заявлял старший дворник.

— Вечно помешают,— говорил, хмурясь, Направленский, возвращаясь в кабинет, после того как всеми правдами и неправдами удалось отделаться от дворника.

— «Тишина звенела,— читал Направленский.— Они вдохновенно сидели на скамейке у опалового моря, и казалось, что чей-то голос, властный и чарующий»...

— Там, барин, из мясной пришли. Ругаются очень...— прозвучал настойчивый голос горничной.

— «Он нежно привлек ее к суду». Тьфу, черт! К себе, то есть...— читал Направленский.

Только что отделались от мясной — пришла прачка и сапожник.

— Маланья! — позвал Направленский после ухода портного и швейцара.— Там кофе нету? Ну, тогда чаю с лимоном!.. Не дает лимона? Мерзавец этакий! Ну, тогда без лимона. Как, и углей нет?

— Так что, барин, я хотела жалованье попросить!— говорила, настойчиво наступая, Маланья.— Помилуйте, как же это возможно? Будь вы порядочные господа — вам же бы стыдно было!!

III

— Главная задача художника,— говорил на заседании Литературного кружка, поправляя пенсне, Модернистов,— это заставить читателя пережить все, что переживал автор, создавая свое произведение!

— Нет, знаете...— говорил во время спора о литературе Направленский,— у Модернистова есть этакое умение. Читаешь и прямо-таки чувствуешь, что переживал автор.

...Кто выдумал, что у нас нет единения между читателем и писателем?!

БЕЗ СМЕХА

> Подтверждается факт открытия Бертело искусственной протоплазмы.
>
> *Из телеграмм*

I

В лаборатории все было буднично и деловито, когда громкое восклицание сорвалось вдруг с уст Бертело:

— Друзья мои! Ко мне, скорее ко мне!..— повторял Бертело.

И когда пестрой толпой сбежались ассистенты, взволнованный, бледный Бертело показывал им пробирку и бессвязно повторял:

— Найдено!.. Достигнуто!.. Друзья мои, в этой пробирке — первооснова жизни. Я открыл способ делать искусственную протоплазму. Понимаете ли вы меня? Разгадана главная тайна мироздания!.. Друзья мои, я схожу с ума, мне страшно, друзья мои!..

И когда снова и снова были проверены опыты и с несомненностью подтвердился факт удивительного открытия — гулкие поздравления заполнили лабораторию:

— Чувствуете ли вы, учитель, все величие, всю необъятную мощь вашего открытия? — спрашивал один из учеников.

— Открыта новая эра всемирной истории! — взволнованно говорил другой.— На веки веков неувядаемой славой покрыто отныне ваше имя, учитель!

— Отныне возможно искусственное приготовление питательных продуктов! Уходит в прошлое, пропадает рабская зависимость человека от природы. Невообразимую революцию в области экономической жизни народов принесет с собою эта пробирка!..

— Но разве это все? — добавляли окружающие.— Протоплазма — ключ жизни. Искусственно делать протоплазму — это значит по своей воле творить жизнь! Осуществляется вековая мечта о гомункулусе... Живых существ, живых людей могут отныне приготовлять наши лаборатории!..

— Друзья мои, мне страшно! Мне страшно, друзья мои! — повторял бледный, вздрагивающий Бертело.

II

Когда прошел первый общий угар, назначено было деловое заседание.

Председателем, за отказом самого Бертело, было решено избрать старейшего из профессорской коллегии. Торжественное молчание охватило белую с колоннами залу, когда, после приветственных рукоплесканий, высокий старец с седыми волосами неторопливо занял председательское место.

— На очереди вопрос о гомункулусе, о лабораторном человеке вообще и фабрично-заводских лабораториях для изготовления живых существ в частности,— объявил председатель.

— Прежде чем выбирать дорогу, по которой пойдешь, надо узнать цель, к которой стремишься,— начал первый оратор.— Мы благодаря великому изобретению Бертело овладели отныне тайной создания живого человека. Определим же раньше всего, каких именно людей хотим мы создавать?

— Людей разума, людей науки! — загремели голоса.

— Людей с проникновенным и ясным разумом, людей пытливых и ищущих, не успокаивающихся в исканиях своих! — повторяли со всех сторон.

— Тише, господа! Момент слишком серьезен,— заметил председатель.

— Нам не надо больше ждать естественного хода событий: ждать, чтоб солнечная энергия вырастила траву, чтоб зелень эту поглотило затем травоядное, чтоб мясо этого травоядного пошло потом на пищу человеку... Нам не надо теперь всего этого, чтобы получить кровь, мускулы и мозг живого человека!.. Раз все эти процессы находятся отныне в нашей пробирке — наша главная обязанность изучить, как формируются умственные способности человека...

— Ученых, столь же великих, как Бертело, будем мы создавать на наших фабриках!

— Эдисонов! Изобретателей и исследователей!

— Шекспиров! Эдисонов! Бертело! — загудели восторженные голоса.

И тогда на кафедру взошел сам Бертело.

— Я хочу предостеречь почтенное собрание от основной ошибки,— начал ученый.— Еще с тех пор, как я стал работать над этим изобретением, обдумываю я этот вопрос. Вы говорили об Эдисонах и Шекспирах.

Вы оказали мне честь упомянуть и мое скромное имя в этом списке. Да сохранит вас разум от этого пути!.. Нет, не Эдисонов и не Шекспиров, не людей, равных Льву Толстому, в первую очередь вспомним мы, осуществляя нашу великую задачу! Сейте рожь, васильки сами вырастут,— говорит полная глубокой мудрости народная поговорка. О средних людях станем мы заботиться. В них основа и центр жизни. Да, да, господа! Пусть будут у нас кадры здоровых, бодрых и жизнерадостных средних людей, обывателей... Будут они, эти мощные, жизнерадостные кадры — тогда только будут гении и Эдисонов, и Шекспиров, и Толстых.

— И гений Бертело! — подхватили голоса.— Да здравствуют средние люди! Им — наша забота! Да здравствует Бертело!

III

Невозможное совершилось. Ряд химических соединений — и вдруг ожил и задвигался маленький кусочек искусственной протоплазмы. Далее, далее! Еще несколько ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, еще несколько секунд под действием эманации радия, и вот совершилось чудо науки — оформились окончательно клеточки протоплазмы!

Маленький гомункулус, первый лабораторный человечек, сидит на краю Круксовой трубки.

Жутким волнением охвачены Бертело, его ассистенты и ученики... И нервно потирает ручонки маленький искусственный человечек, и злая гримаса пробегает по его безволосому, старческому и землистому лицу.

— Что же, господа ученые, а? Испугались небось, всерьез испугались! Затеять затеяли, а теперь как будто и открытию не рады! А ведь и открытие-то самое пустяковое. Формула на редкость простая. Стыдно даже!.. Как это вы раньше не догадались, право?

Этот жалкий сморчок, этот старообразный карлик издевался над создавшими его учеными!.. И от этого пропало вдруг жуткое волнение и стало досадно и обидно.

— Гении, тоже еще, ученые двухвершковые! — повторял карлик.

— Позвольте, это с вашей стороны... Я даже не знаю, право... Насмешки эти, гримасы ваши... Даже странно...— заговорил один из оторопевших учеников Бертело.

— Чего странно? — разозлился гомункулус.— Вы, может быть, от меня и уважения к себе, чего доброго, ждали? Недурно-с. У вашего Шиллера на этот счет недурная фразочка есть. Карл Моор с братцем, «молодые люди, впоследствии разбойники», ежели изволите помнить, между собой насчет родительских чувств беседуют: «За что я буду уважать отца и мать? Не за то ли, что они создали меня? Так ведь они, сколько известно, вовсе не обо мне в те моменты думали». Так-то вот. А уж мне-то родителей уважать, это уж... Чудаки вы, господа...

— Как же это? — растерянно шептались ученые.— Откуда у него этот тон, откуда он знает, наконец, Шиллера?

— Я всё знаю! — горделиво заговорил снова маленький человек.— Знаю все ваши формулы, и все ваши книги, и все языки ваши. И больше, гораздо больше этого знаю я. Дешево все это у вас, собственно... Удивлены? Ну еще бы. Вот она, людская ограниченность!.. Каждый день рождаются живые существа и люди, каждый новый человек несет с собою целый новый мир желаний и идей — это, видите ли, для них не удивительно. Вы вот сами изобрели теперь, додумались наконец, давно бы пора, собственно!.. до искусственной протоплазмы,— и это еще не удивительно. А то, что я знаю все ваши книги и гораздо больше того,— это кажется вам невероятным?.. Чудаки вы тут до сих пор на вашей земле жили, как я погляжу. Ну, да это что, я теперь вас по-новому обучу...— хихикал гомункулус.

IV

Смущенной толпой стояли седые ученые, а сморщенный человечек по-прежнему расхаживал по краю стола с важной миной на злом лице и поучал:

— От меня вы узнаете истину всю до конца,— говорил гомункулус.— Мы всё знаем, и учиться нам, высшим существам, конечно, нечему. Это удел ваш, удел жалких людей, не освободившихся от того бесполезного придатка, какой вы называете душой. От меня вы узнаете настоящую истину...

— Мы узнавали ее и без тебя! — не выдержал Бертело.

— Без меня? — удивился карлик.— Бросьте... Вы жалостно путались в тенетах столкновений между правдой-истиной, правдой-справедливостью и правдой-

красотой. Только теперь благодаря мне познаете вы голую сущность истины и освободитесь от всех этих ненужных миражей. Я принесу с собой вам впервые готовую, непогрешимую истину. Не будет этих безумных исканий ваших, ибо все будет найдено и не будет ошибок!.. Без волнений, без слез и без смеха будут жить те новые существа, какими мы заменим людей на этой земле. Забудутся бывшие доныне неразлучными с вами понятия о сострадании, о влюбленности и тому подобные бессмысленные слова. Исчезнут иррациональные понятия души, вдохновения, восторга и все подобные мешавшие вам жить вещи. Забыто будет то неосмысленное явление, какое вы называете смехом...

И первый вопрос, какой я научу вас разрешить,— это освобождение земного шара от людей, рождающихся иррациональным, внелабораторным и ненаучным образом. Это должно быть оставлено навсегда! Здесь, в лаборатории, будем мы заготовлять кадры новых гомункулусов и распределять нормы появления новых отрядов. Вам, старикам, мы разрешим, должно быть, дожить до естественной смерти, предварительно обезвредив вас выработанными нами способами. Но новых людей теперешнего, иррационального типа, с их неразумным смехом, слезами и бессмысленными восторгами, с их порывами и стремлениями, быть не должно!.. Мы, гомункулусы, конечно, не допустим этого.

Вооруженные всей непогрешимостью истины, лишенные того придатка, какой вы называете душой, мы по-новому и по-своему, безусловно логично, забросив заботы о душе, совершенно по-иному перестроим мир...

Легким движением дотронувшись до гомункулуса («Я тебя породил — я тебя и убью!» — говорил некогда еще Тарас Бульба), Бертело вбросил его вдруг в ту пробирку, откуда только что, окруженный общим восторгом, появился этот сморщенный карлик, и, быстро швырнув пробирку в самое пекло лабораторной печи, круто обернулся к ученикам.

— Поклянитесь, что никому никогда не откроете вы тайны моего открытия! — тревожно сказал Бертело.— Поклянитесь, что, как и я, в могилу унесет с собой каждый из вас рецепт лабораторного приготовления живого, разумного, но лишенного души, лишенного смеха существа!..

— Клянемся, клянемся! — хором ответили смущенные, потрясенные ученики...

ТЭФФИ

* * *

Мой черный карлик целовал мне ножки,
Он был всегда так ловок и так мил!..
Мои браслетки, кольца, серьги, брошки
Он убирал и в сундучке хранил.

Но в черный день печали и тревоги
Мой карлик вдруг поднялся и подрос...
Вотще ему я целовала ноги —
И сам ушел, и сундучок унес!

БЕДНЫЙ АЗРА

Каждый день чрез мост Ани́чков,
Поперек реки Фонтанки,
Шагом медленным проходит
Дева, служащая в банке.

Каждый день на том же месте,
На углу, у лавки книжной,
Чей-то взор она встречает —
Взор горящий и недвижный.

Деве томно, деве странно,
Деве сладостно сугубо:
Снится ей его фигура
И гороховая шуба.

А весной, когда пробилась
В скверах зелень первой травки,
Дева вдруг остановилась
На углу, у книжной лавки.

«Кто ты? — молвила,— откройся!
Хочешь — я запламенею
И мы вместе по закону
Предадимся Гименею?»

Отвечал он: «Недосуг мне.
Я агент. Служу в охранке
И поставлен от начальства,
Чтоб дежурить на Фонтанке».

ПРОВОРСТВО РУК

В дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благотворительные спектакли местная молодежь, красовалась длинная красная афиша.

«Специально проездом, по желанию публики, сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии.

Поразительнейшие фокусы, как-то: сжигание платка на глазах, добывание серебряного рубля из носа почтеннейшей публики и прочее вопреки природе».

Из бокового окошечка выглядывала голова и печально продавала билеты.

Дождь шел с утра. Деревья сада вокруг балаганчика намокли, набухли, обливаясь серым мелким дождем покорно и не отряхиваясь.

У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на три рубля.

Стало темнеть.

Печальная голова вздохнула, скрылась, и из дверей вылез маленький облезлый господин неопределенного возраста.

Придерживая двумя руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон.

— Ни одной дыры. Все серо. В Тимашове прогар, в Щиграх прогар, в Дмитриеве прогар, в Обояни прогар, в Курске прогар... А где не прогар? Где, я спрашиваю, не прогар? Судье почетный билет послан, голове послан, господину исправнику... всем послано. Пойду лампы заправлять.

Он бросил взгляд на афишу и оторваться не мог.

— Чего им еще нужно? Нарыв на голове, что ли?

К восьми часам стали собираться.

На почетные места или никто не приходил, или посылали прислугу. На стоячие места пришли какие-то пьяные и стали сразу грозить, что потребуют деньги обратно.

К половине девятого выяснилось, что больше никто не придет.

А те, кто сидели, все так громко и определенно ругались, что оттягивать дальше было просто опасно.

Фокусник напялил длинный сюртук, с каждой гастролью становившийся все шире, вздохнул, перекрестился, взял коробку с таинственными принадлежностями и вышел на сцену.

Несколько секунд он стоял молча и думал:

«Сбор четыре рубля, керосин шесть гривен — это еще ничего, а помещение восемь рублей, так это уже чего. Головин сын на почетном месте — пусть себе. Но как я уеду и на что буду кушать, это я вас спрашиваю! И почему пусто? Я бы сам валил толпой на такую программу».

— Бррравво...— заорал один из пьяных.

Фокусник очнулся. Зажег на столе свечку и сказал:

— Уважаемая публика, позволяю предпослать вам предисловие. То, что вы увидите здесь, не есть что-либо чудесное или колдовство, что противно нашей православной религии и даже запрещено полицией, этого на свете даже совсем и не бывает. Нет. Далеко не так. То, что вы здесь увидите, есть не что иное, как проворство и ловкость рук. Даю вам честное слово, что никакого колдовства здесь не будет. Сейчас вы увидите появление крутого яйца в совершенно пустом платке.

Он порылся в коробке и вынул свернутый в комочек пестрый платок. Руки его слегка тряслись.

— Извольте убедиться, что платок совершенно пуст. Вот я его встряхиваю.

Он встряхнул платок и растянул руками.

«С утра одна булочка в копейку и стакан чаю без сахару, а завтра что?» — думал он.

— Можете убедиться, что никакого яйца здесь нет.

Публика зашевелилась. Кто-то фыркнул. Вдруг один из пьяных загудел:

— Вр-решь, вот яйцо.

— Где, что? — растерялся фокусник.

— А к платку на веревочке привязал.

— С той стороны,— закричали голоса.— На свечке просвечивает.

Смущенный фокусник повернул платок. Действительно, на шнурке висело яйцо.

— Эх ты! — заговорил кто-то уже дружелюбно.— Тебе бы за свечку зайти, вот и незаметно было бы. А ты вперед залез. Так, братец, нельзя.

Фокусник был бледен и криво улыбался.

— Это, действительно,— говорил он.— Я, впрочем, предупреждал, что это не колдовство, а только проворство рук. Извините, господа.— Голос у него пресекся и задрожал.

— Ладно, да ладно!

— Нечего тут!

— Валяй дальше!

— Теперь приступим к следующему поразительному явлению, которое покажется вам еще удивительней. Пусть кто-нибудь из почтеннейшей публики одолжит мне свой носовой платок.

Публика стеснялась.

Многие было уже вынули, но, посмотрев внимательно, поспешно спрятали обратно.

Тогда фокусник подошел к сыну городского головы и протянул свою дрожащую руку.

— Я бы, конечно, взял и свой платок, так как это совершенно безопасно, но вы можете подумать, что я что-нибудь подменил.

Сын головы дал свой платок, и фокусник развернул его и встряхнул.

— Прошу убедиться, совершенно целый платок.

Сын головы гордо осмотрел публику.

— Теперь глядите. Этот платок стал волшебным. Теперь я свертываю его трубочкой, подношу к свечке и зажигаю. Горит. Отгорел весь угол. Видите?

Публика вытягивает шею.

— Верно,— кричит пьяный,— паленым пахнет.

— А теперь я сосчитаю до трех, и платок будет опять целым. Раз, два, три! Извольте убедиться.

Он гордо и ловко расправил платок.

— А-ах...

— А-ах,— ахнула и публика.

Посреди платка зияла огромная паленая дыра.

— Однако,— сказал сын головы и засопел носом.

Фокусник прижал платок к груди и вдруг заплакал.

— Господа... Почтеннейшая пуб... Сбору никакого... Дождь с утра... куда ни попаду, везде... с утра... не ел... не ел... на булку копейку.

— Да ведь мы ничего, бог с тобой! — кричала публика.

— Рази мы звери? Господь с тобой!

Но фокусник всхлипывал и вытирал нос волшебным платком.

— Четыре рубля сбору... помещение — восемь рублей... во-о-осемь... воо-оо-о...

Какая-то баба всхлипнула.

— Да полно тебе, о господи! Душу выворотил,— кричали кругом.

В дверь просунулась голова в клеенчатом капюшоне:

— Эт-то что? Расходись по домам!

Все и без того встали. Вышли. Захлюпали по лужам. Молчали, вздыхали.

— А что я вам, братцы, скажу! — вдруг ясно и звонко сказал один из пьяных.

Все даже приостановились.

— А что я вам скажу! Ведь подлец народ ноне пошел. Он с тебя деньги сдерет и тебе же душу выворотит. А?

— Вздуть! — ухнул кто-то во мгле.

— Именно, что вздуть. Айда! Кто со мной? Раз, два, три! Ну, марш... Безо всякой совести народ... Я тоже деньги платил не краденые... Ну, мы уж те покажем! Жжива...

ДАРОВОЙ КОНЬ

Николай Иваныч Уткин, маленький акцизный чиновник маленького уездного городка, купил рублевый билет в губернаторшину лотерею и выиграл лошадь.

Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго проверяли билет, удивлялись, ахали. В конце концов отдали лошадь Уткину.

Когда первые восторги поулеглись, Уткин призадумался.

«Куда я ее дену? — думал он.— Квартира у меня казенная, при складе, в одну комнату, да кухня. Сарайчик для дров махонький, на три вязанки. Конь же животное нежное, не на улице же его держать».

Приятели посоветовали попросить у начальства квартирных денег.

— Откажись от казенной. Найми хоть похуже, да с сарайчиком. А отказывать станут — скажи, что, мол, семейные обстоятельства, гм... приращение семейства.

Начальство согласилось. Деньги выдали. Нанял Уткин квартиру и поставил лошадь в сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин стал наводить экономию — бросил курить.

— Чудесный у вас конь, Николай Иваныч,— сказал соседний лавочник.— Беспременно у вас этого коня сведут.

Уткин забеспокоился. Купил особый замок к сараю.

Заинтересовалось и высшее начальство Николая Иваныча.

— Эге, Уткин! Да вы вот какой! У вас теперь и лошадь своя! А кто же у вас кучером? Сами, что ли, хе-хе-хе!

Уткин смутился.

— Что вы, помилуйте-с. Ко мне сегодня вечером обещал прийти один парень. Все вот его и дожидался. Знаете, всякому доверить опасно.

Уткин нанял парня и перестал завтракать.

Голодный, бежал он на службу, а лавочник здоровался и ласково спрашивал:

— Не свели еще лошадку-то? Ну, сведут еще, сведут! На все свой час, свое время.

А начальство продолжало интересоваться:

— Вы что же никогда не ездите на вашей лошадке?

— Она еще не объезжена. Очень дикая.

— Неужели? А губернаторша на ней, кажется, воду возила. Странно! Только знаете, голубчик, вы не думайте продать ее. Потом, со временем, это, конечно, можно будет. Но теперь ни в коем случае! Губернаторша знает, что она у вас, и очень этим интересуется. Я сам слышал. «Я, говорит, от души рада, что осчастливила этого бедного человека, и мне отрадно, что он так полюбил моего Колдуна». Теперь понимаете?

Уткин понимал и, бросив обедать, ограничился чаем с ситником.

Лошадь ела очень много. Уткин боялся ее и в сарай не заглядывал. «Еще лягнет, жирная скотина. С нее не спросишь».

Но гордился перед всеми по-прежнему.

— Не понимаю, как может человек, при известном достатке, конечно, обходиться без собственных лошадей. Конечно, дорого. Но зато удобство!

Перестал покупать сахар.

Как-то зашли во двор два парня в картузах, попросили позволения конька посмотреть, а если продадут, так и купить. Уткин выгнал их и долго кричал вслед, что ему за эту лошадь давно тысячу рублей давали, да он и слышать не хочет.

Слышал все это соседний лавочник и неодобрительно качал головой.

— И напрасно, вы их только пуще разжигаете. Сами понимаете, какие это покупатели!

— А какие?

— А такие, что воры. Конокрады. Пришли высмотреть, а ночью и слямзят.

Затревожился Уткин. Пошел на службу, даже ситника не поел. Встретился знакомый телеграфист. Узнал, потужил и обещал помочь.

— Я,— говорит,— такой аппарат поставлю, что как, значит, кто в конюшню влезет, так звон-трезвон по всему дому пойдет.

Пришел телеграфист после обеда, работал весь вечер, приладил все и ушел. Ровно через полчаса затрещали звонки.

Уткин ринулся во двор. Один идти оробел. Убьют еще. Кинулся в клетушку, растолкал парня Ильюшку. А звонок все трещал да трещал. Подошли к сараю. Смотрят — замок на месте. Осмелели, открыли дверь. Темно. Лошадь жует. Осмотрели пол.

— Ска-тина! — крикнул Уткин.— Это она ногой наступила на проволоки. Ишь жует. Хоть бы ночью-то не ела. У нас, у людей, хоть какой будь богатый человек, а уж круглые сутки не позволит себе есть. Свинство. Прямо не лошадь, а свинья какая-то.

Лег спать. Едва успел задремать — опять треск и звон. Оказалось — кошка. На рассвете опять.

Совершенно измученный пошел Уткин на службу. Спал над бумагами.

Ночью опять треск и звон. Проволоки, как идиотки, соединялись сами собой. Уткин всю ночь пробегал босиком от сарая к дому и под утро захворал. На службу не пошел.

«Что я теперь? — думал он, уткнувшись в подушку.— Разве я человек? Разве я живу? Так — пресмыкаюсь на чреве своем, а скотина надо мной царит. Не ем и не сплю. Здоровье потерял, со службы выгонят. Пройдет моя молодость за ничто. Лошадь все сожрет!»

Весь день лежал. А ночью, когда все стихло и лишь слышалась порою трескотня звонка, он тихо встал, осторожно и неслышно открыл ворота, прокрался к конюшне и, отомкнув дверь, быстро юркнул в дом.

Укрывшись с головой одеялом, он весело усмехался и подмигивал сам себе.

— Что, объела! А? Недолго ты, матушка, поцарствовала, дромадер окаянный! Сволокут тебя анафемские воры на живодерню, станут из твоей шкуры, чтоб она лопнула, козловые сапоги шить. Губернаторшин блюдолиз! Вот погоди, покажут тебе губернаторшу.

Заснул сладко. Во сне ел оладьи с медом.

Утром крикнул Ильюшку, спросил строгим голосом...— все ли благополучно?

— А все!

— А лошадь... цела? — почти в ужасе крикнул Уткин.

— А что ей делается.

— Врешь ты, мерзавец! Конский холоп!

— А ей-богу, барин! Вы не пужайтесь. Конек ваш целехонек. Усе сено пожрал, теперь овса домогается.

У Уткина отнялась левая нога и правая рука. Левой рукой он написал записку:

«Никого не виню, если умру. Лошадь меня съела».

КОРСИКАНЕЦ

Допрос затянулся, и жандарм чувствовал себя утомленным. Он сделал перерыв и пошел в свой кабинет отдохнуть.

Он уже, сладко улыбаясь, подходил к дивану, как вдруг остановился, и лицо его исказилось, точно он увидел большую гадость.

За стеной громкий бас отчетливо пропел: «Марш, марш вперед, рабочий народ...»

— Эт-то что? — спросил жандарм, указывая на стену.

Письмоводитель слегка приподнялся на стуле.

— Я уже имел обстоятельство доложить вам например агента.

— Нич-чего, нич-чего не понимаю. Говорите проще.

— Агент Фиалкин изъявил непременное желание поступить в провокаторы. Он вторую зиму дежурит у

Михайловской конки. Тихий человек. Только амбициозен сверх штата. «Я, говорит, гублю молодость и лучшие силы свои отдаю на конку». Отметил медленность своего движения по конке и невозможность применения сил, предполагая их существование...

«Крявявый и прявый...» — дребезжало за стеной.

— Врешь,— поправил бас.

— И что же, талантливый человек? — спросил жандарм.

— Амбициозен, даже излишне. Ни одной революционной песни не знает, а туда же лезет, в провокаторы. Ныл... ну и ныл... Вот спасибо городовой бляха № 4711... Он у нас это все, как по нотам... Слова-то, положим, все городовые хорошо знают, на улице стоят, уши не заткнешь... Ну, а бляха и в слухе очень талантлива. Вот взялся учить.

— Ишь «Варшавянку» жарят,— мечтательно прошептал жандарм.— Самолюбие вещь недурная. Она может человека в люди вывести. Вот Наполеон — простой корсиканец был... однако достиг, гм... кое-чего.

«Оно горит и ярко рдеет...»

«То наша кровь горит на нем»,— рычит бляха № 4711.

— Как будто уже другой мотив,— насторожился жандарм.— Что же, он всем песням будет учить сразу?

— Всем, всем. Фиалкин сам его торопит. Говорит, быдто какое-то дельце обрисовывается.

— И самолюбие же у людей.

«Семя грядущего»,— заблеял шпик за стеной.

— Энергия дьявольская,— вздохнул жандарм.— Говорят, что Наполеон, когда был еще простым корсиканцем...

Внизу с лестницы раздался какой-то рев и глухие удары.

— А эт-то что? — поднимает брови жандарм.

— А это наши союзники, которые в нижнем этаже, волнуются.

— Чего им?

— Пение, значит, до них дошло. Трудно им.

— А, е-е, черт... Действительно, как-то неудобно. Пожалуй, и на улице слышно, подумают — митинг у нас.

— Пес ты окаянный,— вздыхает за стеной бляха.— Что ты воешь, как собака? Разве революционер так воет? Революционер открыто поет. Звук у него ясный.

Каждое слово слышно. А он себе в щеки скулит да глазами во все стороны сигает. Не сигай глазами! Остатний раз говорю. Вот плюну и уйду! Нанимай себе максималиста, коли охота есть!

— Сердится,— усмехнулся письмоводитель,— Фигнер какой.

— Самолюбие, самолюбие,— повторяет жандарм.— В провокаторы захотел. Нет, брат, и эта роза с шипами. Военно-полевой суд не рассуждает. Захватят тебя, братец ты мой, а революционер ты или честный провокатор, этого разбирать не станут. Подрыгаешь ножками.

«Нашим потом жиреют обжоры»,— надрывается городовой.

— Фу, у меня даже зуб заболел. Отговорили бы его, что ли!

— Да как его отговоришь, если он сам в себе чувствует этакое, значит, влечение? Карьерист народ пошел,— вздыхает письмоводитель.

— Ну, убедить всегда можно. Скажите, что порядочный шпик так же нужен отечеству, как и провокатор. У меня вон... зуб болит.

«Вы жертвою пали»,— взревел городовой.

«Вы жертвою пали»,— жалобно заблеял шпик.

— К черту! — взвизгнул жандарм, выбегая из комнаты.— Вон отсюда,— раздался его прерывающийся и осиплый от злости голос.— Мерзавцы! В провокаторы лезут, а марсельезы спеть не умеют! Осрамят заведение. Корсиканцы! Я вам покажу корсиканцев...

Хлопнула дверь. Все стихло. За стенкой кто-то всхлипнул.

ВЗАМЕН ПОЛИТИКИ

Сели обедать.

Глава семьи, отставной капитан с обвисшими, словно мокрыми, усами и круглыми, удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что вытащили из воды и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и никто из семьи не смущался этим.

Посмотрев с немым изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них комнату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил:

— А где же Петька?

— Бог их знает, где они валандаются,— отвечала жена.— В гимназию палкой не выгонишь, а домой калачом не заманишь. Балует где-нибудь с мальчишками.

Жилец усмехнулся и вставил слово:

— Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они.

— Э, нет, миленький мой,— выпучил глаза капитан.— С этим делом, слава богу, покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. Вот, придумаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам, к стыду России, куда-нибудь за границу.

— А что же вы изволите изобретать?

— Да еще наверное не знаю. Что-нибудь да изобрету. Господи, да мало ли еще вещей не изобретено! Ну, например, скажем,— изобрету такую какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро, в положенный час, аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и разбудит. А?

— Папочка,— сказала дочь,— да ведь это просто будильник.

Капитан удивился и замолчал.

— Да, вы, действительно, правы,— тактично заметил жилец.— От политики у нас у всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, как мысль отдыхает.

В комнату влетел краснощекий третьеклассник-гимназист, чмокнул на ходу щеку матери и громко закричал:

— Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка.

— Господи помилуй! С ума сошел! Где тебя носит? Чего к обеду опаздываешь? Вон и суп холодный.

— Не хочу супу. Отчего не гимн-африка?

— Ну, давай тарелку: я тебе котлету положу.

— Отчего кот-лета, а не кошка-зима? — деловито спросил гимназист и подал тарелку.

— Его, верно, сегодня выпороли,— догадался отец.

— Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? — запихивая в рот кусок хлеба, бормотал гимназист.

— Нет, видели вы дурака? — возмущался удивленный капитан.

— Отчего бело-курый, а не черно-петухатый? — спросил гимназист, протягивая тарелку за второй порцией.

— Что-о? Хоть бы отца с матерью постыдился!..

— Петя, постой, Петя! — крикнула вдруг сестра.— Скажи, отчего говорят д-верь, а не говорят д-сомневайся? А?

Гимназист на минуту задумался и, вскинув на сестру глаза, ответил:

— А отчего пан-талоны, а не хам-купоны!

Жилец захихикал.

— Хам-купоны... А вы не находите, Иван Степаныч, что это занятно? Хам-купоны!..

Но капитан совсем растерялся.

— Сонечка! — жалобно сказал он жене.— Выгони этого... Петьку из-за стола! Прошу тебя, ради меня.

— Да что ты, сам не можешь, что ли? Петя, слышишь? Папочка тебе приказывает выйти из-за стола. Марш к себе в комнату! Сладкого не получишь!

Гимназист надулся.

— Я ничего худого не делаю... у нас весь класс так говорит... Что ж, я один за всех отдувайся!..

— Ничего, ничего! Сказано — иди вон. Не умеешь себя вести за столом, так и сиди у себя!

Гимназист встал, обдернул курточку и, втянув голову в плечи, пошел к двери.

Встретив горничную с блюдом миндального киселя, всхлипнул и, глотая слезы, проговорил:

— Это подло — так относиться к родственникам... Я не виноват... Отчего вино-ват, а не пиво-ват?!

Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала:

— Я могу сказать, отчего я вино-вата, а не пиво-хлопок.

— Ах, да уж перестань хоть ты-то! — замахала на нее мать.— Слава богу, не маленькая...

Капитан молчал, двигал бровями, удивлялся и что-то шептал.

— Ха-ха! Это замечательно,— ликовал жилец.— А я тоже придумал: отчего живу-зем, а не помер-зем. А? Это, понимаете, по-французски. Живузем. Значит «я вас люблю». Я немножко знаю языки, то есть сколько каждому светскому человеку полагается. Конечно, я не специалист-лингвист...

— Ха-ха-ха! — заливалась дочка.— А почему Дубровин, а не осина-одинакова?..

Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внимательное, словно она к чему-то прислушивалась:

— Постой. Сашенька! Постой минутку. Как это... Вот опять забыла...

Она смотрела на потолок и моргала глазами.

— Ах да! Почему сатана... нет — почему дьявол... нет, не так!..

Капитан уставился на нее в ужасе.

— Чего ты лаешься?

— Постой! Постой! Не перебивай. Да! Почему говорят чертить, а не дьяволить?

— Ох, мама! Мама! Ха-ха-ха! А отчего «па-поч-ка», а не...

— Пошла вон, Александра! Молчать! — крикнул капитан и выскочил из-за стола.

Жильцу долго не спалось. Он ворочался и все придумывал, что он завтра спросит. Барышня вечером прислала с горничной две записки. Одну в девять часов: «Отчего обни-мать, а не обни-отец?» Другую — в одиннадцать: «Отчего руб-ашка, а не девяносто девять копеек-ашка?»

На обе он ответил в подходящем тоне и теперь мучился, придумывая, чем бы угостить барышню завтра.

— Отчего... отчего...— шептал он в полудремоте.

Вдруг кто-то тихо постучал в дверь.

Никто не ответил, но стук повторился.

Жилец встал, закутался в одеяло.

— Ай-ай! Что за шалости! — тихо смеялся он, отпирая двери, и вдруг отскочил назад.

Перед ним, еще вполне одетый, со свечой в руках стоял капитан. Удивленное лицо его было бледно, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови.

— Виноват,— сказал он.— Я не буду беспокоить... Я на минутку... Я придумал...

— Что? Что? Изобретение? Неужели?

— Я придумал: отчего чер-нила, а не чер-какой-нибудь другой реки? Нет... у меня как-то иначе... лучше выходило... А впрочем, виноват... Я, может быть, обеспокоил... Так — не спалось — заглянул на огонек...

Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился.

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул:

— Господа! Объявляю заседание открытым!

Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стукали линейкой по голове, кто-то собирался кому-то жаловаться.

— Господа! — закричал Тузин еще громче.— Объявляю заседание открытым. Семенов-второй! Навались на дверь, чтобы приготовишки не пролезли. Эй, помогите ему! Мы будем говорить о таких делах, которые им слышать еще рано. Ораторы, выходи! Кто записывается в ораторы, подними руку. Раз, два, три, пять. Всем нельзя, господа; у нас времени не хватит. У нас всего двадцать пять минут осталось. Иванов-четвертый! Зачем жуешь! Сказано — сегодня не завтракать! Не слышал приказа?

— Он не завтракает, он клячку жует.

— То-то, клячку! Открой-ка рот! Федька, сунь ему палец в рот, посмотри, что у него. А? Ну то-то! Теперь прежде всего решим, о чем будем рассуждать. Прежде всего, я думаю... ты что, Иванов-третий?

— Плежде всего надо лассуждать пло молань,— выступил вперед очень толстый мальчик с круглыми щеками и надутыми губами.— Молань важнее всего.

— Какая молань? что ты мелешь? — удивился Петя Тузин.

— Не молань, а молаль! — поправил председателя тоненький голосок из толпы.

— Я и сказал молань! — надулся еще больше Иванов-третий.

— Мораль? Ну хорошо, пусть будет мораль. Так, значит, мораль... А как это мораль... это про что?

— Чтобы они не лезли со всякой ерундой,— волнуясь, заговорил черненький мальчик с хохлом на голове.— То нехорошо, другое нехорошо. И этого нельзя делать, и того не смей. А почему нельзя — никто не говорит. И почему мы должны учиться? Почему гимназист непременно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не говорится. Пусть мне покажут такой закон, я, может быть, тогда и послушался бы.

— А почему тоже говорят, что нельзя класть локти на стол? Все это вздор и ерунда,— подхватил кто-то

из напиравших на дверь.— Почему нельзя? Всегда буду класть...

— И стоб позволили зениться,— пискнул тоненький голосок.

— Кричат «не смей воровать!»,— продолжал мальчик с хохлом.— Пусть докажут. Раз мне полезно воровать...

— А почему вдруг говорят, чтоб я муху не мучил? — забасил Петров-второй.— Если мне доставляет удовольствие...

— А мама говорит, что я должен свою собаку кормить. А с какой стати мне о ней заботиться? Она для меня никогда ничего не сделала!..

— Стоб не месали вступать в блак,— пискнул тоненький голосок.

— А кроме того, мы требуем полного и тайного женского равноправия. Мы возмущаемся и протестуем. Иван Семеныч нам всё колы лепит, а в женской гимназии девчонкам ни за что пятерки ставит. Мне Манька рассказывала...

— Подожди, не перебивай! Дай сказать! Почему же мне нельзя воровать? Раз это мне доставляет удовольствие.

— Держи дверь! Напирай сильней! Приготовишки ломятся.

— Тише! Тише! Петька Тузин! Председатель! Звони ключом об чернильницу — чего они галдят!

— Тише, господа! — надрывался председатель.— Объявляю, что заседание продолжается.

Иванов-третий продвинулся вперед.

— Я настаиваю, чтоб лассуждали пло молань! Я хочу пло молань говолить, а Сенька мне в ухо дует! Я хочу, чтоб не было никакой молани. Нам должны всё позволить. Я не хочу увазать лодителей, это унизительно. Сенька! Не смей мне в ухо дуть! И не буду слушаться сталших, и у меня самого могут лодиться дети... Сенька! Блось! Я тебе в молду!

— Мы все требуем свободной любви. И для женских гимназий тоже.

— Пусть не заплещают нам зениться! — пискнул голосок.

— Они говорят, что обижать и мучить другого нехорошо. А почему нехорошо? Нет, вот пусть объяснят, почему нехорошо, тогда я согласен. А то эдак все можно выдумать: есть нехорошо, спать нехорошо, нос нехоро-

шо, рот нехорошо. Нет, мы требуем, чтобы они сначала доказали. Скажите пожалуйста — «нехорошо». Если не учишься — нехорошо. А почему же, позвольте спросить,— нехорошо? Они говорят — «дураком вырастешь». Почему дурак нехорошо? Может быть, очень даже хорошо.

— Дулак — это холосо!

— И по-моему хорошо. Пусть они делают по-своему, я им не мешаю. Пусть и они мне не мешают. Я ведь отца по утрам на службу не гоняю. Хочет — идет, не хочет — мне наплевать. Он третьего дня в клубе шестьдесят рублей проиграл. Ведь я же ему ни слова не сказал. Хотя, может быть, мне эти деньги и самому пригодились бы. Однако смолчал. А почему? Потому что я умею уважать свободу каждого ин-ди...юн-ди...ви-дума. А он меня по носу тетрадью хлопает за каждую единицу. Это гнусно. Мы протестуем.

— Позвольте, господа, я должен все это занести в протокол. Нужно записать. Вот так: «Пратакол засе...» «Засе» или «заси»? «Засидания». Что у нас там первое?

— Я говорил, чтоб не приставали локти на стол...

— Ага! как же записать?.. Нехорошо — «локти». Я напишу «оконечности». «Протест против запрещения класть на стол свои оконечности». Ну, дальше.

— Стоб зениться...

— Нет, врешь, тайное равноправие!

— Ну ладно, я соединю. «Требуем свободной любви, чтоб каждый мог жениться, и тайное равноправие полового вопроса для дам, женщин и детей». Ладно?

— Тепель пло молань.

— Ну ладно. «Требуем переменить мораль, чтоб ее совсем не было. Дурак — это хорошо».

— И воровать можно.

— «И требуем полной свободы и равноправия для воровства и кражи, и пусть все, что нехорошо, считается хорошо». Ладно?

— А кто украл, напиши, тот совсем не вор, а просто так себе человек.

— Да ты чего хлопочешь? Ты не слимонил ли чего-нибудь?

— Караул! Это он мою булку слопал. Вот у меня здесь сдобная булка лежала: а он все около нее боком... Отдавай мне мою булку!.. Сенька! Держи его, подлеца! Вали его на скамейку! Где линейка?.. Вот тебе!.. Вот тебе!..

— А-а-а! Не буду! Ей-богу, не буду!..

— А, он еще щипаться!..

— Дай ему в молду! Мелзавец! Он делется!..

— Загни ему салазки! Петька, заходи сбоку!.. Помогай!..

Председатель вздохнул, слез со стула и пошел на подмогу.

ЖИЗНЬ И ВОРОТНИК

Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.

Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.

Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник с продернутой в него желтой ленточкой.

Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и купила.

Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно.

Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила.

Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег.

Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.

Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути?

Олечка заложила серебро и браслетку.

На душе у нее было беспокойно и жутко, и, когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер.

На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок.

Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке:

— Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого.

Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.

Следующие дни были еще тяжелее.

Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.

Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротник был какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.

— Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?

Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник.

Она обстригла волоса, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность.

Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и иногда по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода.

Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал.

Так дело шло все хуже и хуже.

Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь?

Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми. И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие ни за что на свете.

Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал.

Однажды ее пригласили на вечер.

Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево.

За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу.

Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил:

— Только-то?

Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала: «Господи! Куда я попала?!»

После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился прежде, чем Олечка успела сообразить, в чем дело.

Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно:

— Моя дорогая!

А воротник пошло захихикал в ответ.

Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.

Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул:

— Только-то?

Потом студент с воротником поехали в ресторан слушать румынов. Пошли в кабинет.

— Да ведь здесь нет никакой музыки! — возмущалась Олечка.

Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.

Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный муж.

Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкина стола.

— Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была?

Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию.

— Где была? Со студентом болталась!

Честный муж пошатнулся.

— Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?

— Деньги? Профукала!

И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово — «профукала»? Она ли это сказала?

Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.

Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник потерялся в стирке.

Кроткая Олечка служит в банке.

Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», потому что оно похоже на «обнимусь».

— А где воротник? — спросите вы.

— А я-то почем знаю,— отвечу я.— Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте.

Эх, жизнь!

ДЕМОНИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА

Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой «для цианистого кали, который ей непременно пришлют в следующий вторник», стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке.

Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу.

За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест.

— К чему?

Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнобразное, но большею частью она — актриса.

Иногда просто разведенная жена.

Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о которой нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать.

— К чему?

У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены глаза.

Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения

эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе:

— Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, скорее. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря.

Церковь ночью заперта.

Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но «она» уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасенья нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф.

— К чему?

Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе.

И часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе.

Она никому не читает их.

— К чему?

Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился — последнее, впрочем, не наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она наконец согласится опубликовать свои произведения. Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе.

— К чему?

А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начерченные слова: «Возвр.», «К возвр.».

— Я видел в вашем окне свет часов в пять утра.

— Да, я работала.

— Вы губите себя! Дорогая! Берегите себя для нас!

— К чему?

За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку.

— Марья Николаевна,— говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-либо ином месте,— Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина.

Демоническая закроет глаза рукою и заговорит истерически:

— Вина! Вина! Дайте мне вина, я хочу пить! Я буду

пить! Я вчера пила! Я третьего дня пила и завтра... да, и завтра я буду пить! Я хочу, хочу, хочу вина!

Собственно говоря, чего тут трагического, что дама три дня подряд понемножку выпивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелятся.

— Пьет.

— Какая загадочная!

— И завтра, говорит, пить буду...

Начнет закусывать простая женщина, скажет:

— Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки. Люблю лук.

Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит:

— Селедка? Да, да, дайте мне селедки, я хочу есть селедку, я хочу, я хочу. Это лук? Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, всего, селедки, луку, я хочу есть, я хочу пошлости, скорее... больше... больше, смотрите все... я ем селедку!

В сущности, что случилось?

Просто разыгрался аппетит и потянуло на солененькое! А какой эффект!

— Вы слышали? Вы слышали?

— Не надо оставлять ее одну сегодня ночью.

— ?

— А то, что она, наверное, застрелится этим самым цианистым кали, которое ей принесут во вторник...

Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами:

— Мне, собственно говоря, ненадолго... всего только двадцать пять рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе... я смогу...

Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными, полузакрытыми глазами:

— Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня, смотрите на меня... Я хочу — вы слышите? — я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же,— вы слышите? — сейчас же двадцать пять рублей. Я этого хочу. Слышите? — хочу. Чтобы именно вы, именно мне, именно дали, именно двадцать пять рублей. Я хочу! Я тввварь!.. Теперь идите... идите... не оборачиваясь, уходите скорей, скорей... Ха-ха-ха!

Истерический смех должен потрясть все ее существо, даже оба существа — ее и его.

— Скорей... скорей, не оборачиваясь... уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь... Ха-ха-ха!

И он «потрясется» своим существом и даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи.

— Вы знаете, она сегодня была такая странная... загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался.

— Да. Здесь чувствуется тайна.

— Может быть... она полюбила меня...

— !

— Тайна!

КОНЦЕРТ

Начинающий поэт Николай Котомко сильно волновался: первый раз в жизни он был приглашен участвовать в благотворительном концерте. Дело, положим, не обошлось без протекции: концерт устраивало общество охранения аптекарских учеников от никотина, а Котомко жил в комнате у вдовы Марухиной, хорошо знавшей двух помощников провизора.

Словом, были нажаты какие-то пружины, дернуты соответствующие нити, и вот юный, только что приехавший из провинции Котомко получил возможность показать столичной публике свое задумчивое лицо.

Пришедший приглашать его мрачный бородач нагнал страху немало.

— Концерт у нас будет, понимаете ли, блестящий. Выдающиеся таланты частных театров и пять — три звездочек. Понимаете, что это значит? Надеюсь, и вы нам окажете честь, тем более что и цель такая симпатичная!

Котомко обещал оказать честь и вплоть до концерта — ровно три недели — не знал себе покоя. Целые дни стоял он перед зеркалом, декламируя свои стихотворения. Охрип, похудел и почернел. По ночам спал плохо. Снилось, что стоит на эстраде, а стихи забыл и будто публика кричит: «Бейте его, длинноносого!»

Просыпался в холодном поту, зажигал лампочку и снова зубрил.

Бородач заехал еще раз и сказал, что полиция разрешила Котомке прочесть два стихотворения:

> Когда, весь погружаясь в мечтанья,
> Юный корпус склоню я к тебе...

И второе:

> Скажи, зачем с подобною тоскою,
> С болезнью я гляжу порою на тебя...

Бородач обещал прислать карету, благодарил и просил не обмануть.

— А пуб-блики м-много будет? — заикаясь, прошептал Котомко.

— Почти все билеты распроданы.

В день концерта бледный и ослабевший поэт, чтобы как-нибудь не опоздать, с утра завился у парикмахера и съел два десятка сырых яиц, чтобы лучше звучал голос.

Вдова Марухина, особа бывалая, понимавшая коечто в концертах, часто заглядывала к нему в комнату и давала советы:

— Часы не надели?

— У меня н-нет часов! — стучал зубами Котомко.

— И не надо! Часов никогда артисты к концерту не надевают. Публика начнет вас качать, часы выскочат и разобьются. Руки напудрили? Непременно надо. У меня жила одна артистка, так она даже плечи пудрила. Вам, пожалуй, плечи-то и не надо. Не видно под сюртуком. А впрочем, если хотите, я вам дам пудры. С удовольствием. И вот еще совет: непременно улыбайтесь! Иначе публика очень скверно вас примет! Уж вот увидите!

Котомко слушал и холодел.

В пять часов, уже совершенно одетый, он сидел, растопыря напудренные руки, и шептал дрожащими губами:

> Скажи, зачем с подобною тоскою...

В голове у него было пусто, в ушах звенело, в сердце тошнило.

— Зачем я все это затеял! — тосковал он.— Жил покойно... «с болезнью я гляжу»... жил покойно... нет, непременно подавай сюда славу... «с болезнью я порой»... Вот тебе и слава! «Юный корпус склоню я»... Опять не оттуда...

Ждать пришлось очень долго. Хозяйка высказала даже мнение, что о нем позабыли и совсем не приедут.

Котомко обрадовался и даже стал немножко поправляться, даже почувствовал аппетит, как вдруг, уже в четверть одиннадцатого, раздался громкий звонок и в комнату влетел маленький чернявый господинчик, в пальто и шапке.

— Где мадмазель Котомко? Где? Боже ж мой! — в каком-то отчаянии завопил он.

— Я... я...— лепетал поэт.

— Вы? Виноват... Я думал, что вы дама... ваше имя может сбить с толку... Ну, пусть. Я рад!

Он схватил поэта за руку и все с тем же отчаянием кричал:

— Ох, поймите, мы все за вас хватаемся! Как хватается человек за последнюю соломинку, когда у него нет больше соломы.

Он развел руками и огляделся кругом.

— Ну, понимаете, совершенно нет! Послали три кареты за артистами — ни одна не вернулась. Я говорю, нужно было с них задаток взять, тогда бы вернулись, а Маркин еще спорит. Вы понимаете? Публика — сплошная невежда: воображает, что если концерт, так уж сейчас ей запоют и заиграют, и не понимает, что если пришел в концерт, так нужно подождать. Ради бога, едемте скорее! Там какой-то паршивый скрипач — и зачем такого приглашать, я говорю,— пять минут помахал смычком и домой уехал. Мы просим «бис», а он заявляет, что забыл побриться. Слышали вы подобное? Ну, где же ваши ноты, пора ехать.

— У меня нет нот! — растерялся Котомко.— Я не играю.

— Ну, там найдется, кому сыграть, давайте только ноты!

Тут выскочила хозяйка и помогла делу. Ноты у нее нашлись: «Маленький Рубинштейн» — для игры в четыре руки.

Вышли на подъезд. Чернявый впереди, спотыкаясь и суетясь, за ним Котомко, как баран, покорный и завитой.

— Извините! Кареты у меня нет! Кареты так и не вернулись! Но если хотите, вы можете ехать на отдельном извозчике. Мы, конечно, возместим расходы.

Но Котомко боялся остаться один и сел с чернявым. Тот занимал его разговором.

— Боже, сколько хлопот! Еще за Буниным ехать. Вы не знаете, он в частных домах не поет?

— Н-не знаю... не замечал.

— Я недавно из провинции и, простите, в опере еще ни разу не был. Леонида Андреева на балалайке слышал. Очень недурно. Русская ширь степей... Степенная ширь. Потом обещал приехать Владимир Тихонов... Этот, кажется, на рояле. Еще хотели мы Немировича-Данченка. Я к нему ездил, да он отказался петь. А вы часто в концертах поете?

— Я? — удивился Котомко...— Я никогда не пел.

— Ну, на этот-то раз уж не отвертитесь! Сегодня вам придется петь. Иначе вы нас так обидите, что боже упаси!

Котомко чуть не плакал.

— Да я ведь стихи... В программе поставлено «Скажи, зачем...» и «Когда, весь погружаясь...». Я декламирую!

— Декла... а вы лучше спойте. Те же самые слова, только спойте. Публика это гораздо больше ценит. Ей-богу. Зачем говорить, когда можно мелодично спеть?

Наконец приехали. Чернявый кубарем вывалился из саней. Котомко качался на ногах и стукнулся лбом о столбик подъезда.

«Шишка будет... Пусть!» — подумал он уныло и даже не потер ушибленного места.

В артистической стоял дым коромыслом. Человек десять испуганных молодых людей и столько же обезумевших дам кричали друг на друга и носились как угорелые. Увидя Котомку, все кинулись к нему.

— Ах... Ну, вот уж один приехал. Раздевайтесь скорее! Публика с ума сходит. Был только один скрипач, а потом пришлось антракт сделать.

— Читайте подольше! Ради бога, читайте подольше, а то вы нас погубите!..

— Сколько вы стихов прочтете?

— Два.

— На три четверти часа хватит?

— Н-нет... Минут шесть...

— Он нас погубит! Тогда читайте еще что-нибудь, другие стихи.

— Нельзя другие,— перекричал всех главный распорядитель.— Разрешено только два. Мы не желаем платить штраф!

Выскочил чернявый.

— Ну, так пусть читает только два, но очень медленно. Мадмазель Котомка... Простите, я все так... Чи-

тайте очень медленно, тяните слова, чтобы на полчаса хватило. Поймите, что мы как за соломинку!

За дверью раздался глухой рев и топот.

— Ой, пора! Тащите же его на эстраду!

И вот Котомко перед публикой.

— Господи, помоги! Обещаю, что никогда...

— Начинайте же! — засвистел за его спиной голос чернявого.

Котомко открыл рот и жалобно заблеял.

— Когда, весь погружаясь...

— Медленней! Медленней! Не губите! — свистел шепот.

— Громче! — кричали в публике.

— Ю-ный ко-о-орп-пу-ус...

— Громче! Громче! Браво!

Публика, видимо, веселилась. Задние ряды вскочили с мест, чтобы лучше видеть. Кто-то хохотал, истерически взвизгивая. Все как-то колыхались, шептались, отворачивались от сцены. Какая-то барышня в первом ряду запищала и выбежала вон.

— Скло-о-о-ню-у я ку те-е...— блеял Котомко.

Он сам был в ужасе. Глаза у него закатились, как у покойника, голова свесилась набок, и одна нога, неловко поставленная, дрожала отчетливой крупной дрожью. Он проныл оба стихотворения сразу и удалился под дикий рев и аплодисменты публики.

— Что вы наделали? — накинулся на него чернявый.— И четверти часа не прошло! Нужно было медленнее, а вы упрямы, как коровий бык! Идите теперь на «бис».

И Котомку вытолкнули второй раз на сцену.

Теперь уж он знал, что делать. Встал сразу в ту же позу и начал.

— К-о-огда-а-а, ве-е-есь...

Он почти не слышал своего голоса — такой вой стоял в зале. Люди качались от смеха, как больные, и стонали. Многие, убежав с мест, толпились в дверях и старались не смотреть на Котомку, чтобы хоть немножко успокоиться.

Чернявый встретил поэта с несколько сконфуженным лицом.

— Ну, теперь ничего себе. Главное, что публике понравилось.

Но в артистической все десять девиц и юношей предавались шумному отчаянию. Никто больше не при-

ехал. Главные распорядители пошептались о чем-то и направились к Котомке, который стоял у стены, утирал мокрый лоб и дышал, как опоенная лошадь.

— Поверьте, господин поэт, нам очень стыдно, но мы принуждены просить вас прочесть еще что-нибудь. Иначе мы погибли! Только, пожалуйста, то же самое, а то нам придется платить из-за вас штраф.

Совершенно ничего не понимая, вылез Котомко третий раз на эстраду.

Кто-то в публике громко обрадовался.

— Га! Да он опять здесь! Ну, это я вам скажу...

«Странный народ! — подумал Котомко.— Совсем дикий. Если им что нравится — они хохочут. Покажи им «Сикстинскую мадонну», так они, наверное, лопнут от смеха!»

Он кашлянул и начал:

— Ко-гд-а-а...

Вдруг из последних рядов поднялся высокий детина в телеграфской куртке и, воздев руки кверху, завопил зычным голосом:

— Если вы опять про свой корпус, то лучше честью предупредите, потому что это может кончиться для вас же плохо!

Но Котомко сам так выл, что даже не заметил телеграфного пафоса.

Котомке дали полтинник на извозчика. Он ехал и горько усмехался своим мыслям.

«Вот я теперь известность, любимец публики. А разве я счастлив? Разве окрылен? «Что слава? — яркая заплата на бедном рубище певца». Я думал, что слава чувствуется как-то иначе. Или у меня просто нет никакого честолюбия?»

КАТЕНЬКА

Дачка была крошечная — две комнатки и кухня.

Мать ворчала в комнатах, кухарка в кухне, и так как объектом ворчания для обеих служила Катенька, то оставаться дома этой Катеньке не было никакой возможности, и сидела она целый день в саду на скамейке-качалке.

Мать Катеньки, бедная, но неблагородная вдова, всю зиму шила дамские наряды и даже на входных две-

рях прибила дощечку «Мадам Параскове, моды и платья». Летом же отдыхала и воспитывала гимназистку-дочь посредством упреков в неблагодарности.

Кухарка Дарья зазналась уже давно, лет десять тому назад, и во всей природе до сих пор не нашлось существа, которое сумело бы поставить ее на место.

Катенька сидит на своей качалке и мечтает «о нем». Через год ей будет шестнадцать лет, тогда можно будет венчаться и без разрешения митрополита. Но с кем венчаться-то, вот вопрос?

Из дома доносится тихое бубнение матери:

— ...И ничего, ни малейшей благодарности! Розовый брокар на платье купила, сорок пять...

— Девка на выданье,— гудит из кухни,— избаловавши с детства. Нет, коли ты мать, так взяла бы хворостину хорошую...

— Самих бы вас хворостиной! — кричит Катенька и мечтает дальше.

«Венчаться можно со всяким, это ерунда,— лишь бы была блестящая партия. Вот, например, есть инженеры, которые воруют. Это очень блестящая партия. Потом, еще можно выйти за генерала. Да мало ли за кого! Но интересно совсем не это. Интересно, с кем будешь мужу изменять. «Генеральша-графиня Катерина Ивановна дома?» — и входит «он», в белом кителе, вроде Середенкина, только, конечно, гораздо красивее и носом не фыркает. «Извините, я дома, но принять вас не могу, потому что я другому отдана и буду век ему верна». Он побледнел, как мрамор, только глаза его дивно сверкают... Едва дыша, он берет ее за руку и говорит...»

— Катя-а! А Катя-а! Это ты с тарелки черносливину взяла-а?

Мать высунула голову в окошко, и видно ее сердитое лицо. Из другого окошка, подальше, высовывается голова в повойнике и отвечает:

— Конешно, она. Я сразу увидела: было для компоту десять черносливин, а как она подошла, так и девять сделалось. И как тебе не стыдно — а?

— Сами слопали, а на меня валите! — огрызнулась Катенька.— Очень мне нужен ваш чернослив! От него керосином пахнет.

— Кероси-и-ном? А почем же ты знаешь, что керосином, коли ты не пробовала,— а?

— Керосином? — ужасается кухарка.— Эдакие сло-

ва произносит! Взять бы что ни на есть, да отстегать бы, так небось...

— Стегайте себя саму! Отвяжитесь!

«Да... Значит, он берет за руку и говорит: «Отдайся мне!» Я уже готова уступить его доводам, как вдруг дверь распахивается и входит муж. «Сударыня, я все слышал. Я дарю вам мой титул, чин и все состояние, и мы разведемся...»

— Катька! Дура полосатая! Кошка носатая! — раздался голос позади скамейки.

Катенька оглянулась.

Через забор перевесился соседский Мишка и, дрыгая для равновесия высоко поднятой ногой, обрывал с росших у скамейки кустов зеленую смородину.

— Пошел вон, поганый мальчишка! — взвизгнула Катенька.

— Поган, да не цыган! А ты вроде Володи.

— Мама! Мама, он смородину рвет!

— Ах ты, господи помилуй! — высунулись две головы.— Час от часу не легче! Ах ты, дерзостный! Ах ты, мерзостный!

— Взять бы хворостину хорошую...

— Мало вас, видно, в школе порют, что вы и на каникулах под розгу проситесь. Вон пошел, чтоб духу твоего!..

Мальчишка спрятался, предварительно показав для самоудовлетворения всем по очереди свой длинный язык с налипшим к нему листом смородины.

Катенька уселась поудобнее и попробовала мечтать дальше. Но ничего не выходило. Поганый мальчишка совсем выбил ее из настроения. Почему вдруг «кошка носатая»? Во-первых, у кошек нет носов — они дышат дырками, а во-вторых, у нее, у Катеньки, совершенно греческий нос, как у древних римлян. И потом, что это значит,— «вроде Володи»? Володи разные бывают. Ужасно глупо. Не стоит обращать внимания.

Но не обращать внимания было трудно. От обиды сами собой опускались углы рта и тоненькая косичка дрожала под затылком.

Катенька пошла к матери и сказала:

— Я не понимаю вас! Как можно позволять уличным мальчишкам издеваться над собой. Неужели же только военные должны понимать, что значит честь мундира?

Потом пошла в свой уголок, достала конвертик, украшенный золотой незабудкой с розовым сиянием вокруг каждого лепестка, и стала изливать душу в письме к Мане Кокиной:

«Дорогая моя! Я в ужасном состоянии. Все мои нервные окончания расстроились совершенно. Дело в том, что мой роман быстро идет к роковой развязке.

Наш сосед по имению, молодой граф Михаил, не дает мне покоя. Достаточно мне выйти в сад, чтобы услышать за спиной его страстный шепот. К стыду моему, я его полюбила беззаветно.

Сегодня утром у нас в имении случилось необычное событие: пропала масса фруктов, черносливов и прочих драгоценностей. Вся прислуга в один голос обвинила шайку соседских разбойников. Я молчала, потому что знала, что их предводитель граф Михаил.

В тот же вечер он с опасностью для жизни перелез через забор и шепнул страстным шепотом: «Ты должна быть моей». Разбуженная этим шепотом, я выбежала в сад в капоте из серебряной парчи, закрытая, как плащом, моими распущенными волосами (у меня коса очень отросла за это время, ей-богу), и граф заключил меня в свои объятья. Я ничего не сказала, но вся побледнела, как мрамор; только глаза мои дивно сверкали...»

Катенька вдруг приостановилась и крикнула в соседнюю комнатушку:

— Мама! Дайте мне, пожалуйста, семикопеечную марку. Я пишу Мане Кокиной.

— Что-о? Ма-арку? Все только Кокиным да Мокиным письма писать! Нет, милая моя, мать у тебя тоже не лошадь, чтоб на Мокиных работать. Посидят Мокины и без писем!

— Только и слышно, что марку давай,— загудело из кухни.— Взял бы хворостину хорошую, да как ни на есть...

Катенька подождала минутку, прислушалась, и, когда стало ясно, что марки не получить, она вздохнула и приписала:

«Дорогая Манечка! Я очень криво приклеила марку и боюсь, что она отклеится, как на прошлом письме. Целую тебя 100 000 000 раз. Твоя *Катя Моткова*».

РАСКАЯВШАЯСЯ СУДЬБА

После генеральной репетиции подошла ко мне одна из актрис, молоденькая, взволнованная...

— Простите, пожалуйста... ведь вы автор этой пьески?

— Я.

— Пожалуйста, не подумайте, что я вообще...

— Нет, нет, я не подумаю, что вы вообще,— поспешила я ее успокоить.

— У меня к вам маленькая просьба. Очень, очень большая просьба. Впрочем, если нельзя, то уж ничего не поделаешь.

Она не то засмеялась, не то всхлипнула, а я вздохнула, потому что угадывала, в чем дело: наверное, попросит прибавить ей несколько слов к роли. Это — вечная история. Всем им так хочется побольше поговорить!

Актриса покусала кончик носового платка и, опустив глаза, спросила с тихим упреком:

— За что вы его так обидели? Неужели вам ничуть-ничуть не жаль его?

— Кого? — удивилась я.

— Да вот этого рыжего молодого человека в вашей пьесе. Ведь он же, в сущности, симпатичный. Конечно, он не умен и не талантлив. Но ведь он же не виноват, он не злой, он даже очень милый, а вы позволили этому противному картежнику обобрать его до нитки. За что же?

Я смутилась.

— Послушайте... я не совсем понимаю. Ведь это же такая пьеса. Ведь если бы этого не было, так и пьесы бы не было. Понимаете? Это ведь и есть сюжет пьесы.

Но она снова покусала платочек и снова спросила с упреком:

— Пусть так, пусть вы правы. Но неужели же вам самой не жаль этого бедного, доверчивого человека? Только скажите — неужели вам не больно, когда у вас на глазах обижают беззащитного?

— Больно! — вздохнула я.

— Так зачем же вы это позволяете? Значит, вам не жаль.

— Послушайте! — твердо сказала я.— Ведь это же

я все сама выдумала. Понимаете? Этого ничего нет и не было. Чего же вы волнуетесь?

— Я знаю, что вы сами выдумали. Оттого-то я и обращаюсь со своей просьбой прямо к вам. Раз вы выдумали, так вы сможете и поправить. Знаете что: дайте ему наследство. Совершенно неожиданно.

Я молчала.

— Ну, хоть небольшое, рублей двести, чтоб он мог продолжать честную жизнь, начал какое-нибудь дело. Я ведь не прошу много — только двести рублей на первое время,— потом он встанет на ноги, и тогда за него уж не страшно.

Я молчала.

— Неужели не можете? Ну, полтораста рублей.

Я молчала.

— Сто. Сто рублей. Меньше трудно — ведь вы его привезли из Бердянска. Дорога стоит дорого даже в третьем классе. Не можете?

— Не могу.

— Господи, как же мне быть! Поймите, если бы я могла, я бы ему из своих денег дала, но ведь я же не могу! Я бы никогда не стала унижаться и просить у вас, но ведь только вы одна можете помочь ему! А вы не хотите. Подумайте, как это ужасно. Знаете, говоря откровенно, я никогда не думала, что вы такая жестокая. Положим, я несколько раз ловила вас на некрасивых поступках: то вы мальчишку из меблированных комнат выгнали и перед всем театром показали, какой он идиот. То расстроили семейное счастье из-за брошки, которую горничная потеряла. Но я всегда утешала себя мыслью, что просто нет около вас доброго человека, который указал бы вам на вашу жестокость. Но чем же объяснить, что вы и теперь не хотите поправить причиненное вами зло?

— Да я ничего... Я не прочь, только мы так всю пьесу испортим. Подумайте сами: вдруг ни с того ни с сего — пожалуйте наследство.

— Ну, тогда пусть окажется, что он еще раньше отложил сто рублей про черный день.

— Нельзя! Характер у него не такой.

— Ну и пусть будет не такой, лишь бы ему легче жилось. Господи! Ведь все же от вас зависит.

Я задумалась.

Действительно, свинство с моей стороны губить человека. Ведь я, в сущности,— его судьба, я вызываю

его из небытия и мучаю. Если бы у меня была душа благородная, я вызывала бы людей только для того, чтобы дать им радости и счастье. А я публично высмеиваю, шельмую, обираю при помощи разных темных личностей. Некрасиво. Противно. Пора одуматься.

— Как быть, дружок? — сказала я актрисе.— Я сама рада помочь ему, да теперь уж поздно. Генеральная репетиция прошла, вечером спектакль. Теперь уж ничего не поделаешь.

— Ужас! Ужас! Погибнет человек.

— Пропадет ни за грош,— уныло согласилась я.— В чужом городе, один...

— И как вы раньше не подумали?

— Сама не понимаю. Озверела как-то.

Мы обе замолчали. Сидели, опустив головы, подавленные.

— Знаете что! — вдруг решила я.— Мы этого так не оставим. Мы все-таки дадим ему тысяч десять. Только не сегодня, а потом, когда пьеса будет напечатана в сборнике. Прямо сделаю звездочку и выноску: такой-то, мол, неожиданно получил от тетки (видите, как ловко!), от тетки десять тысяч, начал на них дело и быстро пошел в гору! Ладно?

— Дорогая моя! Можно вас поцеловать?

— Ну конечно, можно! Давайте целоваться — нам легче станет. Знаете, я даже двадцать тысяч дам ему. Бог с ним — пусть устроится без хлопот.

— Милая! Милая! Какая вы чудная! А... не сердитесь только... тому мальчишке, что вы в прошлом году обиде... т. е. которого выгнали, тоже можно что-нибудь дать?

— Ну конечно. Этот рыжий может встретить мальчишку и дать ему из двадцати тысяч — ну, хоть тысячи две.

— Да, да, это даже хорошо. Пусть приучается делать добрые дела. Какая вы чудная!.. Ну... а... с другими как?

— Погодите, дайте только время! Всех пристроим.

— Дорогая! А помните, у вас в рассказе старая дева в Троицын день ждала жениха? Как же мы с ней-то будем?

— Ах, пустяки! И вовсе она не так уж стара — ей и тридцати пяти не было. Она получит массу денег, отдохнет и посвежеет. А там, смотришь, и замуж выскочит.

— Милая! Милая! Давайте целоваться! Знаете, у вас даже лицо совсем другое стало. Честное слово! Вот посмотрите в зеркало.

Я посмотрела.

Действительно, совсем другое.

А какое — не скажу.

КОГДА РАК СВИСТНУЛ

Рождественский ужас

Елка догорела, гости разъехались.

Маленький Петя Жаботыкин старательно выдирал мочальный хвост у новой лошадки и прислушивался к разговору родителей, убиравших бусы и звезды, чтобы припрятать их до будущего года. А разговор был интересный.

— Последний раз делаю елку,— говорил папа-Жаботыкин.— Один расход, и удовольствия никакого.

— Я думала, твой отец пришлет нам что-нибудь к празднику,— вставила maman-Жаботыкина.

— Да, черта с два! Пришлет, когда рак свистнет.

— А я думал, что он мне живую лошадку подарит,— поднял голову Петя.

— Да, черта с два! Когда рак свистнет.

Папа сидел, широко расставив ноги и опустив голову. Усы у него повисли, словно мокрые, бараньи глаза уныло уставились в одну точку.

Петя взглянул на отца и решил, что сейчас можно безопасно с ним побеседовать.

— Папа, отчего рак?

— Гм?

— Когда рак свистнет — тогда, значит, все будет?

— Гм!..

— А когда он свистнет?

Отец уже собрался было ответить откровенно на вопрос сына, но, вспомнив, что долг отца быть строгим, дал Пете легонький подзатыльник и сказал:

— Пошел спать, поросенок!

Петя спать пошел, но думать про рака не перестал. Напротив, мысль эта так засела у него в голове, что вся остальная жизнь утратила всякий интерес. Лошадки стояли с невыдранными хвостами, из заводного сол-

дата пружина осталась невыломанной, в паяце пищалка сидела на своем месте — под ложечкой,— словом, всюду мерзость запустения. Потому что хозяину было не до этой ерунды. Он ходил и раздумывал, как бы так сделать, чтобы рак поскорее свистнул.

Пошел на кухню, посоветовался с кухаркой Секлетиньей. Она сказала:

— Не свистит, потому что у него губов нетути. Как губу наростит, так и свистнет.

Больше ни она, ни кто-либо другой ничего объяснить не могли.

Стал Петя расти, стал больше задумываться.

— Почему-нибудь да говорят же, что коли свистнет, так все и исполнится, чего хочешь.

Если бы рачий свист был только символ невозможности, то почему же не говорят: «Когда слон полетит» или «Когда корова зачирикает». Нет! Здесь чувствуется глубокая народная мудрость. Этого дела так оставить нельзя. Рак свистнуть не может, потому что у него и легких-то нету. Пусть так! Но неужели же не может наука воздействовать на рачий организм и путем подбора и различных влияний заставить его обзавестись легкими.

Всю свою жизнь посвятил он этому вопросу. Занимался оккультизмом, чтобы уяснить себе мистическую связь между рачьим свистом и человеческим счастьем. Изучал строение рака, его жизнь, нравы, происхождение и возможности.

Женился, но счастлив не был. Он ненавидел жену за то, что она дышала легкими, которых у рака не было. Развелся с женой и всю остальную жизнь служил идее.

Умирая, сказал сыну:

— Сын мой! Слушайся моего завета. Работай для счастья ближних твоих. Изучай рачье телосложение, следи за раком, заставь его, мерзавца, изменить свою натуру. Оккультные науки открыли мне, что с каждым рачьим свистом будет исполняться одно из самых горячих и искренних человеческих желаний. Можешь ли ты теперь думать о чем-либо, кроме этого свиста, если ты не подлец? Близорукие людишки строят больницы и думают, что облагодетельствовали ближних. Конечно, это легче, чем изменить натуру рака. Но мы, мы — Жаботыкины, из поколения в поколение будем работать и добьемся своего!

Когда он умер, сын взял на себя продолжение отцовского дела. Над этим же работал и правнук его, а праправнук, находя, что в России трудно заниматься серьезной научной работой, переехал в Америку. Американцы не любят длинных имен и скоро перекрестили Жаботыкина в мистера Джеба, и, таким образом, эта славная линия совсем затерялась и скрылась от внимания русских родственников.

Прошло много, очень много лет. Многое на свете изменилось, но степень счастья человеческого осталась ровно в том же положении, в каком была в тот день, когда Петя Жаботыкин, выдирая у лошадки мочальный хвост, спрашивал:

— Папа, отчего рак?

По-прежнему люди желали больше, чем получали, и по-прежнему сгорали в своих несбыточных желаниях и мучились.

Но вот стало появляться в газетах странное воззвание:

«Люди! Готовьтесь! Труды многих поколений движутся к концу! Акционерное общество «Мистер Джеб энд компани» объявляет, что 25-го декабря сего года в первый раз свистнет рак и исполнится самое горячее желание каждого из ста человек (1%). Готовьтесь!»

Сначала люди не придавали большого значения этому объявлению. «Вот, думали, верно, какое-нибудь мошенничество. Какая-то американская фирма чудеса обещает, а все сведется к тому, чтобы прорекламировать новую ваксу. Знаем мы их!»

Но чем ближе подступал обещанный срок, тем чаще стали призадумываться над американской затеей, покачивали головой и высказывались надвое.

А когда новость подхватили газеты и поместили портрет великого изобретателя и снимок с его лаборатории во всех разрезах — никто уже не боялся признаться, что верит в грядущее чудо.

Вскоре появилось и изображение рака, который обещал свистнуть. Он был скорее похож на станового пристава из Юго-Западного края, чем на животное хладнокровное. Выпученные глаза, лихие усы, выражение лица бравое. Одет он был в какую-то вязаную куртку со шнурками, а хвост не то был спрятан в какую-то вату, не то его и вовсе не было.

Изображение это пользовалось большой популярностью. Его отпечатывали и на почтовых открытках, рас-

крашенное в самые фантастические цвета — зеленый с голубыми глазами, лиловый в золотых блестках и т. д. Новая рябиновая водка носила ярлык с его портретом. Новый русский дирижабль имел его форму и пятился назад. Ни одна уважающая себя дама не позволяла себе надеть шляпу без рачьих клешней на гарнировке.

Осенью компания «Мистер Джеб энд компани» выпустила первые акции, которые так быстро пошли в гору, что самые солидные биржевые «зайцы» стали говорить о них почтительным шепотом.

Время шло, бежало, летело. В начале октября сорок две граммофонные фирмы выслали в Америку своих представителей, чтобы записать и обнародовать по всему миру первый рачий свист.

25-го декабря утром никто не заспался. Многие даже не ложились, высчитывая и споря, через сколько секунд может на нашем меридиане воздействовать свист, раздавшийся в Америке. Одни говорили, что для этого пойдет времени не больше, чем для электрической передачи. Другие кричали, что астральный ток быстрее электрического, а так как здесь дело идет, конечно, об астральном токе, а не о каком-нибудь другом, то — и так далее.

С восьми часов утра улицы кишели народом. Конные городовые благодушно наседали на публику лошадиными задами, а публика радостно гудела и ждала.

Объявлено было, что тотчас по получении первой телеграммы дан будет пушечный выстрел.

Ждали, волновались. Восторженная молодежь громко ликовала, строя лучезарные планы. Скептики кряхтели и советовали лучше идти домой и позавтракать, потому что, само собой разумеется, ровно ничего не будет и дураков валять довольно глупо.

Ровно в два часа раздался ясный и гулкий пушечный выстрел, и в ответ ему ахнули тысячи радостных вздохов.

Но тут произошло что-то странное, непредвиденное, необычное, что-то такое, в чем никто не смог и не захотел увидеть звена сковывавшей всех цепи: какой-то высокий толстый полковник вдруг стал как-то странно надуваться, точно нарочно; он весь разбух, слился в продолговатый шар; вот затрещало пальто, треснул шов на спине, и, словно радуясь, что преодолел неприятное препятствие, полковник звонко лопнул и разлетелся брызгами во все стороны.

Толпа шарахнулась. Многие, взвизгнув, бросились бежать.

— Что такое? Что же это?

Бледный солдатик, криво улыбаясь трясущимися губами, почесал за ухом и махнул рукой:

— Вяжи, ребята! Мой грех! Я ему пожелал: «Чтоб те лопнуть!»

Но никто не слушал и не трогал его, потому что все в ужасе смотрели на дико визжавшую длинную старуху в лисьей ротонде; она вдруг закружилась и на глазах у всех словно юркнула в землю.

— Провалилась, подлая! — напутственно прошамкали чьи-то губы.

Безумная паника охватила толпу. Бежали, сами не зная куда, опрокидывая и топча друг друга. Слышался предсмертный храп двух баб, подавившихся собственными языками, а над ними громкий вой старика:

— Бейте меня, православные! Моя волюшка в энтих бабах дохнет.

Жуткая ночь сменила кошмарный вечер. Никто не спал. Вспоминали собственные черные желания и ждали исполнения над собой чужих желаний.

Люди гибли, как мухи. В целом свете только одна какая-то девочка в Северной Гвинее выиграла от рачьего свиста: у нее прошел насморк по желанию тетки, которой она надоела беспрерывным чиханьем. Все остальные добрые желания (если только они были) оказались слишком вялыми и холодными, чтобы рак мог насвистать их исполнение.

Человечество быстрыми шагами шло к гибели и погибло бы окончательно, если бы не жадность «Мистера Джеба энд компани», которые, желая еще больше вздуть свои акции, переутомили рака, понуждая его к непосильному свисту электрическим раздражением и специальными пилюлями.

Рак сдох.

На могильном памятнике его (работы знаменитого скульптора по премированной модели) напечатана надпись:

«Здесь покоится свистнувший экземпляр рака — собственность «Мистера Джеба энд компани», утоливший души человеческие и насытивший пламеннейшие их желания.

— Не просыпайся!»

ЛЕСНАЯ ИДИЛЛИЯ

Вдали на городской колокольне звякнул четыре раза медный звук, приостановился и загудел медленно еще шесть раз.

Это значило, что истекли все четыре четверти часа и наступило ровно шесть.

В лесу, на маленькой круглой полянке диаметром в три шага, идут вечерние приготовления.

Что-то копошится и шелестит между корнями старой липы. Быстро шмыгнула вверх пушисто-яркая, красноватая метелка, притихла на высокой ветке, повернулась, блеснули две внимательные пуговки, и снова взметнулась метелка вверх и исчезла.

Вдруг зашуршала верхушка сосны, и какая-то птица прокричала хриплым озабоченным голосом три раза одну и ту же фразу. Начала в четвертый раз, сбилась, сконфузилась и замолчала.

Но это не я виновата, что она сбилась. Я не могла испугать ее. Я лежу совсем тихо и не шевелюсь уже давно, так давно, что даже перестала чувствовать боль от шершавой коры соснового корня, на который опираюсь плечом.

Многие здесь уже привыкли ко мне: маленький червячок-землемер, грациозно взвиваясь и снова опускаясь, мерит своим зеленым телом длину моей руки. Два рыжих муравья, похожих на бретонских крестьянок, в сборчатых юбках с перетянутыми талиями, задумались над бахромой моего пояса, ждут, чтобы указал им мудрый инстинкт, как приспособить эту хитрую штуку на муравьиную пользу и славу.

Я не шевелюсь, не хочу мешать. Поднимаю глаза, вижу растрескавшуюся кору, одноцветную издали и всю пеструю, всю в чешуйках, в пушинках, в шелушинках, если смотреть на нее вот так, прижавшись к ней щекой.

В одной из трещин живет какая-то зеленая точка, дышит — не дышит, чуть шевелится, видно, что только о том и думает, как бы не умереть, как бы сохранить подольше свою такую важную, такую значительную, такую необходимую для всего мироздания жизнь.

Мне делается страшно за нее, я опускаю глаза.

Внизу, у самых корней, деловой сознательной походкой идет жук. У него, наверное, серьезное дело. На спине у жука лежит соломинка.

Знает он об этом или нет? Несет он ее к себе домой, или она случайно прилипла ему к спине, и он понять не может, отчего ему целый день поясницу ломит?

Я решаюсь. Тихонько протягиваю руку, снимаю соломинку. Жук мгновенно подвертывает ноги и притворяется мертвым. Я, чтобы успокоить его, тоже притворяюсь мертвой.

Когда жук убеждается, что надул меня, он снова отправляется по своим делам, серьезный и озабоченный.

Червячок-землемер дополз до моего локтя, призадумался, взвился гибким зеленым тельцем и пополз назад. Видно, сбился со счета и решил сделать поверку.

Четыре... пять... семь...— помогаю я ему.— Перемерим, запишем, будем знать, сколько в земле места приготовить. Нужно, чтобы на всех хватило... десять... одиннадцать...

Шевельнулось что-то между стволами, там, где начинаются первые ветки. Что-то прыгнуло яркое и радостное. Это там, за лесом, зажгло солнце свой алый фонарик и отбросило прожектором живой дымящийся столб.

Загорелись сухим огнем красностволые сосны, закружевились прозрачно кусты.

И вдруг с легким шорохом вбежал на полянку зверек.

У него была острая звериная мордочка и острые звериные ушки, но глаза, суетливые и печальные, были не лесные и не звериные.

Зверек повернулся боком, поднял ушки, прислушался. Робко дрожала приподнятая передняя лапка, а на спине дрожал привязанный к шее нелепый лиловый бант.

Послышался шорох и треск тяжелых шагов. За зверьком шли большие звери, дышали громко и вышли на полянку.

Их было два.

Впереди — покрупнее, похожий на большого кота, в сером костюме и клетчатых штанах. Позади — нечто вроде пуделя в юбке, пелерине, шляпке с кукушечьим пером и корзиночкой у локтя.

Звери остановились, посопели носами на сосны, на липы, на дымно-розовый огонь солнца, и первый из них сказал на человеческом немецком языке:

— Здесь.

Разостлали платок, сели.

Маленький зверек с лиловым бантом забегал кругом, заюлил, залебезил и сказал большим зверям и глазами, и боками, и ушами, и хвостом, что он весь на их стороне, что не переманит его к себе ни дымный огонь, ни зеленый цвет, ни то, что шелестит наверху, ни то, что шуршит внизу. Ни до чего ему дела нет. Всё — дрянь, мелочь и ерунда,— вам служу и вам удивляюсь.

Пуделиха поставила на землю корзинку.

Три муравья сейчас же принялись изучать это новое явление природы, обнюхивали, обсуждали, как быть.

Пуделиха зашуршала бумагой, вытащила бутерброды с ветчиной, один дала коту, другой сунула себе в рот.

У обоих глаза сделались сразу удивленно-круглые. Закатный алый огонь осветил сетчатые красные жилки их тупо блестящих зрачков, а маленький зверек с лиловым бантом задрожал всей грудью от сдержанного жадного визга.

— Молчи! — сказала пуделиха.— Сначала мы будем кушать, а потом и тебе дадим полопать.

Они жевали долго, уставив глаза в одну точку, чавкали громко и строго, так что вернувшийся с деловой прогулки жук на всякий случай притворился на минутку мертвым.

Они жевали и молчали, и все замерло кругом, даже розовые пылинки в дымном солнечном столбе чуть дрожали, не кружась и не взвиваясь. Все застыло, и только торжественно и властно два жирных рта свершали жертвоприношение.

Картина была мистически-жуткая. Я видела, как тонкая, стеблистая травинка с пухом на маковке задрожала робко и поникла.

— Смилуйтесь над нами!

Я закрыла глаза...

— Ну-с, а теперь ты будешь лопать, потому что мы уже покушали.

Пуделиха вынула плошечку и налила из бутылки жиденького молока.

Зверек с бантом, высунув сбоку розовый дрожащий язычок, стал лакать деликатно и благодарно.

А большие звери, тяжело дыша, водили глазами по притихшим кружевным кустам, по огнистым стволам, по нежно-шелковым травам, а когда повернули глаза

к дымному столбу заката, загорелись они прозрачно и льдисто, как драгоценные камни, и остановились.

Что скажут они теперь?

Вот дрогнули глаза, прищурились. Маленькая быстрая молния мелькнула между ресницами. Это — мысль.

Да, я угадала. Это — мысль.

Кот сказал:

— Майер скоро купит аптеку.

После слов этих сразу стало так тихо, словно даже муравьи притаили дыхание.

Слушал лес, слушали звери, трава, солнце, древесные ползуны, небесные птицы, и маленький червячок-землемер взвился и застыл зеленым вопросительным знаком.

Слушали, как свершается недоступное, непостижимое,— как мыслит и говорит человек.

Дрожал зверек с лиловым бантом и тихо, подавленно визжал, исходя любовью, восторгом и преданностью.

Тише... Тише... Слушай, земля!..

— Майер скоро купит аптеку.

П. П. ПОТЕМКИН

НЕКОТОРЫЕ ЖЕЛАНИЯ КУЗИНЫ МОЕЙ НЮРЫ

Нюра, пылкость обнаружа,
    Хочет мужа,
    Но какого?!
    Льва Толстого!
Чтоб он был умен и славен,
Чтоб богам был славой равен,
Чтоб громил он казни гневно,
Чтоб пахал он ежедневно,
Чтоб был с блудом незнаком,
Чтоб ходил он босиком,
Чтоб он был мирам кумир,
Написав «Войну и мир»,
Принимал корреспондентов,
Чтоб ругал он декадентов,
Чтобы блузу он носил,
Рыбу с Репиным ловил,
Чтоб в церквах он проклинался,
Чтобы злу не противлялся,
Чтоб он сделал другом дома
Сергеенку с Тенеромо...
Но совсем не хочет Нюра
(И у ней губа не дура),
Чтоб Толстой был слаб и сед,
И восьмидесяти лет,
И чтоб ныне и доныне
Он женат был на графине.

У ДВОРЦА

Когда весной разводят
Дворцовый мост — не зря
Гулять тогда выходят
Под вечер писаря.

Штаны у них раструбом,
Штиблеты — чистый лак,
Идут, сверкая зубом,
Хихикая в кулак.
За сизо-серой мглою
Заглох закатный луч,
За крепостной иглою
Гора лиловых туч.
Чуть веет невской влагой...
В предчувствии конца
Идут они с отвагой
Улавливать сердца.
И слышно издалече
По звонким голосам,
Как рад условной встрече
Цветник влюбленных дам.
Пуховые платочки
Посбились вкривь и вкось...
Без дум, без проволочки
Гулянье началось.
До Прачечного моста
Дойдут и повернут —
Одну обнимут просто,
Другую ущипнут.
В стыдливости невинной
Зажмурилась заря...
По набережной чинно
Гуляют писаря.

В. С. ЛИХАЧЕВ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Гремит, гремит затвор,
Другой и третий:
Скорее на простор
Из тесной клети!
С дороги, стража тьмы!
Ты солнце застишь...
Свободным из тюрьмы
Ворота настежь!

Но жизнь уж нам сулит
Иные клети,
И уж затвор гремит,
Другой и третий...
Мечта, из сердца прочь!
Ты правду застишь!
В тюрьму и день и ночь
Ворота настежь.

А. С. БУХОВ

ЧТО Я НАПИСАЛ БЫ, ЕСЛИ БЫ ОН УМЕР

Ты в жизни шел походкой робкой,
Не видя часто в ней ни зги.
Под черепной твоей коробкой
Лежали мертвые мозги.
А жизнь-то вся, как на бумаге,
До заключительной строки:
Ни героической отваги,
Ни созидающей тоски...
На «нет» — ты отвечал: «не надо»,
На крик,— согнувшись в три дуги,
С улыбкой ласкового гада
Лизал послушно сапоги.
Любовь считал пустой затеей
И убежденья — пустяком,
Ища свой хлеб и лбом и шеей,
На четвереньках и ползком.
Одет хоть скромно, но прилично
(Где надо — смокинг, где — сюртук),
Ты жил ведь, собственно, отлично
Проворством языка и рук.
Вот умер... Что ж... Мы все там будем...
Мы все свершим загробный путь:
Когда-нибудь да надо людям
От скучных будней отдохнуть...
Но я хотел бы для порядка
Тебе в могилу кол вогнать:
Боюсь, тебе там станет гадко
И ты вернешься к нам опять...

ВСПОМНИТЕ!

Юбилейное

Много вас, в провинциальной тине
Утопивших грустно имена,
Все еще питается доныне
Распыленным прахом Щедрина.
Много вас, с повадкой хитрой, волчьей,
Под цензурным крепким колпаком
Подбирает капли едкой желчи,
Оброненной умным стариком.
Ваш читатель ласковей и проще,
Чем у нас,— он любит простоту,
Но устал: от гласных и от тещи
И от нравов граждан Тимбукту...
Знаю я, когда сосед — Европа,
Тяжело перо переломить,
Между строчек с запахом Эзопа
Щедриным исправника громить...
Тяжело потертые словечки
Доставать из пожелтевших книг,
Старый смех топить в газетной речке,
Потеряв свой собственный язык.
Так-то так... А все-таки берете,
В тине душ бессилье затая:
Щедриным, друзья мои, живете,
Щедриным питаетесь, друзья...
Мы — рабы одной каменоломни,
Что зовется — русская печать,
И теперь одно лишь слово — вспомни! —
Мне собрату хочется сказать...
Вспомни, брат, того, кто нам когда-то
Дал слова, какие знал один...
. . . .
И услышу отповедь собрата:
«Что пристал? Я сам себе — Щедрин».

ГРОМООТВОД

I

Я страшно не люблю отупевших, нелюбознательных людей, для которых все, выходящее из тесного круга их профессиональных интересов, тупо, мертво и не-

нужно, и слушать около двух часов хорошо продуманный, небездоказательный рассказ о том, что если бы местное мясо перевезти на гамбургскую биржу, то будет известное колебание цен, я не мог.

Поэтому-то я встал и вместо задуманных двенадцати часов, которые свободно можно было растянуть до двух, ушел в восемь часов вечера, полный презрения к этому черствому, мучительно-спокойному человеку, которого слепой случай, и ничто другое, натолкнул сделаться отцом Нины.

Отправляясь к Улитиным, я обычно распределял время так:

Разговор в передней (полушепотом) с Ниной о том, как ловким движением проскользнуть из столовой в ее комнату.

Разговор за чаем с папой о поднятии нефтяной промышленности в Гренландии.

Легкое припоминание папы вчерашних биржевых цен.

Вынужденный спор о том, нужно ли уходить домой после чая сразу или оставаться.

Мамин рассказ о разбитой сегодня миске и об общем огрубении прислуги.

И все же, несмотря на такое явно несправедливое распределение моего рабочего времени у Улитиных, в рубрику пребывания с Ниной вдвоем я мог вставить свободно два или три часа, изредка прерываемых приходом дорогого папы, с рассказом о том, что узкоколейные дороги, видимо, переживают сильный кризис и что его знакомый инженер совершенно тождественного с ним мнения.

Иногда предполагаемый распорядок круто менялся, и вместо того, чтобы отпустить нас с Ниной отдышаться от очередного рассказа о неудачных операциях сибирского банка, папа садился поудобнее в кресло и читал нам вслух, сопровождая ценными и не без известной насмешливости замечаниями отчет местного общества борьбы с бугорчаткой.

Нина с трагической улыбкой кивала в такт чтецу головой и бессильно смахивала крупные набегающие слезы. Я смотрел в окно на заснувшего извозчика с таким бешеным вниманием, как будто бы и он, и его лошадь были теми только что найденными существами, с которыми я хотел навеки соединить свою одинокую, полную разочарований жизнь.

Я понимал, что дальше идти было некуда. Оставалось только одно — чтобы Нина совсем уходила из дому, заметив мое приближение, а я сам настолько увлекся бы прелестями доброго папы как рассказчика и популяризатора экономических доктрин, что тут же очертя голову сделал ему предложение.

Поэтому-то я и пошел к Лухину.

— Видишь ли,— задумчиво произнес Лухин,— я, собственно, не знаю, чем я тебе здесь могу быть полезен. Если ты хочешь предложить убрать этого человека, я не согласился бы. Ты прекрасно знаешь, что моим очередным делам и литературным связям сильно помешала бы бессрочная каторга... Не меньше помешала бы и заранее обусловленная сроком, если бы я просто поджег дом Улитиных и заставил бы старика пережить настолько сильное ощущение, чтобы он или онемел, или просто настолько обгорел, что твои взаимоотношения с ним свелись бы исключительно к переговорам с бюро похоронных процессий...

— Делай что знаешь,— уныло простонал я,— только помни... Пойдем со мной к Улитиным. Я хоть один вечер поговорю с Ниной, а ты в то время будешь говорить с папой... Говори о чем хочешь. Захвати сборник тригонометрических задач на конкурс, заучи наизусть несколько технических названий — только займи ты этого зверя... Наговори обо мне кучу лестных вещей, и я тебя озолочу...

— Озолоти, пожалуй... Мне все равно,— равнодушно заметил Лухин,— только как же тебя расхваливать...

— Ну, как, как... Конечно, не настаивай на том, что я могу приподнять одной рукой восемь пудов, что из меня мог бы выйти превосходный станционный жандарм или что в моем лице русские фальшивомонетчики потеряли достойного теоретика... Что хочешь говори, только будь этим, как его... громоотводом...

Лухину, по-видимому, сильно понравилась эта незатейливая роль, и он скоро согласился.

— Идем. Буду. Весь заряд электричества приму сюда.— Он показал на то место, между грудью и желудком, куда, по его мнению, всякий добросовестный громоотвод прячет получаемое им электричество.

Когда мы проходили мимо одного знакомого ресторана по пути к Улитиным, Лухин толкнул меня в плечо и подмигнул на вход.

— Ну?.. Как это говорится: громоотвод плавать любит...

— В первый раз,— скромно возразил я,— слышу о таких свойствах этого незатейливого прибора. Если уж очень хочешь, зайдем.

Плавал громоотвод с искусством опытнейшего спортсмена — до десяти часов вечера.

II

В начале одиннадцатого, когда папа уже собирался начать очередной вечерний рассказ о том, что он видел сегодня во время послеобеденного сна, мы пошли к Улитиным.

Только что представленный, Лухин сразу почувствовал себя душой общества, человеком, находящимся в дружеском семейном кругу.

— А... папа! Знаменитый папа! — весело закричал он, игриво похлопав Улитина по животу,— веселый рассказчик! Ну-ка, а расскажите об аргентинском экспорте сала? А? Не знаете?.. Здорово...

И, весело икнув от неприлично застрявшей в горле ресторанной осетрины, Лухин продолжал смотреть на моего смущенного врага с доброй, но слегка вызывающей улыбкой.

— А Мишка,— и он ткнул меня пальцем,— все рассказывал о вас... Сядет, говорит, за стол и рассказывает... Часа три битых говорит... И политика, и малитика, и история-кистория...

У меня беспомощно опустились руки. Папа Улитин сумрачно рассматривал обои, мало поддаваясь жизнерадостному настроению Лухина.

Почувствовав себя окончательно хозяином положения, тот шагнул, прибегая к поддержке незатейливой улитинской мебели, и обратился к Нине.

— Вот она... Богиня моего друга... Чай, хочется пойти поворковать друг с другом... Обняться, поцеловаться, сладким словом обмолвиться... Смотрит на нас и думает: посидели бы вы здесь, старые дураки, поговорили бы друг с другом, а мы бы уж нашли что делать... Старые, мол, вы идиоты...

— Извините,— сухо произнес обескураженный папа,— мне кажется...

— Да чего уж там кажется,— весело махнул рукой

Лухин,— почему кажется... Старые мы с вами для них... Никудышные ослы.

— Мне думается, что ты немного,— попробовал я робко втереться в лухинский монолог,— что ты...

— Ну что — что ты, что я, что мы...— презрительно-ласково кинул Лухин,— тоже нюня... Другой бы взял девушку за руку, отвел бы в комнату, переговорил, что надо... А ты что олухом стоишь... Жених... Мы уж здесь папашкой займемся...

— Виноват,— холодно произнес Улитин,— кто здесь папашка, кто жених... Видите ли...

— Как — кто папашка,— фыркнул, затрясясь от смеха, Лухин,— да разве кто сомневался... Или был грешок.— И он весело кивнул на одинокую маму, застрявшую в портьере.

— Это что же-с,— вдруг сорвался с места папа,— это вы кого же привели сюда... Это...

— Сам пришел,— деловито заметил Лухин,— дай, думаю, выручу приятеля, сам бывал в таких положениях: придешь, а папочка с мамочкой слова сказать не дадут...

— Лухин,— жалобно простонал я,— Лухин...

— Ну что — Лухин, Лухин,— огрызнулся Лухин и вдруг, взглянув на меня с непонятным чувством возмущения, обратился к Нине,— то есть это, я вам скажу, черт знает что... Стоит — слюни распустил. В кабаке — душа нараспашку: чуть что — стаканы бить... Женщины из комнаты не выходят, а здесь тюря такая... Распустился...

Ниночка густо покраснела и, упав на стул, заплакала горячо и надолго. Папа потянулся к звонку...

Когда мы вышли, отнесясь презрительно к устаревшему институту прощания, Лухин уже на улице вдруг обнял меня в приливе какого-то радостного сознания хорошо сделанного дела и, засмеявшись, спросил:

— А ну, видел, как надо держаться с этими людьми? Сознайся сам, будет он теперь с тобой разговаривать по три часа подряд?

— Не будет,— глухо подтвердил я, чувствуя лухинскую правоту,— теперь не будет...

— То-то... А ты — громоотвод, громоотвод,— весело проговорил Лухин,— вот, брат, как надо делать... Да ты, кажется, сердишься? Вот чудак...

МУЧЕНИКИ

Ни с одним из физических недостатков люди так неохотно мирятся, как с толщиной.

Человек, лишившийся ноги, быстро привыкает к своей деревяшке, и, если бы в один странный день у него неожиданно выросла свежая нога, он, наверное, был бы не только удивлен, но даже немного обижен.

— Ишь ты... лезет... Нашла когда...— с укором обратился бы он к ноге,— подумаешь, цаца какая...

Человек с оторванным ухом просто забывает о нем и очень сухо принимает все сожаления окружающих.

— На мой век и одного хватит. У рыбы совсем нет, а подите приступитесь к ней. Осетрина — три рубля фунт, а в фунте и смотреть нечего. Кожа да жир...

Толстяки, наоборот, вечные мученики.

* * *

Узнав в одно из хмурых утр, что необходимая часть туалета решительно отказывается обхватить бренное тело и уныло напоминает о полноте тех лет, когда обладатель тела бегал за голубями и играл в бабки,— толстеющий человек с омраченным лицом начинает допытываться у близких:

— Я, кажется, немножко того... Толстею...

Близкий близкому волк. Обрадовавшись случаю сказать что-нибудь неприятное, он всматривается в фигуру и лицо спрашивающего и с нескрываемым восторгом делится свежими впечатлениями.

— Здорово, брат... Вовсю расползаешься...

— Неужели вовсю? — унылым эхом переспрашивает несчастный.

— Еще бы. Самому пора знать. Третий подбородок растет.

— А хоть четвертый,— обижается толстеющий человек,— не твой, кажется... Я своими подбородками никому жить не мешаю, а ты своим кашлем...

— Кто кашляет, а кто живот растит,— обижается близкий и змеино добавляет: — Смотри, перед Пасхой в деревню не уезжай — заколют.

Жизнь толстеющего человека уже отравлена.

* * *

В тот же вечер, когда все уйдут или разбредутся спать, он останавливается перед зеркалом и мрачно смотрит на холодное стекло, уныло и покорно рассказывающее всю безвыходную правду: и о двух лишних подбородках, и об апоплексической багровой складке на шее, и о фигуре, отгоняющей мысль об изящно сшитой визитке.

— Надо лечиться,— проносится тяжелая каменная и остроугольная мысль и тут же претворяется в мучительный вопрос — чем?

Можно меньше есть. Во время обеда ложиться спать, просыпаться после завтрака. Тогда будет толщина от сна. Можно, наоборот, меньше спать. Больше ходить, даже побегать иногда. В этих случаях очень хочется есть. Тогда будет толщина от усиленного питания.

Обычно избирается третий путь: *гимнастика.* А так как установка в столовой барьеров или шестов в спальне вызвала бы массу нареканий со стороны домашних, выбирается самый безобидный по своему размаху вид гимнастики: гири.

Толстый человек покупает четыре больших гири и начинает с утра поднимать каждую из них, изредка опуская их на пол.

Снизу прибегает кухарка и заявляет, что у ее господ хворает ребенок, который не может спать, если сверху бьют по потолку тяжелой гирей.

— Шесть месяцев всего, вот и не привыкши,— поясняет она, оправдывая свое появление.

Толстый человек конфузится и просит извинения.

— Емнастикой занимается,— доносятся до него из кухни переговоры двух кухарок, верхней собственной и нижней чужой,— брюхо разъел, видишь, так теперь жир вытряхает...

— Ишь черти,— реагирует чужая кухарка,— обожрутся, а потом безобразят...

Занятия с гирями приходится или отложить, или подымать их над постелью, которая за какие-нибудь три-четыре часа начинает быстро и шумно ломаться.

* * *

Через несколько дней, взвесившись на поломанном автомате, толстый человек весело вбегает в столовую и радостно делится с домашними:

— А я на три фунта сбавил... Здорово...

Домашние относятся всегда и ко всему сухо.

— Должно быть, потеря веса пришлась на долю головы,— сухо догадывается один из слушателей.

— Да я не шучу... Право, три фунта.

— Ты что, в жокеи, что ли, собираешься?

— Вот вы все смеетесь... А я к весне фунтов одиннадцать спущу...

— Ну, тогда тебе есть прямой расчет идти в балет...

Толстый человек обиженно уходит в свою комнату и, притворив двери, начинает высчитывать на бумажке количество сбавленных в будущем фунтов.

— К апрелю — четыре. К июлю всего, значит, тринадцать... К сентябрю еще два.

В конце вычисления получается, что к августу будущего года он станет совсем невесомым, вопреки основным законам природы. Это действует неприятно на воображение.

* * *

Толстый человек не имеет права страдать.

У худого человека это выходит просто. В большой людной комнате он становится где-нибудь в стороне, прислоняется к стене и надолго замолкает. И по тому, как висит на нем невыглаженный смокинг, и по глубоким синим ямам на щеках, и по костлявым пальцам все понимают, что он или безнадежно влюблен, или безвозвратно проигрался на бегах и четыре дня не был дома.

Его не беспокоят вопросами и первому подносят раскрытую коробку с дешевыми шоколадными конфетками, которыми принято угощать гостей в богатых домах.

Толстый человек не может этого сделать.

Если он задумчиво облокотится на кресло, оно медленно поедет на своих колесиках по полу. Если он встанет у стены, фигура его крупным и сочным пятном на светлом фоне обоев подчеркнет свою расплывчатость.

Он неминуемо должен опуститься на стул; сразу, как опытный пловец, выныривает из-под воротничка лишний подбородок, шея утолщается, и весь он приобретает вид случайного мешка с картофелем.

Сочувствия он не вызывает ни в ком; сочувствие

успешно заменяет только покровительственное отношение окружающих, когда все перейдут в столовую.

— Я и забыла, что вам мучное вредно...— приветливо бросает хозяйка, отодвигая от него вкусный сливочный торт, в котором мука только по краям, да и та попавшая сюда случайно со сдобного печенья, стоявшего рядом.

Да какой-нибудь гость развязно выхватывает у него бутылку рома, подмигивая и улыбаясь:

— Рому захотел... Да для вас это яд синильный... От спиртного пухнут...

А если толстый человек окончательно захандрит и, тяжело вздохнув, замолчит и уставится глазами в угол, никто не подойдет к нему с таким же чувством, как к худому.

Только тот же развязный гость похлопает по плечу и снова оповестит окружающих:

— Переел наш Арсений Никитич...

* * *

Никто не поверит, что толстые, неповоротливые люди с большими животами и розовыми отвислыми щеками пишут любовные письма, сочиняют стихи о северных девушках и газелях или мрачно ходят по два часа около какого-нибудь магазина, уныло дожидаясь знакомого стука высоких каблучков.

Женщины о них говорят неопределенно.

— Всего человек одиннадцать было. Четыре дамы, семь мужчин и Лыкатов.

— Это какой Лыкатов? Адвокат?

— Нет, так. Толстый такой...

Единственно, кто относится к толстым людям с громадным почтением и нескрываемой завистью, это дети.

Увидев у себя дома незнакомого толстого человека, какая-нибудь пятилетняя кукла со светлыми косицами и необъятными глазами как вкопанная останавливается у дверей и не решается идти дальше.

— Иди, иди, Нюта... Дай дяде ручку...

Нюта бесповоротно и отрицательно качает головой, сосредоточенно о чем-то думает и внезапно обращается к толстому гостю:

— А я знаю, почему ты такой...

— Какой? — нерешительно спрашивает толстый человек, не ожидающий ничего доброго и лестного.

— Такой,— несмотря на хмурые взгляды обеспокоенных родителей, показывает Нюта пухлыми лапами, раскидывая их, насколько возможно, в стороны.

И, не дожидаясь повторного вопроса, Нюта высказывает тут же свои соображения:

— Потому что ты бабушку съел. Мне нянька говорила. Она старая, а старые не врут.

Толстому человеку вообще очень тяжело.

ШАБЛОННЫЙ МУЖЧИНА

Когда все столпились в передней и стали искать калоши, я воспользовался случаем и, наскоро попрощавшись с кем-то из незнакомых гостей, вышел на лестницу.

— Арсений Петрович... Вы куда? Нет, нет... Так нельзя.

Я оглянулся и почувствовал, что рабочая ночь пропала.

— Нет уж, вы кого-нибудь проводите,— мило улыбнулась хозяйка,— хотите Нюрочку?..

— Пожалуйста,— кисло сказал я,— дайте Нюрочку.

— Анну Петровну,— поправил чей-то мужской голос сбоку,— разрешите представить: моя жена Анна Петровна... Я, видите ли, остаюсь в банчок смазаться, а уж если вы будете так добры...

Анна Петровна окинула меня быстрым взглядом, всунула в капор голову и лизнула хозяйку в губы.

— Едемте... Как вас... Арсеньев?

— Арсений Петрович,— сдержанно ответил я,— Саламин.

— Это что такое — Саламин?

— Фамилия моя,— сухо ответил я,— Арсений Петрович.

— Ах да, да... Мне о вас говорила Катя. Это у вас жена в тифе лежит? Как жалко...

— Нет. Благодарю вас. Я не женат.

— Вы настройщик? Да? Мне Катя тоже говорила.

— Врет ваша Катя,— холодно возразил я,— я журналист.

— Ах вот как... Это интересно... Стихи пишете?..

На улице не было ни одного извозчика, и мы пошли пешком. Анна Петровна шла, опираясь на мою руку.

— Удивительные эти мужчины,— говорила она, смеясь,— вот сейчас видели эту толстую даму в бархатном? Нет? Ну, вот которая мне о своей квартире рассказывала... Она сейчас хотела, чтобы ее кто-нибудь проводил,— так ведь никто не согласился... А нам, у которых рожица смазливая, стоит только захотеть, и все побегут... Вот вы, например, пошли бы ее провожать?..

— А где она живет, эта ваша дама?

— Да вот тут за углом...

— Пошел бы,— сурово ответил я,— тут недалеко... Мне еще работать надо...

— Ну да, пошли бы,— снова засмеялась Анна Петровна,— это вы просто чтобы меня заинтриговать говорите... Старый приемчик, милый мой... Я опытная... А меня так с удовольствием... И в другую сторону от дома пошли... Верно?

— В другую,— с тихим сожалением сказал я,— верст шесть от меня будет...

— Ну, вот видите... Для меня так и шесть верст пустяки, а для старухи полверсты жалко... Эх вы, рыцари... Именно самцы, и ничего больше... Я вас всех как насквозь вижу... Дай-ка, мол, провожу, может, что-нибудь и выйдет...

Я лично смутно догадывался, что ничего хорошего из провожания на другой конец города выйти не может, кроме того, что мне придется похоронить сегодняшнюю работу и завтра подниматься в восемь утра, однако не высказал вслух этих соображений, а только обиженно возразил:

— Ну, помилуйте... Ничего, ничего... Я провожу...

— Я и говорю... Идете и думаете: скорей, мол, на извозчика, поедем... Там заведу разговорчик о том, что устал, что все равно работать сегодня не хочется...

— Хочется,— уныло вставил я.

— Ну, вы для смазливой женщины и работу готовы бросить... Не первого вижу... Начнете говорить о том, что как хорошо выпить бокал шампанского в кабинете хорошего ресторана...

— Я не пью шампанского...

— Э, милый мой, это все вы только до ресторана говорите, а потом так набрасываетесь, что не оторвешь... Послушайте, Арсеньев, это там извозчик стоит?

— Саламин, а не Арсеньев. Да, извозчик. Позвать?

— Ну конечно, вы как все, как две капли воды...

Сейчас наймете извозчика, сядете ко мне чуть ли не на колени... Больше полтинника ему не давайте... Не едет... Ну, дайте шестьдесят... Садитесь вы слева... Только, пожалуйста, без этих обниманий, я не ребенок — не выпаду из саней...

— Я не обнимаю,— тихо оправдался я,— честное слово...

— Ну, не обнимаете, так будете... Дайте сюда руку, да держите крепче, я поворотов боюсь... Ну, начинайте... Рассказывайте о том, что вы одиноки, что у вас душа ищет теплоты и сочувствия, что вам так нужна женская отзывчивость... Ох, как вы все до ужаса одинаковы... Сначала, конечно, предложите немножко покататься... Я знаю это немножко... Да, да, да, знаю... Извозчик, сколько за час? Что? Рубль семь гривен? Много... Полтора хочешь?.. ну, потом двугривенный прибавит... Только поезжай скорее... Ну вот, достигли своего. Шаблонные людишки. Вырвали свое. Рады?

— Рад,— жалобно улыбнулся я,— спасибо...

— Ну конечно,— иронически засмеялась Анна Петровна,— чего же вам больше надо... Хоть бы в одном каплю оригинальности нашла... Сейчас в ресторан потянете...

— Я не люблю ресторанов,— тоскливо ответил я,— в них шумно...

— Ну, уж это слишком, господин... Малакин,— возмущенно заговорила Анна Петровна,— не смеете же вы меня к себе на квартиру звать... Помните, что у меня муж...

— Я помню, помню, ей-богу, помню, высокий такой, черный,— испуганно заметил я,— только я не думаю, вы поверьте... Если я о ресторанах сказал...

— Ну вот, ну вот... Что я говорила,— торжествующе сказала Анна Петровна,— у него уже ресторан с языка не сходит... Старый, говорила уже вам, приемчик... Сидите, наверное, и обдумываете, какой бы найти ресторан подешевле. Только имейте в виду, что я в скверный ресторан поехать не могу, я вам не горничная, которую можно куриной котлетой покорить... Если уж так не можете от меня отстать... Извозчик, «Рим» знаешь?.. Что? Какой же ты извозчик... Тебе бы настройщиком быть... Ах, пардон, пардон... Я оскорбила вашу профессию... Вы, кажется, сердитесь, мосье Калугин?.. Ну хорошо, не сердитесь — я и так уступаю всем вашим прихотям... Ну что, извозчик, вспомнил?.. Только скорее...

Терпеть не могу скверной езды... Ну что, добились? Эх вы... Плотоядные...

В ресторане, упрекая меня за то, что я всеми силами стараюсь отговорить ее от ужина в общем зале, Анна Петровна велела приготовить все, что надо, в большом отдельном кабинете. Весело забегали лакеи. Я прощупывал через боковой карман унылую наличность в бумажнике. Пить Анна Петровна не хотела, но, повинуясь моему нескрываемому желанию ее напоить, чтобы она развязала мне руки для шаблонных мужских поступков, она велела заморозить две бутылки шампанского.

После недавнего ужина я с тихой обидой смотрел на красиво разложенных рябчиков, которым Анна Петровна с детской шаловливостью отламывала лапки, и мысленно складывал и устрицы, и шампанское, и кофе в один плохо утешавший меня итог. Анна Петровна пила маленькими глотками шампанское, розовела и искренне смеялась над тем, как легко она видит насквозь все мои стремления.

Хватаясь за последнюю попытку оставить себе, для срочной статьи, хоть самый маленький остаток утра, я ничего не пил и тоскливо поглядывал на часы.

— Не пьете,— вскинула глазами Анна Петровна,— спаиваете меня... О нет, это не пройдет... Нет, это не пройдет... А замыслы ваши... Сядьте сюда рядом... Я не могу смотреть на ваши глаза.. В них что-то цинично-мужское...

— Да уж... глаза,— вежливо согласился я,— действительно, это вы...

— Не глупите... Я прекрасно понимаю... Ну, вот одно условие,— я разрешаю вам меня поцеловать, но только чтобы не было этих взглядов... Поцелуй ни к чему не обязывает, а эти взгляды... Ух, какая гадость... Ну, целуйте...

— Да нет... Что вы,— покраснел я,— я, право же, не хочу...

— Ну, милый мой... Я не из тех женщин, которых можно провести скромностью... Ну, целуйте один раз, шут с вами, только больше не приставать... Ну, вот сюда...

Я вздохнул и поцеловал ее в губы, на мгновенье почувствовав горьковатый запах рябчика и шампанского.

— Ну, будет, будет... Зверь... ну, поехали...

Прощаясь со мной около своего дома, Анна Петровна вдруг сделалась серьезной и сказала строгим тоном:

— Я сейчас всю дорогу видела, какими вы на меня влюбленными глазами смотрели. Только, пожалуйста, без глупостей... Я знаю — завтра же с утра начнутся звонки по телефону, когда меня можно видеть, когда нет дома мужа, где я гуляю... Помните, что я не одна... Я очень прошу... Если уж вы не можете утерпеть, я лучше сама позвоню... Какой номер? Один — пятьдесят один — двадцать шесть?.. Карандаша нет... Ну хорошо, я запомню и так... Целуйте руку — и до свидания...

Когда я приехал домой, уже светало. Со злобой взглянув на часы, я оставил записку, чтобы меня не будили часов до двух, разделся и лег спать.

Утром, около десяти часов, около уха забарабанил телефон, я сорвал трубку и стал слушать расколотившего, как стекло камнем, мой тяжелый, после бессонной ночи, утренний сон.

— Да... Алло... Станция... То есть слушаю...

— Вы? — услышал я чей-то тоненький голос.— Силякин?

— Саламин. Я. Что угодно?..

— Это Анна Петровна... А вы уж, чай, на ногах? Одел, наверное, с утра смокинг, вертится перед зеркалом и дожидается минуты, когда можно было бы поехать сюда... Эх вы... Ну да ведь верно?..

— Я еще сплю,— хрипло ответил я.

— Ну ладно... Других проводите... я вас всех знаю — во как... Ну-с, милостивый государь, ко мне раньше шести нельзя. Слышите?.. Только не вздумайте раньше... Я так боюсь, что вы прилезете раньше шести, что готова сама приехать, чтобы отговорить вас...

Сон быстро вылетел из головы. Я схватил обеими руками трубку и, делая на измятом лице вежливую улыбку, стал уверять Анну Петровну, что это неудобно, и напомнил ей, что у нее есть муж.

— В шесть буду... Честное слово, буду,— упавшим голосом обещал я.

— Ну то-то же,— сказала она,— а то норовит к двум часам забраться... Так к шести жду...

В половине шестого она предупредила меня, чтобы я не вздумал приехать к одиннадцати, а в шесть я сидел у нее за столом и пил чай. Было довольно много народа, клеился веселый разговор. Анна Петровна мало уделяла мне внимания и только изредка подмигивала

какой-то даме с трясущейся губой и показывала глазами на меня. Дама отвертывалась в сторону и смеялась.

А когда почему-то зашел разговор о том, что все люди неискренни, Анна Петровна мило улыбнулась и кивнула головой на меня.

— Особенно мужчины... Они неискренни до ужаса... Вот возьмите господина Саламина... Он влюблен в одну из находящихся здесь женщин, а ведь у него никогда не хватит смелости сказать открыто... И влюблен, как кошка... И все они на один лад.

Все засмеялись обидным смехом и посмотрели на меня. Муж злобно сверкнул глазами, сделался со мной исключительно любезным и даже зачем-то спросил, играю ли я в шахматы...

Уходил я с предупреждениями, чтобы не надоедал звонками...

* * *

Вот поэтому-то теперь, когда мне показывают какого-нибудь мрачного, худого человека и говорят:

— Видите вот этого господина?.. Он влюблен в одну даму, а та на него и внимания не обращает... Он прямо с ума сходит,— я подхожу к этому человеку и, улыбаясь внутренней, одному мне понятной улыбкой, по-братски пожимаю ему руку...

ЯД ДОБРОТЫ

В первый вечер нашего знакомства Шванин спросил меня, почему я сегодня в черном галстуке.

— А так просто. Забыл купить.

— А вы любите темно-зеленые с золотистым оттенком?

— Темно-зеленые? — праздно спросил я, не желая придавать его вопросу острое значение.— Очень. В них есть что-то.

— Ну так у вас завтра будет такой галстук. Ни больше ни меньше как темно-зеленый... И именно я, если разрешите, преподнесу вам его.

Он торжествующе посмотрел на меня и, не дожидаясь благодарности, отошел в сторону. На другой день посыльный принес мне шванинский подарок; а когда следующий раз я надел его и пошел в гости к знакомым, где был и Шванин, я понял, что сделал непрости-

тельную ошибку. Увидев меня, Шванин отвел в сторону хозяина дома, позвал меня и, похлопав пальцами по галстуку, спросил:

— Каково?

— Что? — удивленно спросил хозяин, поглядывая на нас обоих.

— Галстучек-то? Каков?

— Да, галстук,— неопределенно бросил хозяин,— зеленый, кажется...

— Не в том дело, что зеленый, а как приобретен-то... Я ведь подарил. Три часа в магазине рылся...

Я немного смутился.

— Я и забыл вас поблагодарить...

— Что тут благодарность... Приказчики, можно сказать, с ног сбились... Еле нашли такой...

Через несколько минут ко мне подошел какой-то малознакомый человек и деловито попросил:

— Можно вас к свету? Вот сюда немного... Ага, хорошо... Мне сегодня Шванин с утра звонками надоел: приходите, говорит, посмотреть, какой я ему галстушонок закатил... Ничего себе...

— Мерси, очень...

За картами Шванин пришел из другой комнаты и перебил кому-то хороший ход.

— Играет? — по-отечески шутливо спросил он, обращаясь к кому-то обо мне,—а на галстук и внимания никакого... А я-то, старый дурак... Четыре магазина обегал... Приказчики...

— Нет, что вы, что вы... Я очень благодарен...

— Я так, к слову...

Когда все расходились и толпились в передней, разыскивая калоши, Шванин вернулся с лестницы и, пожимая мне руку, предупредил:

— Вы его пальтецом прикройте, а то сверху еще чего, пожалуй... он нежный...

— О ком это вы так заботитесь? — с улыбкой спросила какая-то дама в капоре.

— Да вот галстучек ему подарил, а он человек молодой, неосторожный...

— А покажите-ка ваш знаменитый галстук... Ничего, милый... У вас есть вкус, Шванин...

— Ну еще бы... Четыре магазина... Три часа... Все приказчики...

Галстук я подарил швейцару. О Шванине почти забыл.

* * *

Встретил его только вчера. Шел по улице и думал, что в такую ночь ужасно тяжело быть одному. Бродить по улицам надоело, а дома была скука, темные обои и два книжных шкафа с намозолившими глаза корешками переплетов.

— Алексей Сергеич! Вы? Куда это?

Я оглянулся и увидел Шванина.

— Здравствуйте. Так брожу. Хмуро что-то на душе...

— Ай, бездомник, бездомник. В такую ночь домой бежать надо, к близким... Ночь-то какая...

— Да у меня никого нет. Дома тоскливо, одиноко... Приду — сейчас же спать лягу...

— Спать? Вы? Сегодня? Да я сейчас не знаю, что сделаю, если вы не пойдете ко мне...

— Ну что вы, право...

— Он еще думает, как бы обидеть человека... Да допущу ли я, чтобы человек один ходил здесь, когда... Извозчик, Спасская... Тридцать копеек...

Дома шванинская доброта, как вода у мельницы, пробила все плотины человеческой холодности и хлынула наружу неудержимым потоком.

— Ну, съешьте вот этот кусочек,— с дрожью в голосе говорил он, выковыривая какой-то ломтик ветчины,— ну, ради вашей молодости... Ну, я прошу...

Я ел во имя моей молодости, ради счастья шванинских детей, за грядущее счастье родины, пил кислый портвейн и затхлую мадеру за здоровье восемнадцати отсутствующих и незнакомых мне сослуживцев Шванина.

Только когда последний кусочек кулича беспомощно задержался в моей руке, не имея возможности протолкнуться через чем-то набитый рот, Шванин закидал меня сочувственными, соболезнующими вопросами.

— Скверная, говорите, комната? Холодная?

— Вода замерзает. Думаю сменить.

— И скучно одному?

— Бывает. Редко, а все-таки бывает...

— Как жалко... Такой молодой, и уже... И скверно возвращаться одному?

— Да, неважно... Ну-с, я пошел... Очень вам благода...

— Что? Уходить? И вы думаете, что в такую ночь я...

Через полчаса бесплодной борьбы с неиссякаемой добротой отзывчивого человека мне пришлось остаться ночевать у Шванина. Ночью он четыре раза осторожно заглядывал в отведенную мне комнату и шепотом справлялся:

— Спите?

— Нет, а что? В чем дело?

— Может, попить хотите,— так вот тут, на столике... Может, вам свет мешает?

— Не беспокойтесь, очень хорошо...

— Я все-таки прицеплю еще газетку к занавеске... Глаза молодые, они ночью темноту любят...

Когда я вернулся домой и стал переодеваться, в кармане пиджака что-то зашуршало. Я вскрыл конверт и изумленно вынул оттуда деньги.

«Не сердитесь, милый Алексей Сергеевич,— написал Шванин в маленькой сложенной записочке,— я сам был молод и знаю, что такое без денег праздник проводить. У меня эта четвертная, можно сказать, лишняя, а когда у вас будет, отдадите».

Я сконфуженно улыбнулся и переложил четвертную к пачке других бумажек, праздно лежавших у меня в бумажнике.

* * *

Доброта Шванина начала сказываться через четыре дня.

— Алло! Слушаю вас... Слушаю...

— Это вы, Алексей Сергеевич?

— Ах, Дмитрий Михайлович! Какими судьбами?

— Вы только не сердитесь, голубчик, но мне прямо даже обидно...

— В чем дело?

— Я даже не поверил сначала... Разве у вас такие скверные обстоятельства?

— У меня? Нет, кажется, ничего...

— Ну что там скрывать... Только почему вы не обращаетесь ко мне? Через несколько месяцев мы с вами, можно сказать, будем родственниками, я так рад, что я отдаю дочь за такого милого молодого человека, а вы идете сначала к чужим людям...

— Я, право же, ничего не понимаю...

— Мне Шванин звонил, говорил, что дал вам двадцать пять рублей и даже не назначил срока...

— Дмитрий Михайлович, поверьте...

— Да, я сам понимаю, дело молодое... В картишки продулись?

— Поверьте мне...

— Да вы не волнуйтесь... Мне только неприятно, что у меня в доме вы всегда говорите о хороших заработках, о свободных деньгах, а тут на самом деле...

— Я же не просил... Вы понимаете...

— Вы отдайте ему... Одолжите у меня и отдайте...

— Я очень вам благодарен, но мне не нужно ваших денег, кроме того...

— Я вам не навязываю, но мне просто неприятно... Вы извините меня, может быть, это мещанство, но что делать... Неприятно, что жених моей дочери ходит и занимает четвертные у каких-то...

— Я бы просил вас, если это возможно... Алло! Алло... Дмитрий Михайлович... Барышня! Что вы нас разъединяете? Что? Повесил трубку... Ага... Хорошо...

* * *

— Что же, вы подыскиваете комнату себе? Мне, конечно, все равно, если моей квартирой гнушаются, я так, как хозяйка спрашиваю... Билетик надо вывесить...

— С чего вы взяли, Мария Михайловна? Садитесь, пожалуйста...

— Ничего, я постою. Не я взяла, другие берут. Могли бы сами сказать, не через знакомых. Я не кусаюсь.

— Я же ничего не понимаю...

— Да и понимать тут нечего. Ваш же знакомый, господин Шванин... Прочитайте.

Она передала мне письмо, в котором Шванин образно и настойчиво укорял мою хозяйку в том, что она губит молодой организм своего квартиранта, не отапливая в достаточной мере комнат...

Дочитав, я скорбно посмотрел на хозяйку.

— Тут в соседнем доме комнатка хорошая есть,— уклончиво ответила она на мой взгляд.

— Тут недоразумение какое-то,— робко произнес я,— я ничего не говорил...

— Если у каждого жильца свое недоразумение будет, лучше уж так как-нибудь,— хмуро возразила она,— вы подумайте и скажите насчет билетика, когда вывесить можно. Не из-за удовольствия комнату сдаешь, чтобы потом сплетничали...

— Я просил бы вас...

— Нет уж, позвольте мне попросить вас... Мне это не нравится.

* * *

Верочку я встретил во время поисков комнаты.

— Ну как Расланова? — холодно спросила она меня, небрежно подав руку.— Томитесь по ней?

— При чем тут Расланова? — удивленно спросил я.

— Да так... Убитое настроение, муки одиночества, ночевка вне дома...

— Откуда вы знаете?.. Кто вам наболтал?..

— Совершенно незаинтересованный человек... Я слухов не собирала, а просто вчера встретила Шванина, он мне и рассказал... И о ваших жалобах на одиночество, и о вашей тоске и неудовлетворенности... Мне казалось бы, что человек, который собирается начинать жизнь с другим человеком, которого он называл любимым, не должен томиться из-за того, что какая-то артистка...

— И об артистке Шванин рассказал?

— Нет. Об артистке он не рассказал, но это томление, эта тоска, эти ночные кутежи вне дома... Недаром этот ваш знакомый рассказывал, что он целую ночь вас утешал... Сначала утешитель, потом утешительница явится...

— Верочка...

— Вера Дмитриевна.

— Оставьте это. Все вздор.

— Ну знаете, Алексей Сергеевич, если для вас это — вздор, чего же я могу ожидать дальше?..

— Верочка...

Еще через несколько дней мне удалось восстановить прерванную чужой добротой линию своей жизни. Деньги я вернул Шванину с короткой и характерной припиской, после которой мы избегали встреч друг с другом.

Мне рассказывали, что в одном обществе, говоря обо мне, Шванин невольно прослезился при воспоминании о незаслуженной обиде и тихо сказал:

— Как тяжело, как больно быть отзывчивым... Они топчут это чувство сапогами... Так жестоко, так холодно топчут...

С тех пор я решительно избегаю встреч с добрыми людьми.

В. В. ВОИНОВ

ЭХО

Съели марковские мыши
Октябристский катехизис.
В министерском кабинете
Наступил портфельный кризис.
Пахнет порохом в Китае;
В институтах льют кислоты;
Люди вязнут в липкой тине,
Как в болоте бегемоты.
И никто нигде ответа
На вопросы не встречает:
Как в пустыне, тонет голос —
Только эхо отвечает:
«Почему мы о реформах
Годы без толку мечтаем
И торчим, как пень, на месте?»
Отвечает эхо: «...таем!»
«Почему, скажи, надежды
«Обстоятельства» разбили?
Почему мы слабы духом?»
Эхо стонет где-то: «...били!»
«Разве мы перед невзгодой
Малодушно отступали?
Или нет «людей» в России?»
Эхо тихо плачет: «...пали!»
«Ну, а Дума? Что же смотрят
Прогрессивные гучковцы?»
Рассмеялось звонко эхо
И затем вздохнуло: «...овцы!»

«МЫ»

Прозаические стихи
или стихотворная проза

Мы — сыны равнины дикой,
Мы — враги кривых путей,
Мы идем к мечте великой
Под веселый свист... полевого ветра.

Наше право за границей
Широко блюдут послы,
Указуя нам десницей
Путь, куда идут... осторожные люди.

Наши боги очень строги,
Но режим у нас не строг,
По бокам прямой дороги —
Что ни сажень, то... отдыхай сколько влезет.

Берегут нас чрезвычайно,
Не житье, а чистый клад!
Зазеваешься случайно —
В ухо просится... приглашение быть осмотрительнее.

Даровых «постановлений»
Намело вокруг сугроб;
Вместо «мирных обновлений»
Нам всучили прочный... государственный порядок.

Вам видны теперь причины,
Почему мы по ночам
Просим «мирныя кончины»
Нашим добрым... покровителям из участка.

Н. Я. АГНИВЦЕВ

СКАЗКА О ТРЕХ НАБОБАХ

Где-то давно друг от друга особо
Жили да были три старых набоба...
Верили твердо они с давних пор,
Что, мол, спина — это пыльный ковер.
Но как-то раз их раскаянье взяло,
И порешили они, для начала,
Так управлять, чтоб всегда без забот,
В масле катался их добрый народ.
С этою целью сошлись на совете
Первый, второй и задумчивый третий...
И, опираясь десницею в лоб,
Молвил восторженно первый набоб:
«Всею душой устремляясь к народу,
Я упраздняю плохую погоду,
Зонтик огромный воткнул в небосвод,
Чтоб не чихал мой любезный народ».
Было торжественно слово второго:
«Я же готов для народа родного
Соорудить грандиознейший мост
В царство далеких, загадочных звезд...»
И, умиленные каждый особо,
Слушали третьего оба набоба:
«Я же, для блага отчизны родной,
Просто — возьму и уйду на покой...»

БРАТ АНТОНИО

В монастырской тихой келье,
Позабывши о веселье
(Но за это во сто крат
Возвеличен Иисусом),
Над священным папиру́сом
Наклонясь, сидел аббат —

Брат Антонио, каноник,
Муж ученый и законник,
Спасший силой божьих слов
От погибельных привычек
49 еретичек
И 106 еретиков!

Но черны, как в печке вьюшки,
Подмигнув хитро друг дружке
И хихикнув злобно вслух,
Два лукавых дьяволенка
Сымитировали тонко
Пару самых лучших мух...
И под носом у аббата
Между строчками трактата
Сели для греховных дел...
И на этом папирусе
Повели себя во вкусе
Ста Боккачьевых новелл!..

И, охваченный мечтами,
Вспомнил вдруг о некой даме
Размечтавшийся аббат...
И без всяких апелляций —
В силу тех ассоциаций —
Был низвергнут прямо в ад
Брат Антонио — каноник,
Муж ученый и законник,
Спасший силой божьих слов
От погибельных привычек
49 еретичек
И 106 еретиков!

САША ЧЕРНЫЙ

* * *

> Это не было сходство, допустимое даже в лесу,— это было тождество, это было безумное превращение одного в двоих.
>
> *Л. Андреев. «Проклятие зверя»*

Все в штанах, скроённых одинаково,
При усах, в пальто и в котелках.
Я похож на улице на всякого
И совсем теряюсь на углах...

Как бы мне не обменяться личностью:
Он войдет в меня, а я в него,—
Я охвачен полной безразличностью
И боюсь решительно всего...

Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!
Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!!
Я завидую каждой отдельной букашке,
Я живу, как последний дурак...

В лес! К озерам и девственным елям!
Буду лазить, как рысь, по шершавым стволам.
Надоело ходить по шаблонным панелям
И смотреть на подкрашенных дам!

Принесет мне ворона швейцарского сыра,
У заблудшей козы надою молока.
Если к вечеру станет прохладно и сыро,
Обложу себе мохом бока.

Там не будет газетных статей и отчетов.
Можно лечь под сосной и немножко повыть,
Иль украсть из дупла вкусно пахнущих сотов,
Или землю от скуки порыть...

А настанет зима — упираться не стану:
Буду голоден, сир, малокровен и гол —
И пойду к лейтенанту, к приятелю Глану!
У него даровая квартира и стол.

И скажу: «Лейтенант! Я — российский писатель,
Я без паспорта в лес из столицы ушел,
Я устал, как собака, и — веришь, приятель,—
Как семьсот аллигаторов зол!

Люди в городе гибнут, как жалкие слизни,
Я хотел свою старую шкуру спасти.
Лейтенант! Я бежал от бессмысленной жизни
И к тебе захожу по пути...»

Мудрый Глан ничего мне на это не скажет,
Принесет мне дичины, вина, творогу...
Только пусть меня Глан основательно свяжет,
А иначе — я в город сбегу.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОРЕ

(Всем добрым знакомым
с отчаянием посвящаю)

Итак — начинается утро.
Чужой, как река Брахмапутра,
В двенадцать влетает знакомый.
«Вы дома?» К несчастью, я дома.
В кармане послав ему фигу,
Бросаю немецкую книгу
И слушаю, вял и суров,
Набор из ненужных мне слов.
Вчера он торчал на концерте —
Ему не терпелось до смерти
Обрушить на нервы мои
Дешевые чувства свои.

Обрушил! Ах, в два пополудни
Мозги мои были как студни...
Но, дверь запирая за ним
И жаждой работы томим,
Услышал я новый звонок:

Пришел первокурсник-щенок.
Несчастный влюбился в кого-то...
С багровым лицом идиота
Кричал он о «ней», о богине,
А я ее толстой гусыней
В душе называл беспощадно...
Не слушал! С улыбкою стадной
Кивал головою сердечно
И мямлил: «Конечно, конечно».

В четыре ушел он... В четыре!
Как тигр я шагал по квартире,
В пять ожил и, вытерев пот,
За прерванный сел перевод.
Звонок... С добродушием ведьмы
Встречаю поэта в передней.
Сегодня собрат именинник
И просит дать взáймы полтинник.
«С восторгом!» Но он... остается!
В столовую томно плетется,
Извлек из-за пазухи кипу
И с хрипом, и сипом, и скрипом
Читает, читает, читает...
А бес меня в сердце толкает:
Ударь его лампою в ухо!
Всади кочергу ему в брюхо!

Квартира? Танцкласс ли? Харчевня?
Прилезла рябая девица:
Нечаянно «Месяц в деревне»
Прочла и пришла «поделиться»...
Зачем она замуж не вышла?
Зачем (под лопатки ей дышло!),
Ко мне направляясь, сначала
Она под трамвай не попала?
Звонок... Шаромыжник бродячий,
Случайный знакомый по даче,
Разделся, подсел к фортепьяно
И лупит. Не правда ли, странно?
Какие-то люди звонили.
Какие-то люди входили.
Боясь, что кого-нибудь плюхну,
Я бегал тихонько на кухню
И плакал за вьюшкою грязной
Над жизнью своей безобразной.

ОБСТАНОВОЧКА

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.
Кряхтят на счетах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь,
А розовый капот из бумазейки
Бросает в пот склонившуюся плешь.
Над самой головой насвистывает чижик
(Хоть птичка божия не кушала с утра),
На блюдце киснет одинокий рыжик,
Но водка выпита до капельки вчера.
Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,
В наплыве счастия полуоткрывши рот,
И кошка, мрачному предавшись пессимизму,
Трагичным голосом взволнованно орет.
Безбровая сестра в облезлой кацавейке
Насилует простуженный рояль,
А за стеной жиличка-белошвейка
Поет романс «Пойми мою печаль».
Как не понять? В столовой тараканы,
Оставя черствый хлеб, задумались слегка,
В буфете дребезжат сочувственно стаканы,
И сырость капает слезами с потолка.

ГОРОДСКАЯ СКАЗКА

Профиль тоньше камеи,
Глаза как спелые сливы,
Шея белее лилеи,
И стан как у леди Годивы.

Деву с душою бездонной,
Как первая скрипка оркестра,—
Недаром прозвали мадонной
Медички шестого семестра.

Пришел к мадонне филолог,
Фаддей Симеонович Смяткин.
Рассказ мой будет недолог:
Филолог влюбился по пятки.

Влюбился жестоко и сразу
В глаза ее, губы и уши,
Цедил за фразою фразу,
Томился, как рыба на суше.

Хотелось быть ее чашкой,
Братом ее или теткой,
Ее эмалевой пряжкой
И даже зубной ее щеткой!..

«Устали, Варвара Петровна?
О, как дрожат ваши ручки!» —
Шепнул филолог любовно,
А в сердце вонзились колючки.

«Устала. Вскрывала студента:
Труп был жирный и дряблый.
Холод... Сталь инструмента.
Руки, конечно, иззябли.

Потом у Калинкина моста
Смотрела своих венеричек.
Устала: их было до́ ста.
Что с вами? Вы ищете спичек?

Спички лежат на окошке.
Ну, вот. Вернулась обратно,
Вынула почки у кошки
И зашила ее аккуратно.

Затем мне с подругой достались
Препараты гнилой пуповины.
Потом... был скучный анализ:
Выделенье в моче мочевины...

Ах, я! Прошу извиненья:
Я роль хозяйки забыла —
Коллега! Возьмите варенья,—
Сама сегодня варила».

Фаддей Симеонович Смяткин
Сказал беззвучно: «Спасибо!»
А в горле ком кисло-сладкий
Бился, как в неводе рыба.

Не хотелось быть ее чашкой,
Ни братом ее и ни теткой,
Ни ее эмалевой пряжкой,
Ни зубной ее щеткой!

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ

1

Окруженный кучей бланков,
Пожилой конторщик Банков
Мрачно курит и косится
На соседний страшный стол.

На занятиях вечерних
Он вчера к девице Керних,
Как всегда, пошел за справкой
О варшавских накладных.

И, склонясь к ее затылку,
Неожиданно и пылко
Под лихие завитушки
Вдруг ее поцеловал.

Комбинируя событья,
Дева Керних с вялой прытью
Кое-как облобызала
Галстук, баки и усы.

Не нашелся бедный Банков,
Отошел к охапкам бланков
И, куря, сводил балансы
До ухода, как немой.

2

Ах, вчера не сладко было!
Но сегодня как могила
Мрачен Банков и косится
На соседний страшный стол.

Но спокойна дева Керних:
На занятиях вечерних

Под лихие завитушки
Не ее ль он целовал?

Подошла как по наитью
И, муссируя событье,
Села рядом и солидно
Зашептала не спеша:

«Мой оклад полсотни в месяц,
Ваш оклад полсотни в месяц,—
На сто в месяц в Петербурге
Можно очень мило жить.

Наградные и прибавки,
Я считаю, на булавки,
На Народный дом и пиво,
На прислугу и табак».

Улыбнулся мрачный Банков —
На одном из старых бланков
Быстро свел бюджет их общий
И невесту ущипнул.

Так Петр Банков с Кларой Керних
На занятиях вечерних,
Экономией прельстившись,
Обручились в добрый час.

3

Проползло четыре года.
Три у Банковых урода
Родилось за это время
Неизвестно для чего.

Недоношенный четвертый
Стал добычею аборта,
Так как муж прибавки новой
К Рождеству не получил.

Время шло. В углу гостиной
Завелось уже пьянино
И в большом недоуменьи
Мирно спало под ключом.

На стенах висел сам Банков,
Достоевский и испанка.
Две искусственные пальмы
Скучно сохли по углам.

Сотни лиц различной масти
Называли это счастьем...
Сотни с завистью открытой
Повторяли это вслух!

Это ново? Так же ново,
Как фамилия Попова,
Как холера и проказа,
Как чума и плач детей.

Для чего же повесть эту
Рассказал ты снова свету?
Оттого лишь, что на свете
Нет страшнее ничего...

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА

Квартирант сидит на чемодане
И задумчиво рассматривает пол:
Те же стулья, и кровать, и стол,
И такая же обивка на диване,
И такой же «бигус» на обед,—
Но на всем какой-то новый свет...

Блещут икры полной прачки Феклы.
Перегнулся сильный стан во двор.
Как нестройный, шаловливый хор,
Верещат намыленные стекла,
И заплаты голубых небес
Обещают тысячи чудес.

Квартирант сидит на чемодане.
Груды книжек покрывают пол.
Злые стекла свищут: эй, осел!
Квартирант копается в кармане,
Вынимает стертый четвертак,
Ключ, сургуч, копейку и пятак...

За окном стена в сырых узорах,
Сотни ржавых труб вонзились в высоту,
А в Крыму миндаль уже в цвету...
Вешний ветер закрутился в шторах
И не может выбраться никак.
Квартирант пропьет свой четвертак!

Так пропьет, что небу станет жарко.
Стекла вымыты. Опять тоска и тишь.
Фекла, Фекла, что же ты молчишь?
Будь хоть ты решительной и яркой:
Подойди, возьми его за чуб
И ожги огнем весенних губ...

Квартирант и Фекла на диване.
О, какой торжественный момент!
«Ты — народ, а я — интеллигент,—
Говорит он ей среди лобзаний.—
Наконец-то, здесь, сейчас, вдвоем,
Я тебя, а ты меня — поймем...»

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

(Для мужского голоса)

Мать уехала в Париж...
И не надо! Спи, мой чиж.
А-а-а! Молчи, мой сын,
Нет последствий без причин.
Черный, гладкий таракан
Важно лезет под ди-ван,
От него жена в Париж
Не сбежит, о нет! шалишь!
С нами скучно. Мать права.
Новый гладок, как Бова,
Новый гладок и богат,
С ним не скучно... Так-то, брат!
А-а-а! Огонь горит,
Добрый снег окно пушит.
Спи, мой кролик, а-а-а!
Всё на свете трын-трава...
Жили-были два крота,
Вынь-ка ножку изо рта!

Спи, мой зайчик, спи, мой чиж,—
Мать уехала в Париж.
Чей ты? Мой или его?
Спи, мой мальчик, ничего!
Не смотри в мои глаза...
Жили козлик и коза...
Кот козу увез в Париж...
Спи, мой котик, спи, мой чиж!
Через... год... вернется... мать...
Сына нового рожать...

ИСКАТЕЛЬ

(Из дневника современника)

С горя я пошел к врачу.
Врач пенсне напялил на нос:
«Нервность. Слабость. Очень рано-с.
Ну-с, так я вам закачу
Гунияди-Янос».

Кровь ударила в виски:
Гунияди?! От вопросов,
От безверья, от тоски?!
Врач сказал: «Я не философ.
До свиданья».

Я к философу пришел:
«Есть ли цель? Иль книги — ширмы?
Правда «школ» — ведь правда фирмы?
Я живу, как темный вол.
Объясните!»

Заходил цветной халат
Парой егеревских нижних:
«Здесь бессилен сам Сократ!
Вы — профан. Ищите ближних».
«Очень рад».

В переулке я поймал
Человека с ясным взглядом.
Я пошел тихонько рядом:

«Здравствуй, ближний...» — «Вы нахал!»
«Извините...»

Я пришел домой в чаду,
Переполненный раздумьем.
Мысль играла в чехарду
То с насмешкой, то с безумьем.
Пропаду!

Тихо входит няня в дверь.
Вот еще один философ:
«Что сидишь, как дикий зверь?
Плюнь да веруй — без вопросов».
«В Гунияди?»

«Гу-ни-я-ди? Кто такой?
Не немецкий ли святой?
Для спасения души —
Все святые хороши...»
Вышла.

МЯСО

(Шарж)

Брандахлысты в белых брючках
В лаун-теннисном азарте
Носят жирные зады.

Вкруг площадки, в модных штучках,
Крутобедрые Астарты,
Как в торговые ряды,

Зазывают кавалеров
И глазами, и боками,
Обещая *всё* для *всех*.

И гирлянды офицеров,
Томно дрыгая ногами,
«Сладкий празднуют успех».

В лакированных копытах
Ржут пажи и роют гравий,
Изгибаясь, как лоза,—

На раскормленных досыта
Содержанок в модной славе
Щуря сальные глаза.

Щеки, шеи, подбородки,
Водопадом в бюст свергаясь,
Пропадают в животе,

Колыхаются, как лодки,
И, шелками выпираясь,
Вопиют о красоте.

Как ходячие шнель-клопсы,
На коротких, пухлых ножках
(Вот хозяек дубликат!)

Грандиознейшие мопсы
Отдыхают на дорожках
И с достоинством хрипят.

Шипр и пот, французский говор...
Старый хрен в английском платье
Гладит ляжку и мычит.

Дипломат, шпион иль повар?
Но без формы люди — братья:
Кто их, к черту, различит?..

Как наполненные ведра,
Растопыренные бюсты
Проплывают без конца —

И опять зады и бедра...
Но над ними — будь им пусто! —
Ни единого лица!

ЦЕНЗУРНАЯ САТИРА

Я видел в карете монаха,
Сверкнула на рясе звезда...
Но что я при этом подумал —
Я вам не скажу никогда!

Иду — и наткнулся на Шварца
И в страхе пустился бежать...
Ах, что я шептал по дороге —
Я вам не решаюсь сказать!

Поднялся к знакомой курсистке.
Усталый от всех этих дел,
Я пил кипяченую воду,
Бранился и быстро хмелел.

Маруся! Дай правую ручку...
Жизнь — радость, страданье — ничто!
И молча я к ней наклонился...
Зачем? Не скажу ни за что!

СТИЛИЗОВАННЫЙ ОСЕЛ

(Ария для безголосых)

Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам.
По ночам я шатаюсь с распутными, пьяными Феклами,
По утрам я хожу к докторам.
Тарарам.

Я волдырь на сиденье прекрасной российской
словесности,
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!
Оголюсь и добьюсь скандалезно-всемирной
известности,
И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей.

Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется,
У меня темперамент макаки и нервы как сталь.
Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется
И вопит: «Не поэзия — шваль!»

Врешь! Я — прыщ на извечном сиденье поэзии,
Глянцевито-багровый, напевно-коралловый прыщ,
Прыщ с головкой белее несказанно-жженой магнезии,
И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ.

Ах, словесные, тонкие-звонкие фокусы-покусы!
Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.
Кто не понял — невежда. К нечистому! Накося-выкуси.
Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу...

Попишу животом, и ноздрей, и ногами, и пятками,
Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,
Зарифмую все это для стиля яичными смятками
И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках...

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Она была поэтесса,
Поэтесса бальзаковских лет.
А он был просто повеса,
Курчавый и пылкий брюнет.
Повеса пришел к поэтессе.
В полумраке дышали духи,
На софе, как в торжественной мессе,
Поэтесса гнусила стихи:
«О, сумей огнедышащей лаской
Всколыхнуть мою сонную страсть.
К пене бедер за алой подвязкой
Ты не бойся устами припасть!
Я свежа, как дыханье левкоя,
О, сплетем же истомности тел!..»
Продолжение было такое,
Что курчавый брюнет покраснел.
Покраснел, но оправился быстро
И подумал: была не была!
Здесь не думские речи министра,
Не слова здесь нужны, а дела...
С несдержанной силой кентавра
Поэтессу повеса привлек,
Но визгливо-вульгарное: «Мавра!!»
Охладило кипучий поток.
«Простите...— вскочил он,— вы сами...»
Но в глазах ее холод и честь:
«Вы смели к порядочной даме,
Как дворник, с объятьями лезть?!»
Вот чинная Мавра. И задом
Уходит испуганный гость.
В передней растерянным взглядом

Он долго искал свою трость...
С лицом белее магнезии
Шел с лестницы пылкий брюнет:
Не понял он новой поэзии
Поэтессы бальзаковских лет.

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

(Посвящается исписавшимся «популярностям»)

Я похож на родильницу,
Я готов скрежетать...
Проклинаю чернильницу
И чернильницы мать!

Патлы дыбом взлохмачены,
Отупел, как овца,—
Ах, все рифмы истрачены
До конца, до конца!..

Мне, правда, нечего сказать сегодня, как всегда,
Но этим не был я смущен, поверьте, никогда —
Рожал словечки и слова, и рифмы к ним рожал,
И в жизнерадостных стихах, как жеребенок, ржал.

Паралич спинного мозга?
Врешь, не сдамся! Пень — мигрень,
Бебель — стебель, мозга — розга,
Юбка — губка, тень — тюлень.

Рифму, рифму! Иссякаю —
К рифме тему сам найду...
Ногти в бешенстве кусаю
И в бессильном трансе жду.

Иссяк. Что будет с моей популярностью?
Иссяк. Что будет с моим кошельком?
Назовет меня Пильский дешевой бездарностью,
А Вакс Калошин — разбитым горшком...

Нет, не сдамся... Папа — мама,
Дратва — жатва, кровь — любовь,
Драма — рама — панорама,
Бровь — свекровь — морковь... носки!

НЕДЕРЖАНИЕ

У поэта умерла жена...
Он ее любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.

После похорон пришел домой — до дна
Весь охвачен новым впечатленьем —
И спеша родил стихотворенье:
«У поэта умерла жена».

СИРОПЧИК

(Посвящается
«детским» поэтессам)

Дама, качаясь на ветке,
Пикала: «Милые детки!
Солнышко чмокнуло кустик,
Птичка оправила бюстик
И, обнимая ромашку,
Кушает манную кашку...»

Дети, в оконные рамы
Хмуро уставясь глазами,
Полны недетской печали,
Даме в молчаньи внимали.
Вдруг зазвенел голосочек:
«Сколько напикала строчек?»

<ИЗ ЦИКЛА «ВЕШАЛКА ДУРАКОВ»>

* * *

Ослу образованье дали.
Он стал умней? Едва ли.
Но раньше, как осел,
Он просто чушь порол,
А нынче — ах, злодей —
Он, с важностью педанта,
При каждой глупости своей
Ссылается на Канта.

* * *

Умный слушал терпеливо
Излиянья дурака:
«Не затем ли жизнь тосклива,
И бесцветна, и дика,
Что вокруг, в конце концов,
Слишком много дураков?»
Но, скрывая желчный смех,
Умный думал, свирепея:
«Он считает только тех,
Кто его еще глупее,—
«Слишком много» для него...
Ну, а мне-то каково?»

В РЕДАКЦИИ ТОЛСТОГО ЖУРНАЛА

Серьезных лиц густая волосатость
И двухпудовые, свинцовые слова:
«Позитивизм», «идейная предвзятость»,
«Спецификация», «реальные права»...

Жестикулируя, бурля и споря,
Киты редакции не видят двух персон:
Поэт принес «Ночную песню моря»,
А беллетрист — «Последний детский сон».

Поэт присел на самый кончик стула
И кверх ногами развернул журнал,
А беллетрист покорно и сутуло
У подоконника на чьи-то ноги стал.

Обносят чай... Поэт взял два стакана,
А беллетрист не взял ни одного.
В волнах серьезного табачного тумана
Они уже не ищут ничего.

Вдруг беллетрист, как леопард, в поэта
Метнул глаза: «Прозаик или нет?»
Поэт и сам давно искал ответа:
«Судя по галстуку, похоже, что поэт...»

Подходит некто в сером, но по моде,
И говорит поэту: «Плач земли?..»
«Нет, я вам дал три «Песни о восходе».
И некто отвечает: «Не пошли!»

Поэт поник. Поэт исполнен горя:
Он думал из «Восходов» сшить штаны!
«Вот здесь еще «Ночная песня моря»,
А здесь — «Дыханье северной весны».

«Не надо,— отвечает некто в сером,—
У нас лежит сто весен и морей».
Душа поэта затянулась флером,
И розы превратились в сельдерей.

«Вам что?» И беллетрист скороговоркой:
«Я год назад прислал «Ее любовь».
Ответили, пошаривши в конторке:
«Затеряна. Перепишите вновь».

«А вот, не надо ль? — беллетрист запнулся.—
Здесь... семь листов — «Последний детский сон».
Но некто в сером круто обернулся —
В соседней комнате залаял телефон.

Чрез полчаса, придя от телефона,
Он, разумеется, беднягу не узнал
И, проходя, лишь буркнул раздраженно:
«Не принято! Ведь я уже сказал!..»

На улице сморкался дождь слюнявый.
Смеркалось... Ветер. Тусклый, дальний гул.
Поэт с «Ночною песней» взял направо,
А беллетрист налево повернул.

Счастливый случай скуп и черств, как Плюшкин.
Два жемчуга опять на мостовой...
Ах, может быть, поэт был новый Пушкин,
А беллетрист был новый Лев Толстой?!

Бей, ветер, их в лицо, дуй за сорочку —
Надуй им жабу, тиф и дифтерит!
Пускай не продают души в рассрочку,
Пускай душа их без штанов парит...

А. Т. АВЕРЧЕНКО

РЫЦАРЬ ИНДУСТРИИ

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил, и — упал на мостовую.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

— Почему не можете? — добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа.— Конечно же, можете.

— Зайдите ко мне в таком случае,— сказал я, отходя от окна.

Он вошел, веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

— Цацкин.

— Очень рад. Не ушиблись ли вы?

— Чтобы сказать вам да, так — нет! Чистейшей воды пустяки.

— Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? — подмигивая, спросил я.— Хе-хе.

— Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев, хе-хе?! Не желаете ли — могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр! Понимающие люди считают его выше французского.

— Нет, зачем же,— удивленно возразил я, всматриваясь в него.— Послушайте... ваше лицо кажется мне знакомо. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?..

— Ничего подобного! Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

— Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти.

— Так вы — агент по страхованию жизни? — сухо сказал я.— Чем же я могу быть вам полезен?

— Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопрос: как вы хотите у нас застраховаться — на дожитие или с уплатой премии вашим близким после — дай вам бог здоровья — вашей смерти?

— Никак я не хочу страховаться,— замотал я головой.— Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет... Я одинок.

— А супруга?

— Я холост.

— Так вам нужно жениться — очень просто! Могу вам предложить девушку — пальчики оближете! Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет! Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет. Если нет — можно купить готовые. Адрес — магазин «Оборот»... Наша фирма...

— Господин Цацкин,— возразил я.— Ей-богу же, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни...

— Ой! Не созданы? Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь... Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собою радость каждому меланхоличному мужчине. Шесть тысяч книг бесплатно! Имеем массу благодарностей! Пробный флакончик...

— Оставьте ваши пробные флакончики при себе,— раздражительно сказал я.— Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост...

— Что такое — лысина? Если вы помажете ее средством нашей фирмы, которой я состою представителем, так обрастете волосами, как, извините, кокосовый орех! А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью... Всякие уши как рукой снимет! Рост? Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вам уже можно будет

жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать! А вы мне говорите — рост...

— Ничего мне не нужно! — сказал я, сжимая виски.— Простите, но вы мне действуете на нервы...

— На нервы? Так он молчит!.. Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться! Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне симпатичный... Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель. Он дороже, но...

Я схватился за голову.

— Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите, сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин»,— фирма уж сама доставит вам на дом...

— Извините,— сказал я, закусывая губу,— но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит утомительная работа — писать статью...

— Утомительная? — сочувственно спросил господин Цацкин.— Я вам скажу — она утомительна потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма! Нормальное положение, удобный наклон... За две штуки семь рублей, а за три — десять...

— Пошел вон! — закричал я, дрожа от бешенства.— Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье!!

— Этим пресс-папье? — презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе.— Этим пресс-папье... Вы на него дуньте — оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита...

Я нажал кнопку электрического звонка.

— Вот сейчас придет человек — прикажу ему вывести вас!

Скорбно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания.

Прошло две минуты. Я позвонил снова.

— Хорошие звонки, нечего сказать,— покачал головой господин Цацкин.— Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят. Позвольте вам предложить звонки с установкой и элемен-

тами за семь рублей шестьдесят копеек. Изящные звонки...

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к выходу.

— Идите! Или у меня сейчас будет разрыв сердца...

— Это не дай бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк...

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу.

Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь вздрогнула от осторожного напора и — распахнулась.

Господин Цацкин робко вошел в комнату и, прищурясь, сказал:

— В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся... Они отворяются от простого нажима! Хорошие английские замки вы можете иметь через меня — один прибор два рубля сорок копеек, за три — шесть рублей пятьдесят копеек, а пять штук...

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал:

— Сейчас я буду стрелять в вас!

Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил:

— Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука — восемнадцать рублей, две дешевле, а три еще дешевле. Прошу вас убедиться!..

Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно.

Падая, он успел крикнуть мне:

— У вас очень непрактичные запонки на манжетах! Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией, пара два рубля, три пары де...

Я захлопнул окно.

НИНОЧКА

I

Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Ряднову и, протянувши ей два черновика, попросил ее переписать их начисто.

Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые разглядел ее как следует.

Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста. Красивое белое лицо ее было спокойно, и только в глазах время от времени пробегали искорки голубого света.

Мишкин подошел к ней ближе и сказал:

— Так вы, это самое... перепишите бумаги. Я вас не затрудняю?

— Почему же? — удивилась Ниночка.— Я за это жалованье получаю.

— Так, так... жалованье. Это верно, что жалованье. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь да вдруг бы болела...

— Грудь не болит.

— Я очень рад. Вам не холодно?

— Отчего же мне может быть холодно?

— Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная... Ишь, вон у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?

— Оставьте мои руки в покое!

— Милая... Одну минутку... Постойте... Зачем вырываться? Я, это самое... рукав, который просвечив...

— Пустите руку! Как вы смеете! Мне больно! Негодяй!

Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги.

Волосы у нее сбились в сторону и левая рука, выше локтя, немилосердно ныла.

— Мерзавец,— прошептала Ниночка.— Я тебе этого так не прощу.

Она надела на пишущую машину колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась:

«К кому же мне идти? Пойду к адвокату».

II

Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно.

— Какой негодяй! А еще старик! Чего же вы теперь хотите? — ласково спросил адвокат Язычников.

— Нельзя ли его сослать в Сибирь? — попросила Ниночка.

— В Сибирь нельзя... А притянуть его вообще к ответственности можно.

— Ну притяните.

— У вас есть свидетели?

— Я — свидетельница,— сказала Ниночка.

— Нет, вы — потерпевшая. Но если не было свидетелей, то, может быть, есть у вас следы насилия?

— Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие. Схватил за руку. Наверно, там теперь синяк.

Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.

— Покажите руку,— сказал адвокат.

— Вот тут, под кофточкой.

— Вам придется снять кофточку.

— Но ведь вы же не доктор, а адвокат,— удивилась Ниночка.

— Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. Вы знаете, что такое алиби?

— Нет, не знаю.

— Вот то-то и оно-то. Для того, чтобы установить наличность преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку.

Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку.

Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и вежливо сказал:

— Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки. А это что такое? Грудь?

— Не трогайте меня! — вскричала Ниночка.— Как вы смеете?

Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.

— Чего вы обиделись? Я должен еще удостовериться в отсутствии кассационных поводов...

— Вы — нахал! — перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла.

Идя по улице, она говорила сама себе: «Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее — это пойти к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном насилии».

III

Доктор Дубяго был солидный пожилой человек.

Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:

— Разденьтесь.

Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер профессиональным жестом руки и попросил:

— Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь...

— Зачем же совсем? — вспыхнула Ниночка.— Он меня хватал за руку. Я вам руку и покажу.

Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками.

— Все-таки вам нужно раздеться... Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу.

Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами, но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные.

— Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!

IV

Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.

«Вот вам — друзья человечества! Интеллигентные люди... Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся масками добродетели».

Ниночка прошлась несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журна-

листу Громову, который пользовался большой популярностью, славился как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от двух до трех раз в неделю.

Журналист Громов встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями.

— Ха-ха! — горько засмеялся он.— Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страданья страждущего человечества! Вот вам носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз — справедливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до сих пор живущие плотью... Ха-ха. Узнаю я вас!

— Прикажете снять кофточку? — робко спросила Ниночка.

— Кофточку? Зачем кофточку?.. А впрочем... можно снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы... гм... культуры.

Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.

— Однако, руки же у вас... разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечеству. Уберите их. Или нет... постойте... чем это они пахнут? Что, если бы я поцеловал эту руку вот тут... в сгибе... А... Гм... согласитесь, что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое...

Громову не пришлось изведать нового любопытного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла.

Идя домой, она улыбалась сквозь слезы:

«Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»

V

Вечером Ниночка сидела дома и плакала.

Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переоделась и пошла посидеть к соседу по меблированным комнатам студенту-естественнику Ихневмонову.

Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели низко склонившимся красивым, бледным

лицом над печатными страницами, за что Ниночка шутя прозвала студента профессором.

Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал:

— Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там. А Ихневмонов дочитает пока главу.

— Меня сегодня обидели, Ихневмонов,— садясь, скорбно сообщила Ниночка.

— Ну!.. Кто?

— Адвокат, доктор, старик один... Такие негодяи!

— Чем же они вас обидели?

— Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали...

— Так...— перелистывая страницу, сказал Ихневмонов,— это нехорошо.

— У меня рука болит, болит,— жалобно протянула Ниночка.

— Этакие негодяи! Пейте чай.

— Наверно,— печально улыбнулась Ниночка,— и вы тоже захотите осмотреть руку, как те.

— Зачем же ее осматривать? — улыбнулся студент.— Есть синяк — я вам и так верю.

Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.

— До сих пор рука горит,— пожаловалась Ниночка.— Может, примочку какую-нибудь надо?

— Не знаю.

— Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как другие,— я вам верю.

Ихневмонов пожал плечами.

— Зачем же вас затруднять... Будь я медик — я бы помог. А то я — естественник.

Ниночка закусила губу и, встав, упрямо сказала:

— А вы все-таки посмотрите.

— Пожалуй, показывайте вашу руку... Не беспокойтесь... вы только спустите с плеча кофточку... Так... Это?.. Гм... Действительно, синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, скоро пройдет.

Ихневмонов качнул соболезнующе головой и снова сел за книгу.

Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голое плечо матово блестело при свете убогой лампы.

— Вы бы одели в рукав,— посоветовал Ихневмонов.— Тут чертовски холодно.

Сердце Ниночки сжалось.

— Он мне еще ногу ниже колена ущипнул,— сказала Ниночка неожиданно, после долгого молчания.

— Экий негодяй! — мотнул головой студент.

— Показать?

Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал:

— Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует. Простудитесь — что хорошего? Ей же богу, я в этой медицине ни уха ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай.

Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой.

— Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.

— Отчего же, помилуйте,— сказал Ихневмонов, энергично тряся на прощанье руку Ниночки.

Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила:

— Какие все мужчины негодяи!

ДЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

ДОМА

Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с жениной теткой чай. Тетка — глупая, толстая женщина — держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом.

— Как вы нынче спали? — спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптывает ложкой в противный жидкий чай.

— Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились.

— Ах ты господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы всё со своими неуместными шутками.

Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо.

— Хорошо. Будем говорить серьезно... Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно,— вас это опечалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал — ликованию и душевной радости вашей не будет пределов?.. Сегодняшний день покажется вам праздни-

ком и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?

Она обиженно отталкивает от себя чашку.

— Я вас не понимаю...

— Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не понимаете... Ей-богу, лично против вас я ничего не имею... простая вы, обыкновенная тетка... Но когда вам нечего говорить — сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства... И если бы я ответил вам: «Благодарю вас, хорошо»,— вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы: «А Женя еще спит?» — хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов, что вам, конечно, тоже известно...

Мы сидим долго-долго и оба молчим.

Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?

— Дни теперь стали прибавляться,— говорит наконец она, смотря в окно.

— Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще неизвестное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?

Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул.

— Вы тяжелый грубиян, и больше ничего.

— Ну как же так — и больше ничего... У меня есть еще другие достоинства и недостатки... Да я и не грубиян вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее.

Тетка плачет, тряся жирным плечом.

Я одеваюсь и выхожу из дому.

НА УЛИЦЕ

Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.

Увидев меня, он расплывается в изумленной улыбке

(мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:

— Как поживаете, что поделываете?

И делает движение устремиться дальше.

Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:

— Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу... Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать... Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное,— оказывается, пустяки... Поставил термометр, а он...

Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:

— Да... Так о чем я, бишь, говорил... Беру зеркало, смотрю в горло — красноты нет... Думаю, пустяки — можно пойти гулять. Выхожу... Выхожу это я, вижу, почтальон повестку несет. Что за шум, думаю... От кого бы это? И можете вообразить...

— Извините,— страдальчески говорит Хрякин,— мне нужно спешить...

— Нет, ведь вы же заинтересовались, что я поделываю. А поделываю я вот что... Да. На чем я остановился? Ах да... Что поделываю? Еду я вчера к Кокуркину, справиться насчет любительского спектакля — встречаю Марью Потаповну. «Приезжайте,— говорит,— завтра к нам»...

Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих...

Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натыкаюсь на другого знакомого — Игнашкина.

Игнашкин никуда не спешит.

— Здравствуйте. Что новенького?

— А как же,— говорю, вздыхая.— Везувий вчера провалился. Читали?

— Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей выиграл. Курите?

— Нет, не курю.

— Счастливый человек. Деньги все собираете?

— Нет, так.

— По этому поводу существует...

— Хорошо! Знаю. Один другому говорит: «Если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас

свой домик». А тот его спрашивает: «А вы курите?» — «Нет».— «Значит, есть домик?» — «Нет».— «Ха-ха!» Да?

— Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы догадались?..

Я его перебиваю:

— Как поживаете?

— Ничего себе. Вы как?

— Спасибо. До свидания. Заходите.

— Зайду. До свидания. Спасибо.

Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю:

— А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!

— Почему — черти побрали?

— Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.

— Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?

— Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.

ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ

В этот день я был на поминальном обеде.

Стол был уставлен бутылками, тарелочками с колбасой, разложенной звездочками, и икрой, размазанной по тарелке так, чтобы ее казалось больше, чем на самом деле.

Ко мне подошла вдова, прижимая ко рту платок.

— Слышали? Какое у меня несчастие-то...

Конечно, я слышал... Иначе бы я здесь не был и не молился бы, когда отпевали покойника.

— Да, да...

Я хочу спросить, долго ли мучился покойник, и указать вдове на то полное риска и опасности обстоятельство, что все мы под богом ходим, но вместо этого говорю:

— Зачем вы держите платок у рта? Ведь слезы текут не оттуда, а из глаз?

Она внимательно смотрит на меня и вдруг спохватывается:

— Водочки? Колбаски? Помяните дорогого покойника.

И сотрясается от рыданий...

Дама в лиловом тоже плачет и говорит ей:

— Не надо так! Пожалейте себя... Успокойтесь.

— Нет!!! Не успо-о-о-коюсь!! Что ты сделал со мной, Иван Семеныч?!

— А что он с вами сделал? — с любопытством осведомляюсь я.

— Умер!

— Да,— вздыхает сивый старик в грязном сюртуке.— Юдоль. Жил, жил человек, да и помер.

— А вы чего бы хотели? — сумрачно спрашиваю я.

— То есть? — недоумевает сивый старик.

— Да так... Вот вы говорите — жил, жил, да и помер! Не хотели ли вы, чтобы он жил, жил, да и превратился в евнуха при султанском дворе... или в корову из молочной фермы?

Старик неожиданно начинает смеяться полузадушенным дробненьким смешком.

Я догадываюсь: очевидно, его пригласили из милости, очевидно, он считает меня одним из распорядителей похорон и, очевидно, боится, чтобы я его не прогнал.

Я ободряюще жму его мокрую руку. Толстый господин утирает слезы (сейчас он отправил в рот кусок ветчины с горчицей) и спрашивает:

— А сколько дорогому покойнику было лет?

— Шестьдесят.

— Боже! — качает головой толстяк.— Жить бы ему еще да жить.

Эта классическая фраза рождает еще три классические фразы:

— Бог дал — бог и взял! — профессиональным тоном заявляет лохматый священник.

— Все под богом ходим,— говорит лиловая женщина.

— Как это говорится: все там будем,— шумно вздыхая, соглашаются два гостя сразу.

— Именно — «как это говорится»,— соглашаюсь я.— А я, в сущности, завидую Ивану Семенычу!

— Да,— вздыхает толстяк.— Он уже *там!*

— Ну, *там* ли он — это еще вопрос... Но он не слышит всего того, что приходится слышать нам.

Толстяк неожиданно наклоняется к моему уху:

— Он и при жизни мало слышал... Дуралей был преестественный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками, тово... Слышали?

Так мы, глупые, пошлые люди, хоронили нашего товарища — глупого, пошлого человека.

ВЕСЕЛЬЕ

В этот день я, кроме всего, и веселился: попал на вечеринку к Кармалеевым.

Семь человек окружали бледную, истощенную несбыточными мечтами барышню и настойчиво наступали на нее.

— Да спойте!

— Право же, не могу...

— Да спойте!

— Уверяю вас, я не в голосе сегодня!

— Да спойте!

— Я не люблю, господа, заставлять себя просить, но...

— Да спойте!

— Говорю же — я не в голосе...

— Да ничего! Да спойте!

— Что уж с вами делать,— засмеялась барышня.— Придется спеть.

Сколько в жизни ненужного: сначала можно было подумать, что просившие очень хотели барышниного пения, а она не хотела петь... На самом же деле было наоборот: никто не добивался ее пения, а она безумно, истерически хотела спеть своим скверным голосом плохой романс. Этим и кончилось.

Когда она пела, все шептались и пересмеивались, но на последней ноте притихли и сделали вид, что поражены ее талантом настолько, что забыли даже зааплодировать.

«Сейчас,— подумал я,— все опомнятся и будут аплодировать, приговаривая: «Прелестно! Ах, как вы, душечка, поете...»

Я воспользовался минутой предварительного оцепенения, побарабанил пальцами по столу и задушевным голосом сказал:

— Да-а... Неважно, неважно. Слабовато. Вы действительно, вероятно, не в голосе.

Все ахнули. Я встал, пошел в другую комнату и наткнулся там на другую барышню. Лицо у нее было красивое, умное, и это был единственный человек, с которым я отдохнул.

— Давайте поболтаем,— предложил я, садясь.— Вы умная и на многое не обидитесь. Сколько здесь вас, барышень?

Она посмотрела на меня смеющимся взглядом:

— Шесть штук.
— И все хотят замуж?
— Безумно.
— И все в разговоре заявляют, что никогда, никогда не выйдут замуж?
— А то как же... Все.
— И обирать будут мужей и изменять им — все?
— Если есть темперамент — изменят, нет его — только обдерут мужа.
— И вы тоже такая?
— И я.
В комнате никого, кроме нас, не было. Я обнял милую барышню крепко, и благодарно поцеловал ее, и ушел от Кармалеевых немного успокоенный.

ПЕРЕД СНОМ

Дома жена встретила меня слезами:
— Зачем ты обидел тетку утром?
— А зачем она разговаривает?!
— Нельзя же все время молчать...
— Можно. Если сказать нечего.
— Она старая. Старость нужно уважать.
— У нас есть старый ковер. Ты велишь прислуге каждый день выбивать палкой из него пыль. Позволь мне это сделать с теткой. Оба старые, оба глупы, оба пыльные.
Жена плачет, и день мой заканчивается последней, самой классической, фразой:
— Все вы, мужчины, одинаковы.
Ложусь спать.
— Бог! Хотя ты пожалей человека и пошли ему хороших-хороших, светлых-светлых снов!..

КОРИБУ

В мой редакторский кабинет вошел, озираючись, бледный молодой человек. Он остановился у дверей и, дрожа всем телом, стал всматриваться в меня.
— Вы редактор?
— Редактор.
— Ей-богу?
— Честное слово!
Он замолчал, пугливо посматривая на меня.

— Что вам угодно?

— Кроме шуток — вы редактор?

— Уверяю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или принесли рукопись?

— Не губите меня,— сказал молодой человек.— Если вы сболтнете — я пропал!

Он порылся в кармане, достал какую-то бумажку, бросил ее на мой стол и сделал быстрое движение к дверям с явной целью — бежать.

Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к углу, повернул в дверях ключ и сурово сказал:

— Э, нет, голубчик! Не уйдешь... Мало ли какую бумажку мог ты бросить на мой стол!..

Молодой человек упал на диван и залился горючими слезами.

Я развернул брошенную на стол бумажку.

Вот какое странное произведение было на ней написано.

«АФРИКАНСКИЕ НЕУРЯДИЦЫ»

Указания благомыслящих людей на то, что на западном берегу Конго не все спокойно и что туземные князьки позволяют себе злоупотребления властью и насилие над своими подданными,— все это имеет под собой реальную почву. Недавно в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры) имел место следующий случай, показывающий, как далеки опаленные солнцем сыновья далекого Конго от понятий европейской закономерности и порядка...

Вождь племени бери-бери Корибу, заседая в совете государственных деятелей, получил известие, что его приближенный воин Музаки не был допущен в корраль, где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела, князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив его двери липким соком алоэ. После оказалось, что виноват был его приближенный воин, но, в сущности, дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор несчастные, сожженные солнцем туземцы будут терпеть безграничное самовластие и безудержную вакханалию произвола какого-то князька Корибу?! Вот на что следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!»

Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился к обессилевшему от слез молодому человеку, который все еще лежал на моем диване:

— Вы хотите, чтобы мы это напечатали?

— Да...— робко кивнул он головой.

— Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, коррали, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!

Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое лицо к моему и пронзительным шепотом сказал:

— Так я вам признаюсь! Это написано об одесском Толмачеве и о закрытии им Благородного собрания.

— Какой вздор и какая нелепость,— возмутился я.— К чему вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, мазали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто — описать одесский случай и прямо рассказать о поведении Толмачева! И потом, вы тут нагородили того, чего и не было... Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то «совете государственных деятелей»? Просто он приехал в три часа ночи из кафешантана и закрыл Благородное собрание, продержав под арестом полковника, которого по закону арестовывать не имел права. При чем здесь «совет государственных деятелей»?

— Я думал, так безопаснее...

— А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил двери липким соком алоэ? Почему не просто— наложил печати?

— А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? — прищурился молодой человек.

— Вы меня извините,— сказал я.— Но тут у вас есть еще одно место — самое чудовищное по ненужности и вздорности... Вот это: «Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное внимание». Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?

Молодой человек положил руку на сердце и простодушно сказал:

— А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве? Влетело бы тогда нам по первое число. А так — ну-ка пусть догадаются! Ха-ха!

На мои глаза навернулись слезы.

— Бедные мы с вами...— прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.

И так долго мы с ним плакали.

И вошли наши сотрудники, и, узнав, в чем дело, сказали:

— Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы!

И тоже плакали над своей горькой участью.

И артельщик пришел, и кассир, и мальчик, обязанности которого заключались в зализывании конвертов для заклейки,— и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей обнявшейся группы и, открыв слипшийся рот, раздирательно заплакал...

И так плакали мы все.

* * *

— Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над нами? Над теми, которые плачут...

ПЕТУХОВ

I

Муж может изменять жене сколько угодно и всё-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены.

Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому...

. . . .

Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки.

Дальше было так: соседка уронила футляр от бинокля — Петухов его поднял; соседка внимательно посмотрела на Петухова — он внутренно задрожал сладкой дрожью; рука Петухова лежала на ручке кресла — такую же позу пожелала принять и соседка... А когда она положила свою руку на ручку кресла — их пальцы встретились.

Оба вздрогнули, и Петухов сказал:

— Как жарко!

— Да,— опустив веки, согласилась соседка.— Очень. В горле пересохло до ужаса.

— Выпейте лимонаду.

— Неудобно идти к буфету одной,— вздохнула красивая дама.

— Разрешите мне проводить вас.

Она разрешила.

В последнем антракте оба уже болтали, как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла.

— Неужели мы так больше и не увидимся? — с легким стоном спросил Петухов.— Ах! Надо бы нам еще увидеться.

Брюнетка лукаво улыбнулась:

— Тссс!.. Нельзя. Не забывайте, что я замужем.

Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал:

— Ах, ах! Умоляю вас — где же мы увидимся?

— Нет, нет,— усмехнулась брюнетка.— Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом. Тем более, что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге.

— Ага! — вскричал Петухов.— О, спасибо, спасибо вам.

— Я не знаю — за что вы меня благодарите? Решительно недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься. Я сажусь на извозчика.

Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую.

Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок,— и уехала.

II

Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы.

Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:

— Где ты была сегодня вечером?

— В синематографе.

Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза:

— Одна?

— Нет, с Марусей.

— С Марусей? Знаем мы эту Марусю!

— Я тебя не понимаю.

— Видишь ли, милая... Мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего!

— Александр! Ты меня оскорбляешь... Я никогда не давала повода!!

— Э, матушка! Я не сомневаюсь — ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа, этакого какого-нибудь приятного на вид блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь — он поднимает, вы встречаетесь взглядами... Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного? О да! Пока, конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует... Ты кладешь руку на ручку кресла, и — согласись, это очень возможно — ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты (Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку) — вздрагиваешь, как от электрического тока. Ха-ха! Готово! Начало сделано!! «Как жарко»,— говорит он. «Да,— простодушно отвечаешь ты.— В горле пересохло...» — «Не желаете ли стакан лимонаду?» — «Пожалуй...»

Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате.

Его ревнивый взгляд жег жену.

— Леля,— простонал он.— Леля! Признайся!.. Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика и даже — негодяй! — при этом мог добиваться: когда и где вы можете встретиться. Ты, конечно, свидания ему не назначила — я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Леля, могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скетинг-ринг или еще что-нибудь... О, Леля, как я хорошо знаю вас, женщин!!

— Что с тобой, глупенький? — удивилась жена.— Ведь этого же всего не было со мной...

— Берегись, Леля! Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду! Остановись на краю пропасти!

Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал.

III

Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скетинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая.

Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила:

— Вы? Каким образом?

— Позвольте быть вашим кавалером?

— О да. Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней.

Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту.

И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце.

— Милая! — прошептал он еле слышно.— Как мне хорошо...

— Тссс...— улыбнулась розовая от движения и его прикосновений Ольга Карловна.— Таких вещей замужним дамам не говорят.

— Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе.

— Вы с ума сошли! А кузина! А... вообще...

— «Вообще» — вздор, а кузину домой отправим.

— Нет, и не думайте! Она меня не оставит!

Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал:

— Когда? Когда?

— Ни-ког-да! Впрочем, завтра я буду без нее.

— Спасибо!..

— Я не понимаю, за что вы меня благодарите?

— Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего!!

— Я не понимаю... что вы такое говорите? Что такое — уютно?

— Солнце мое лучистое! — уверенно сказал Петухов.

. . . .

Приехав домой, он застал жену за книжкой.

— Где ты был?

— Заезжал на минутку в скетинг-ринг. А что?

— Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки — прекрасная вещь.

Петухов омрачился.

— Ага! Понимаю-с! Все мне ясно!

— Что?

— Да, да... Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полузнакомым пройдохой. У-у, подлая!

Петухов сердито схватил жену за руку и дернул.

— Ты... в своем уме?

— О-о,— горько засмеялся Петухов,— к сожалению, в своем. Я тебя понимаю! Это делается так просто! Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скетинг-ринге, катанье в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он — не будь дурак — сейчас тебе: «Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать». Ты, конечно, сразу не согласишься...

Петухов хрипло, страдальчески засмеялся.

— Не согласишься... «Я,— скажешь ты,— замужем, мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной»! Но... змея! Я прекрасно знаю вас, женщин,— ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!

Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом, под тяжестью упреков и угроз, заплакала.

Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены.

IV

Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала.

Пробило три часа.

Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих, подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо.

— Спите? — прошептал он.— Утомились? Ха-ха. Как же... Есть от чего утомиться! Страстные, грешные объятия — они утомляют!!

— Милый, что с тобой? Ты бредишь?

— Нет... я не брежу. О, конечно, ты могла быть это время и дома, но кто, кто мне поклянется, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретилась с одним из своих знакомых?! Это ничего, что знакомство продолжается три-четыре дня... Ха-ха! Почва уже подготовлена, и то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать,— это, брат, последние жалкие остатки прежнего

голоса добродетели, последняя никому не нужная борьба...

— Саша!!

— Что там — Саша!

Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она застонала.

— О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бесцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному, проклятому моменту... Ты! Ты, чистая, добродетельная женщина, только и находишь в себе силы, что вскричать: «Боже, но ведь сюда могут войти!» Ха-ха! Громадный оплот добродетели, который рушится от повернутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай!! И вот — гибнет все! Ты уже не та моя Леля, какой была, не та, черт меня возьми!! Не та!!

Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и, обессиленный, зарыдал хватающим за душу голосом.

V

Прошло три дня.

Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязаньем, заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся:

— Дома сидите? Так. Кончен, значит, роман! Недолго же он продолжался, недолго. Ха-ха. Это очень просто... Стоит ему, другу сердца, встретить тебя едущей на извозчике по Московской улице чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба,— чтобы он написал тебе коротко и ясно: «Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса — это слишком! Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и — не буду скрывать — даже ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте!»

Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел:

— А что — кончен роман?! Кончен?! Так и надо. Так и надо! Го-го-го! Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!!

ОПОРА ПОРЯДКА

I

Вольнонаемный шпик Терентий Макаронов с раннего утра начал готовиться к выходу из дому. Он напялил на голову рыжий, плохо, по-домашнему, сработанный парик, нарумянил щеки и потом долго возился с наклеиванием окладистой бороды.

— Вот,— сказал он, тонко улыбнувшись сам себе в кривое зеркало.— Так будет восхитительно. Родная мать не узнает. Любопытная штука — наша работа... Приходится тратить столько хитрости, сообразительности и увертливости, что на десять Холмсов хватит. Теперь будем рассуждать так: я иду к адвокату Маныкину, которого уже достаточно изучил и выследил. Иду предложить себя на место его письмоводителя. (Ему такой, я слышал, нужен. А если я вотрусь к нему — остальное сделано.) Итак — письмоводитель. Спрашивается: как одеваются письмоводители? Мы, конечно, не Шерлоки Холмсы, а кое-что соображаем: мягкая цветная сорочка, потертый пиджак и брюки, хотя и крепкие, но с бахромой. Вот так! Теперь всякий за версту скажет: письмоводитель!

Макаронов натянул пальто с барашковым воротником и, выйдя из дому, крадучись зашагал по направлению к квартире адвоката Маныкина.

— Так-то,— бормотал он сам себе под нос.— Без индейской хитрости с этими людьми ничего не сделаешь. Умные, шельмы... Да Терентий Макаронов поумнее вас будет. Хе-хе!

У подъезда Маныкина он смело нажал кнопку звонка; горничная впустила его в переднюю и спросила:

— Как о вас сказать?

— Скажите: Петр Сидоров. Ищет места письмоводителя.

— Подождите тут, в передней.

Горничная ушла, и через несколько секунд из кабинета донесся ее голос:

— Там к вам шпик пришел, что под воротами допрежь все торчал. Я, говорит, Петр Сидоров и хочу наниматься в письмоводители. Бородищу наклеил, подмазался — прямо умора.

— Сейчас я к нему выйду,— сказал Маныкин.— Ты его где оставила, в передней?

— В передней.

— После посмотришь под диваном или за вешалкой — не сунул ли чего? Если найдешь, выброси.

— Как давеча?

— Ну да! Учить тебя, что ли? Как обыкновенно.

Адвокат вышел из кабинета и, осмотрев понурившегося Макаронова, спросил:

— Ко мне?

— Так точно.

— А знаешь, братец, тебе борода не идет. Такое чучело получилось...

— Да разве вы меня знаете? — с наружным удивлением воскликнул Макаронов.

— Тебя-то? Да мои дети по тебе, брат, в гимназию ходят. Как утро, они глядят в окно: «Вон, говорят, папин шпик пришел... Девять часов, значит. Пора в гимназию собираться».

— Что вы, господин,— всплеснул руками Макаронов.— Какой же я шпик?! Это даже очень обидно. Я вовсе письмоводитель — Петр Сидоров.

— Лизавета! — крикнул адвокат.— Дай мне пальто. Ну, что у вас в охранке... Всё по-старому?

— Мне бы местечко письмоводителя...— сказал Макаронов, хитрыми глазами поглядывая на адвоката.— По письменной части.

Адвокат засмеялся:

— А простой вы, хороший народ, в сущности. Славные детишки. Ты что же сейчас: за мной, конечно?

— Местечка бы,— упрямо сказал Макаронов.

— Лизавета! Выпусти нас.

Вышли вместе.

— Ну, я в эту сторону,— сказал адвокат.— А ты куда?

— Мне сюда. В обратную сторону.

Макаронов подождал немного и потом, опустив голову, опечаленный, поплелся за Маныкиным. Он потихоньку, как тень, крался за адвокатом, и единственное, что тешило его,— это что адвокат его не замечает.

Адвокат приостановился и спросил, обернувшись вполоборота к Макаронову:

— Как ты думаешь, этим переулком пройти на Московскую ближе?

— Ах, как это странно, что мы встретились,— с искусно разыгранным удивлением вскричал Макаронов.— Я было решил идти в ту сторону, а потом вспомнил, что мне сюда нужно. К тетке зайти.

«Ловко это я про тетку ввернул»,— подумал, усмехаясь внутренне, Макаронов.

— Ладно уж. Пойдем рядом. А то, смотри, еще потеряешь меня...

— Нет ли у вас места письмоводителя? — спросил Макаронов.

— Ну и надоел же ты мне, ваше благородие,— нервно вскричал адвокат.— Впрочем, знаешь что? Я как будто устал. Поеду-ка я на извозчике.

— Поезжайте,— пожал плечами Макаронов. («Ага! Следы хочет замести... Понимаем-с».) — А я тут к одному приятелю заверну.

Маныкин нанял извозчика, сел в пролетку и, оглянувшись, увидел, что Макаронов нанимает другого извозчика.

— Эй,— закричал он, высовываясь.— Как вас... письмоводитель! Пойди-ка сюда. Хочешь, братец, мы экономию сделаем?

— Я вас не понимаю,— солидно возразил Макаронов.

— Чем нам на двух извозчиках трепаться — поедем на одном. Все равно ты ведь от меня не отвяжешься. А расходы пополам. Идет?

Макаронов некоторое время колебался, потом пожал плечами и уселся рядом, решив про себя: «Так даже, пожалуй, лучше. Можно что-нибудь от него выведать».

— Ужасно тяжело, знаете, быть без места,— сказал он с напускным равнодушием.— Чуть не голодал я, вдруг — вижу ваше объявление в газетах насчет письмоводителя. Дай, думаю, зайду.

Адвокат вынул папиросу.

— Есть спичка?

— Пожалуйста. Вы что же, адвокатурой только занимаетесь или еще чем?

— Бомбы делаю еще,— подмигнул ему адвокат.

Сердце Макаронова радостно забилось.

— Для чего? — спросил он, притворно зевая.

— Мало ли. Знакомым раздаю. Послушайте... У вас борода слева отклеилась. Поправьте. Да не так!.. Ну вот, еще хуже сделали. Давайте я вам поправлю. Ну, теперь хорошо. Давно в охранном служите?

— Не понимаю, о чем вы говорите,— обиженно сказал Макаронов.— Жил я все время у дяди — дядя у меня мельник, а теперь места приехал искать... Может, дадите бумаги какие-нибудь переписывать или еще что?

— Отвяжись, братец. Надоел.

Макаронов помолчал.

— А из чего бомбы делаете?

— Из манной крупы.

«Хитрит,— подумал Макаронов.— Скрывает. Проговорился, а теперь сам и жалеет».

— Нет, серьезно, из чего?

— Заходи — рецептик дам.

II

Подъехали к большому дому.

— Мне сюда. Зайдешь со мной?

Понурившись, мрачно зашагал за адвокатом Макаронов.

Зашли к портному.

Маныкин стал примерять новый жакет, а Макаронов сел около брошенного на прилавок адвокатом старого пиджака и сделал незаметную попытку вынуть из адвокатова кармана лежавшие там письма и бумаги.

— Брось,— сказал ему адвокат, глядя в зеркало.— Ничего интересного. Как находишь — хорошо сидит жакет?

— Ничего,— сказал шпик, пряча руки в карманы брюк.— Тут только как будто морщит.

— Да, в самом деле морщит. А жилет как?

— В груди широковат,— внимательно оглядывая адвоката, сказал шпик.

— Спасибо, братец. Ну, значит, вы тут кое-что переделаете, а мы поедем.

После портного адвокат и Макаронов поехали на Михайловскую улицу.

— Налево, к подъезду,— крикнул адвокат.— Ну, милый мой, сюда тебе за мной не совсем удобно идти. Семейный дом. Ты уж подожди на извозчике.

— А вы скоро?

— Да тебе-то что? Ведь ты все равно около меня до вечера.

Адвокат скрылся в подъезде. Через пять минут в окне третьего этажа открылась форточка и показалась адвокатова голова.

— Эй, ты... письмоводитель, как тебя? Поднимись сюда, в номер десятый, на минутку.

«Клюет»,— подумал радостно Макаронов и, соскочив с извозчика, вбежал наверх.

В переднюю высыпала встречать его целая компания: двое мужчин, три дамы и гимназист.

Адвокат тоже вышел и сказал:

— Ты, братец, извини, что я тебя побеспокоил. Дамы, видишь ли, никогда не встречали живых шпиков. Просили показать. Вот он, mesdames. Хорош?

— А борода у него, что это... Привязная?

— Да, наклеенная. И парик тоже. Поправь, братец, парик. Он на тебя широковат.

— Что, страшно быть шпиком? — спросила одна дама участливо.

— Нет ли места какого? — спросил, делая простодушное лицо, Макаронов.— Который месяц я без места.

— Насмотрелись, господа? — спросил адвокат.— Ну, можешь идти, братец. Спасибо. Подожди меня на извозчике. Постой, постой... Ты тут какие-то бумажки обронил. Забери их, забери... А теперь иди.

Когда адвокат вышел на улицу — Макаронова не было.

— А где этот фрукт, что со мной ездил? — спросил он извозчика.

— Да тут за каким-то бородастым побёг.

— Этого еще недоставало! Не ждать же мне его тут на морозе.

Из-за угла показалась растрепанная фигура Макаронова.

— Ты где же это шатаешься, братец? — строго прикрикнул Маныкин.— Раз тебе поручили за мной следить — ты не должен за другими бегать. Жди тебя тут! Поправь бороду. Другая сторона отклеилась. Эх, ты... На что ты годишься, если даже бороды наклеить не умеешь. Отдери ее лучше да спрячь, чтоб не потерялась. Вот так... Пригодится. Засунь ее дальше — из кар-

мана торчит. Черт знает что! Извозчик! В ресторан «Слон».

Подъехали к ресторану.

— Ну, ты, сокровище,— спросил адвокат.— Ты, вероятно, тоже проголодался? Пойдем, что ли.

— У меня денег маловато,— робко сказал сконфуженный шпик.

— Ничего, пустое. Я угощу. После сочтемся. Ведь не последний же день вместе. А?

«Пойду-ка я с ним,— подумал Макаронов.— Подпою его, да и выведаю, что мне нужно. Пьяный всегда проболтается».

* * *

Было девять часов вечера. К дому, в котором помещалось охранное отделение, подъехали на извозчике двое: один мирно спал, свесив набок голову, другой заботливо поддерживал его за талию.

Тот, который поддерживал дремавшего, соскочил с пролетки и, позвонив у дверей, вызвал служителя.

— Вот,— сказал он ворчливо.— Привез вам сокровище. Получайте... Ваш?

— Будто наш.

— Ну, то-то. Тащите его, мне нужно дальше ехать... И как это он успел так быстро и основательно нарезаться... Постойте, осторожнее, осторожнее! Вы ему так голову расквасите. Берите под мышки! Постойте... У него из кармана что-то выпало. Записки какие-то литографированные... Гм!.. Возьмите... Ах, чуть не забыл... У меня его борода в кармане. Забирайте и бороду. Ну, прощайте. Когда проспится, скажите, что я завтра пораньше из дому выйду,— чтоб не опоздал. Извозчик, трогай!

БЫТ

I

Однажды, вскоре после того как я приехал в Петербург искать счастья (то было четыре года тому назад), мне вздумалось зайти закусить в один из самых больших и фешенебельных ресторанов.

Об этом ресторане до сих пор я знал только понаслышке... И вошел я в его монументальный огромный зал с некоторым трепетом.

И когда сел за столик, сразу на меня пахнуло суровостью и враждебностью незнакомого места. Было как-то холодно, страшно и неуютно... Официанты казались слишком необщительными, замкнутыми, метрдотель слишком величественным, а публика слишком враждебной и неприветливой.

«Господи! — подумал я.— Как мало в человеческих отношениях простоты, сердечности и уюта. Ведь они все такие же люди, как я; почему же они все так накрахмалены?! Так холодны? Чужды? Страшны?»

— Что прикажете? — сухо спросил метрдотель.

— Мне бы позавтракать.

— Простите, завтраков нет. Только до трех часов. А сейчас четверть четвертого.

— А вот те едят же,— смущенно кивнул я головой.

— Те заказали раньше,— ледяным тоном ответил метрдотель.

— Значит, что же выходит: что у вас мне не дадут есть?

— Почему же-с. Можно порционно. Но долго придется ждать: пока закажут, пока сделают.

— Тогда... ничего мне не надо,— сказал я, густо покраснев от сознания своего глупого положения.— Если у вас такие нелепые порядки — я уйду.

Я встал и, понурив голову, обескураженный, ушел, давая себе слово никогда больше в этот суровый ресторан не заглядывать.

* * *

Как это случилось — не знаю, но теперь это мой излюбленный ресторан.

Я в нем каждый день завтракаю, почти каждый день обедаю и часто ужинаю.

Швейцар на подъезде высаживает меня с извозчика и говорит:

— Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич!

Снимая с меня пальто, другой швейцар замечает:

— Снежком-то вас как, Аркадий Тимофеевич, занесло... Погодка — прямо беда! А вас тут спрашивали Анатолий Яковлевич.

— Он ушел?

— Ушли-с. А Николай Николаевич здесь. Они с господином Чимарозовым сидят.

Я вхожу в зал.

Полный, вальяжный официант дает мне лучший столик, подсовывает карточку с тайной ласковостью, радуясь, что может ввернуть такое словцо, говорит:

— Бульон-ерши, конечно? Традиционно?

— Традиционно,— улыбаюсь я.

И действительно, традиционно. Все традиционно... Буфетчик у буфета, наливая мне рюмку лимонной водки, сообщает, что «были Николай Николаевич и о вас справлялись», не спрашиваясь, поливает шофруа из утки соусом кумберленд и, не спрашиваясь, выдавливает на икру пол-лимона.

А сбоку подходит француз-метрдотель и говорит, мило грассируя:

— Вот, Аркадий Тимофеевич, говорят: заграница, заграница! А вы посмотрите, какие мы получили мандарины из Сухума — в десять раз лучше заграничных! Я вам пришлю отведать.

И все, что окружает меня в этом ресторане, дышит таким уютом, таким теплом и прочной лаской, что чувствуешь себя, как дома, как в своей собственной маленькой столовой.

II

Когда меня впервые оштрафовали за какую-то заметку, я пережил несколько очень тягостных, неприятных часов.

Так было странно и неуютно, когда утром пришел околоточный и, несмотря на то что я еще спал, потребовал, чтобы его провели ко мне.

— Да барин еще спит.

— Ну, все равно я подожду: посижу здесь, в приемной.

— Да он, может быть, еще часа два будет спать...

— Ну что же делать. А я его *должен* подождать. Дело срочное.

А когда я, наскоро одевшись, вышел к нему, меня поразил его неприветливый, гранитный вид.

— Что такое?

— Здравствуйте. Тут вот с вас нужно штраф взыскать... По распоряжению администрации.

— Да что вы говорите! Какой штраф? За что?!

— А вот тут сказано: за статью «Триумф октябристов».

— Позвольте! Да статья совсем безобидная!

— Не знаю-с. Меня не касается. Мне приказано взыскать деньги нынче же.

— Ну... а если я не уплачу?

— Тогда я обязан доставить вас в участок на предмет ареста.

Боже ты мой, как сухо, как официально.

Ни одной сердечной нотки... ни одного знака сочувствия.

Стоишь перед холодной гранитной стѐной, которая не сдвинется, не пошевелится, хотя бы облить ее целыми ручьями слез человеческих.

— А завтра уплатить можно?

— Не могу-с. Циркуляр. Мы отсрочить не имеем права.

И вспомнился мне тот величественный метрдотель, который категорически отказал в завтраке только потому, что было на пятнадцать минут больше трех.

Суровый, безжизненный, холодный гранит! Угрюмый, замкнутый в своем величии мавзолей!

* * *

Как это случилось, не знаю, но теперь я в полиции свой человек.

Околоточный входит ко мне в спальню (он милый человек, и я его не стесняюсь), потирает руки и делает несколько веских замечаний о погоде.

— Собачья погода. Снегом совсем запорошило. Теперь в наряде стоять — одна мука. Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич!

— А! Мое почтение, Семен Иванович. Ну что?

Он улыбается.

— Традиционно!

Говорит он это вкусно звучащее слово совсем так, будто бы за ним должен последовать «бульон-ерши».

Я уже не испытываю тягостного, неприятного чувства живого человека перед мертвой гранитной скалой. У нас тепло, дружба, уют.

— За что это они, Семен Иванович?

— А вот я номерок захватил. Поглядите. Вот, видите?

— Господи, да за что же тут?

— За что! Уж они найдут, за что. Да вы бы, Аркадий Тимофеевич, послабже писали, что ли. Зачем так налегать... Знаете уж, что такая вещь бывает,— пустили бы пожиже. Плетью обуха не перешибешь.

— Ах, Семен Иванович, какой вы чудак! «Полегче, полегче»! И так уж розовой водицей пишу. Так нет же, и это для них нецензурно.

— Да уж... тяжеленька ваша должность. Такой вы хороший человек, и так мне неприятно к вам с такими вещами приходить... Ей-богу, Аркадий Тимофеевич.

— Ну, что делать... Стаканчик чаю, а?

— Нет, уж я папироску выкурю и побегу. Дома-то у меня такая неприятность: жена кипятком руку обварила.

— А вы тертый картофель приложите: чудесно действует. Или чернилами обваренное место помажьте.

— Делали уж; и чернилами, и картофельную муку прикладывали.

— Ну, даст бог, пройдет. А Афанасий Петрович по-прежнему чертит?

— Да уж... горбатого могила исправит. Ну, я пойду. С деньгами как — традиционно? До завтра?

— Да, конечно. Я к Илье Константиновичу часа в три загляну. Всего хорошего.

В три часа я у Ильи Константиновича.

— А, господин анархист,— весело встречает он меня.— Традиционно? Садитесь! Я знаю, вы моих не курите, так я вам эти предложу, был Петр Матвеевич и забыл их у меня на столе. Курите контрабанду. Хе-хе.

— У Петра Матвеевича папироски хорошие,— соглашаюсь я, закуривая.— Марфу Илларионовну давно видели?

— Позавчера. В театре были. Потом поехали компанией ужинать и очень жалели, что вас не было.

— Да, да, очень жаль. Кстати, там у вас есть насчет меня предписание... четыреста рублей, так я...

— Знаю! Завтра, конечно, Аркадий Тимофеевич. А я те книжки, что вы мне дали, уже прочел. Следующий раз с Семеном Ивановичем их передам.

О «следующем разе» мы оба говорим так же хладнокровно, как о завтрашнем дне, который все равно неизбежно наступит...

Однажды я, по обыкновению, разогнался в свой

излюбленный ресторан, и вдруг швейцар остановил меня на пороге:

— Сегодня, Аркадий Тимофеевич, закрыто: по случаю начала ремонта.

Я заглянул в залу, и сердце мое сжалось: не было привычных столов, покрытых белоснежными скатертями, мягкого красного ковра и зелени трельяжей.

— Э, черт! Какого же дьявола вы не объявили раньше!

* * *

Однажды утром ко мне явился околоточный Семен Иванович.

Он обругал погоду и сообщил о нескольких новых штрихах в облике неуравновешенного Афанасия Петровича.

— Садитесь,— сказал я.— За какую статью? Сколько?

— Нисколько. Я зашел, чтобы вы подписали протокол по делу о столкновении моторов. Вы свидетелем были.

Чем-то чужим, неуютным пахнуло на меня... Будто бы взору моему вместо привычного вида трех рядов столов, покрытых скатертями и украшенных цветами, предстала суровая, чуждая картина голых стен и обнаженного от мягкого ковра пола.

И разговор на этот раз не вязался. Мы были выбиты из привычной колеи...

Когда нет быта с его знакомым уютом, с его традициями — скучно жить, холодно жить...

РАССКАЗ О КОЛОКОЛЕ

На случай, который я расскажу ниже, могут существовать только две точки зрения: автору можно поверить или не верить.

Автору очень хочется, чтобы ему поверили. Автор думает, что читателя тронет это желание, потому что обыкновенно всякому автору в глубокой степени безразлично — верит ему читатель или нет. Писатель палец о палец не ударит, чтобы заслужить безусловное доверие читателя.

Автор же нижеописанного в отдельном абзаце постарается привести некоторые доказательства тому, что весь рассказ не выдумка, а действительный случай.

Именно — автор дает честное слово.

Глава I

Однажды, в конце Великого поста, в наш город привезли новый медный колокол и повесили его на самом почетном месте в соборной колокольне.

О колоколе говорили, что он невелик, но звучит так прекрасно, что всякий слышавший умиляется душой и плачет от раскаяния, если совершил что-нибудь скверное.

Впрочем, и неудивительно, что про колокол ходили такие слухи: он был отлит на заводе по предсмертному завещанию и на средства одного маститого верующего беллетриста, весь век писавшего пасхальные и рождественские рассказы, герои которых раскаивались в своих преступлениях при первом звуке праздничных колоколов.

Таким образом, писатель как бы воздвиг памятник своему кормильцу и поильцу — и отблагодарил его.

Глава II

Едва запели певчие в Великую ночь: «Христос воскресе из мертвых...», как колокол, управляемый опытной рукой пономаря, вздрогнул и залился негромким радостным звоном.

Семейство инспектора страхового общества Холмушина сидело в столовой в ожидании священого кулича, потому что погода была дождливая и никто, кроме прислуги, не рискнул пойти в церковь.

Услышав звук колокола, инспектор поднял голову и сказал, обращаясь к жене:

— Да! Забыл совсем тебе сказать: ведь я нахожусь в незаконной связи с гувернанткой наших детей, девицей Верой Ковнаковой. Ты уж извини меня, пожалуйста!

Сидевшая тут же гувернантка прислушалась к звону колокола, вспыхнула до корней волос и возразила:

— Хотя это, конечно, и правда, но я должна со-

знаться, что, в сущности, не люблю вас, потому что вы старый и ваши уши поросли противным мохом. А вступила с вами в близкие отношения благодаря деньгам. Должна сознаться, что мне больше нравится ваш делопроизводитель Облаков, Василий Петрович. О, пощадите меня!

— Могу ли я вас обвинять,— пожала плечами жена Холмушина,— когда мой средний сын Петечка не мужний, а от доктора Верхоносова, с которым я встречалась во время оно в Москве.

— Очевидно, доктор Верхоносов был большой мошенник? — прислушиваясь к звуку колокола и покачивая головой, прошептал Петенька, гимназист четвертого класса.

— Почему?

— Вероятно, я в него удался: можете представить, в третьей четверти у меня поставлены две единицы, а я переправил их на «четыре» да и показал отцу.

— Дитё! — снисходительно улыбнулась старая нянька.— Сколько я у вас, господа вы мои, сахару перетаскала за все время, так это и пудами не сосчитать. Анадысь банку с вареньем выела, а потом разбила да на Анюточку и свалила: будто она разбила.

— Ничего! — махнула рукой маленькая Аня.— За банку мне только два подзатыльника и попало, а того, что я вчера в папином кабинете фарфорового медведя разбила,— никто и не знает.

Инспектор встал, потянулся и сказал:

— Пойти разве в кабинете написать в правление нашего общества заявление, что я третьего дня застраховал безнадежно чахоточного, подсунув вместо него доктору для осмотра здоровяка, кондуктора конки.

— Как же вы пошлете это заявление,— возразила горничная Нюша,— если я вчера из коробки на вашем письменном столе все почтовые марки покрала.

— Жаль,— сказал инспектор.— Ну, все равно — поеду к полицейскому, заявлю ему, потому что это дело — уголовное.

Глава III

Инспектор оделся и вышел на улицу. Колокол звонил...

Нищий подошел к нему и укоризненно сказал:

— Вы мне уже третий год даете то две, то три копейки при каждой встрече. Где у вас глаза-то были?

— А что?

— Да я в сто раз, может быть, богаче вас: у меня есть два дома на Московской улице.

Какой-то запыхавшийся человек с размаху налетел на них и торопливо спросил:

— Где тут принимают заявления о побеге с каторги?

— Пойдем вместе,— сказал инспектор.— Мне нужно заявить тоже об уголовном дельце.

— И я с вами,— привязался нищий.— Ведь я один-то дом нажил неправильным путем — обошел сиротку одну. Лет двадцать как это было — да уж теперь заодно заявить, что ли?

Все трое зашагали по оживленной многолюдной улице, по которой сновала одинаково настроенная публика. Кто шел на участок, кто к прокурору, а один спешил даже к любовнице, чтобы признаться ей, что любит жену больше, чем ее.

Все старательно обходили купца, стоявшего на коленях без шапки посреди улицы. Купец вопил:

— Покупатели! Ничего нет настоящего у меня в магазине — все фальшивое! Мыло, масло, табак, икра — даже хлеб! Как это вы терпели до сих пор — удивляюсь.

— Каяться вы все мастера,— возразил шедший мимо покупатель,— а того, что я тебе вчера фальшивую сторублевку подсунул,— этого ты небось не знаешь. Эй, господин, не знаете, какой адрес прокурора?

Глава IV

В участке было шумно и людно.

Пристав и несколько околоточных сортировали посетителей по группам — мошенников отдельно, грабителей отдельно, а мелких жуликов просто отпускали.

— Вы что? Ограбление? Что? Вексель подделали! Так чего же вы лезете? Ступайте домой, и без вас есть много поважнее. Это кто? Убийца? Ты, может, врешь! Свидетели есть? Господа! Ради бога, не все сразу —

всем будет место. Сударыня, куда вы лезете с вашим тайным притоном разврата?! Не держите его больше — и конец. Ты кто? Конокрад, говоришь? Паспорт! Вы что? Я сказал вам уже — уходите!

— Господин пристав! Как же так уходите? А что у меня два года фабрика фальшивых полтинников работает — это, по-вашему, пустяки?

— Ах ты, господи! Сейчас только гравера со сторублевками выгнал, а тут с вашими полтинниками буду возиться.

— Да ведь то бумага, дрянь — вы сами рассудите. А тут металл! Работа по металлу! Уважьте!

— Ступайте, ступайте. Это что? Что это такое в конвертике? Больше не беру. Ни-ни!

Полицмейстер вышел из своего кабинета и крикнул:

— Это еще что за шум! Вы мешаете работать. Я как раз подсчитывал полученные от... Эй, гм! Кто там есть! Ковальченко, Седых! Это, наконец, невозможно! Бегите скорее к собору, возьмите товарищей, остановите звонаря и снимите этот несносный колокол. Да остерегайтесь, чтобы он не звякнул как-нибудь нечаянно.

Глава V

Колокол сняли...

Он долго лежал у задней стены соборной ограды; дожди его мочили, и от собственной тяжести он уже наполовину ушел в землю. Изредка мальчишки, ученики приходского училища, собирались около него поиграть, тщетно совали внутрь колокола ручонки с целью найти язык — язык давно уже, по распоряжению полицмейстера, был снят и употреблен на гнет для одной из бочек с кислой капустой, которую полицмейстер ежегодно изготовлял хозяйственным способом для надобностей нижних чинов пожарной команды.

Долго бы пришлось колоколу лежать в бездействии, уходя постепенно в мягкую землю,— но приехали однажды какие-то люди, взвалили его на ломовика, увезли и продали на завод, выделывавший медные пуговицы для форменных мундиров.

* * *

Теперь, если вы увидите чиновничий или полицейский мундир, плотно застегнутый на пуговицы,— блестящие серебряные пуговицы,— знайте, что под тонким слоем серебра скрывается медь.

Пуговицы хорошие, никогда сами собою не расстегиваются, а если об одну из них нечаянно звякнет орденок на груди, то звук получается такой тихий, что его даже владелец ордена не расслышит.

ЛЮДИ, БЛИЗКИЕ К НАСЕЛЕНИЮ

Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказало разнеженным голосом:

— Ах, вы знаете, какая прелесть это искусство!.. Вот я на днях был в Эрмитаже, такие там есть картинки, что пальчики оближешь: Рубенсы разные, Теннирсы, голландцы и прочее в этом роде.

Секретарь подумал и сказал:

— Да, живопись — приятное времяпрепровождение.

— Что живопись? А музыка! Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь... Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли...

— Гуно — хороший композитор,— подтвердил секретарь.— Вообще, музыка — увлекательное занятие.

— А поэзия! Стихи возьмите. Что может быть возвышеннее?

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
И я понял в одно мгновенье...

Ну, дальше я не помню. Но, в общем, хорошо!

— Да-с. Стихи чрезвычайно приятные и освежительны для ума.

— А науки!..— совсем разнежась, прошептало его превосходительство.— Климатология, техника, гидрография... Я прямо удивляюсь, отчего у нас так мало открытий в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах?

— Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в безвестности.

— Надо их открывать и... как это говорится, вытаскивать за уши на свет божий.

— Некому поручить, ваше превосходительство!

— Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе всех к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению?

— Полиция, ваше превосходительство!

— И прекрасно! Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят! Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится.

— О-о, какая чудесная мысль! Ваше превосходительство, вы будете вторым Фуке!

— Почему вторым? Я могу быть и первым!

— Первый уже был. При Людовике XIV. При нем и благодаря ему расцветали Лафонтен, Мольер и др.

— А-а, приятно, приятно! Так вы распорядитесь циркулярчиком.

* * *

Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчивость и затем еще раз перечитал полученную бумагу:

«2 февраля 1916 г.
Второе делопроизводство
департамента.

Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чинам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи или музыки, техники в широком смысле или климатологии,— немедленно доводить до вашего сведения, и затем, по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в министерство внутренних дел по департаменту полиции».

Очнулся.

— Позвать Илью Ильича! Здравствуйте, Илья Ильич! Я тут получил одно предписаньице: узнавать,

кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией или вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснении лиц, занимающихся означенными предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению!

— Слушаю-с.

* * *

— Илья Ильич, вы вызывали исправника. Он ожидает в приемной.

— Ага, зовите его! Здравствуйте! Вот что, мой дорогой! Тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией, и, по разыскании и выяснении их знания и прочего, сообщать об этом нам. Понимаете?

— Еще бы не понять? Будьте покойны, не скроются.

* * *

— Становые пристава все в сборе?

— Все, ваше высокородие!

Исправник вышел к приставам и произнес им такую речь:

— До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам, господа, таковых лиц обнаруживать и, по снятии с них показаний, сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения.

* * *

Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава:

— Ребята! До сведения начальства дошло, что тут некоторые из населения занимаются художеством — музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и, по выяснении их художеств, направлять в стан. Предупреждаю: дело очень серьез-

ное и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли?

— Поняли, ваше благородие! Они у нас почешутся. Всех переловим.

— Ну, вот то-то. Ступайте!

* * *

— Ты Иван Косолапов?

— Я, господин урядник!

— На гармонии, говорят, играешь?

— Это мы с нашим вдовольствием.

— А-а-а... «С вдовольствием»? Вот же тебе, паршивец!

— Господин урядник, за что же? Нешто уж и на гармонии нельзя?

— Вот ты у меня узнаешь «вдовольствие»! Я вас, мерзавцев, всех обнаружу. Ты у меня заиграешь! А климатологией занимаешься?

— Что вы, господин урядник! Нешто возможно? Мы, слава богу, тоже не без понятия.

— А кто же у вас тут климатологией занимается?

— Надо быть, Игнашка Кривой к этому делу причинен. Не то он конокрад, не то это самое.

— Взять Кривого. А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор, пока всех сообщников не покажешь.

* * *

— Ты — Кривой?

— Так точно.

— Климатологией занимался?

— Зачем мне? Слава богу, жена есть, детки...

— Нечего прикидываться! Я вас всех, дьяволов, переловлю! Песни пел?

— Так нешто я один. На лугу-то запрошлое воскресенье все пели: Петрушка Кондыба, Фома Хряк, Хромой Елизар, дядя Митяй да дядя Петряй...

— Стой, не тарахти! Дай записать... Эка, сколько народу набирается. Куда его и сажать? Ума не приложу.

* * *

Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции донесения:

«Согласно циркуляра от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем, после некоторого запирательства, изобличены и в настоящее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения».

* * *

Второй Фуке мирно спал, и грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мольер разыгрывал перед ним «Проделки Скапена».

А Лафонтены и Мольеры, сидя по «холодным» и «кордегардиям» необъятной матери-России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.

РЕЗНАЯ РАБОТА

Недавно один петроградский профессор забыл после операции в прямой кишке больного В. трубку (дренаж) в пол-аршина длиной.

В операционной кипит работа.

— Зашивайте,— командует профессор.— А где ланцет? Только сейчас тут был.

— Не знаю. Нет ли под столом?

— Нет. Послушайте, не остался ли он там?..

— Где?

— Да там же. Где всегда.

— Ну где же?!!

— Да в полости желудка.

— Здравствуйте! Больного уже зашили, так он тогда только вспомнил. О чем вы раньше думали?!

— Придется расшить.

— Только нам и дела, что зашивать да расшивать. Впереди еще шесть операций. Несите его.

— А ланцет-то?

— Бог с ним, новый купим. Он недорогой.

— Я не к тому. Я к тому, что в желудке остался.

— Рассосется. Следующего! Первый раз оперируетесь, больная?

— Нет, господин профессор, я раньше у Дубинина оперировалась.

— Ага!.. Ложитесь. Накладывайте ей маску. Считайте! Ну? Держите тут, растягивайте. Что за странность! Прощупайте-ка, коллега... Странное затвердение. А ну-ка... Ну вот! Так я и думал... Пенсне! Оригинал этот Дубинин. Отошлите ему, скажите — нашлось.

— А жаль, что не ланцет. Мы бы им вместо пропавшего воспользовались... Зашивайте!

— А где марля? Я катушки что-то не вижу. Куда она закатилась?

— Куда, куда! Старая история. И что это у вас за мания — оставлять у больных внутри всякую дрянь.

— Хорошая дрянь! Марля, батенька, денег стоит.

— Расшивать?

— Ну, из-за катушки... стоит ли?

— Я к тому, что марля... в животе...

— Рассосется. Я один раз губку в желудок зашил, и то ничего.

— Рассосалась?

— Нет, но оперированный горчайшим пьяницей сделался.

— Да что вы!

— Натурально! Выпивал он потом, представьте, целую бутылку водки — и ничего. Все губка впитывала. Но как только живот поясом потуже стянет — так сразу как сапожник пьян.

— Чудеса!

— Чудесного ничего. Научный факт. В гостях, где выпивка была бесплатная, он выпивал невероятное количество водки и вина и уходил домой совершенно трезвый. Потом дома уже — потрет руки, крякнет: «Ну-ка, рюмочку выпить, что ли!» И даванет себя кулаком в живот. Рюмку из губки выдавит, закусит огурцом, походит — опять: «Ну-ка, говорит, давнем еще рюмочку!..» Через час — лыка не вяжет. Так пил по мере надобности... Совсем как верблюд в пустыне.

— Любопытная исто... Что вы делаете? Что вы только делаете, поглядите!!!.. Ведь ему гланды нужно вырезать, а вы живот разрезали!!

— Гм... да... Заговорился. Ну все равно, раз разрезал — поглядим: нет ли там чего?..

— Нет?

— Ничего нет. Странно.

— Рассосалось.

— Зашивайте. Ффу! Устал. Закурить, что ли... Где мой портсигар?

— Да тут он был; недавно только держали. Куда он закатился?

— Неужто портсигар зашили?

— Оказия. Что же теперь делать?

— Что, что! Курить смерть как хочется. И потом, вещь серебряная. Расшивайте скорей, пока не рассосался!

— Есть?

— Нет. Пусто, как в кармане банкрота.

— Значит, у кого-нибудь другого зашили. Все оперированные здесь?

— Неужели всех и распарывать?

— Много ли их там — шесть человек! Порите.

. . . .

— Всех перепороли?

— Всех.

— Странно. А вот тот молодой человек, что в двери выглядывает? Этого, кажется, пропустили. Эй, вы — как вас? — ложитесь!

— Да я...

— Ничего там — не «да я»... Ложитесь. Маску ему. Считайте.

— Да я...

— Нажимайте маску крепче. Так. Где нож? Спасибо.

— Ну? Есть?

— Нет. Ума не приложу, куда портсигар закатился. Ну, очнулись, молодой человек?

— Да я...

— Что «вы», что «вы»?! Говорите скорей, некогда...

— Да я не за операцией пришел, а от вашей супруги... Со счетом из башмачного магазина.

— Что же вы лезете сюда? Только время отнимаете! Где же счет? Ложитесь, мы его сейчас извлечем.

— Что вы! Он у меня в кармане...

— Разрезывайте карман! Накладывайте на брюки маску...

— Господин профессор, опомнитесь!.. У меня счет и так вынимается из кармана. Вот, извольте.

— Ага! Извлекли? Зашивайте ему карман.

— Да я...

— Следующий! — бодро кричит профессор.— Очистите стол. Это что тут такое валяется?

— Где?

— Да вот тут, на столе.

— Гм! Чей-то сальник. Откуда он?

— Не знаю.

— Сергей Викторович, не ваш?

— Да почему же мой?! — огрызается ассистент.— Не меня же вы оперировали. Наверное, того больного, у которого камни извлекали.

— Ах ты ж, господи,— вот наказание! Верните его, скажите, пусть захватит.

— Молодой человек! Сальничек обронили...

— Это разве мой?

— Больше ничей, как ваш.

— Так что же я с ним буду делать? Не в руках же его носить... Вы вставьте его обратно!

— Эх, вот возня с этим народом! Ну, ложитесь. Вы уже поролись?

— Нет, я только зашивался.

— Я у вас не забыл своего портсигара?

— Ей-богу, в глаза не видал... Зачем мне...

— Ну, что-то у вас глаза подозрительно бегают. Ложитесь! Маску! Считайте! Нажимайте! Растягивайте!

— Есть?

— Что-то такое нащупывается... Какое-то инородное тело. Дайте нож!

— Ну?

— Постойте... Что это? Нет, это не портсигар.

— Бумажка какая-то... Странно... Э, черт! Видите?

— Ломбардная квитанция!

— Ну конечно: «Подержанный серебряный портсигар с золотыми инициалами М. К.» Мой! Вот он куда закатился! Вот тебе и закатился...

— Хе-хе, вот тебе и рассосался.

— Оборотистый молодой человек!

— Одессит, не иначе.

— Вставьте ему его паршивый сальник и гоните вон. Больных больше нет?

— Нет.

— Сюртук мне! Ж-живо! Подайте сюртук.

— Ваш подать?

— А то чей же?

— Тут нет никакого сюртука.

— Чепуха! Тут же был.

— Нет!.. Неужели?..

— Черт возьми, какой неудачный день! Опять сызнова всех больных пороть придется. Скорее, пока не рассосался! Где фельдшерица?

— Нет ее...
— Только что была тут!
— Не зашили ли давеча ее в одессита?!.
— Неужели рассосалась?..
— Ну и денек!..

. . . .

ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА

I

Когда на Макса Двуутробникова нападал прилив откровенности, он простодушно признавался:

— Я не какой-нибудь там особенный человек... О нет! Во мне нет ничего этакого... небесного. Я самый земной человек.

— В каком смысле — земной?

— Я? Реалист-практик. Трезвая голова. Ничего небесного. Только земное и земное. Но психолог. Но душу человеческую я понимаю.

Однажды, сидя в будуаре Евдокии Сергеевны и глядя на ее распухшие от слез глаза, Макс пожал плечами и сказал:

— Плакали? От меня ничего не скроется... Я психолог. Не нужно плакать. От этого нет ни выгоды, ни удовольствия.

— Вам бы только все выгода и удовольствие,— покачала головой Евдокия Сергеевна, заправляя под наколку прядь полуседых волос.

— Обязательно. Вся жизнь соткана из этого. Конечно, я не какой-нибудь там небесный человек. Я земной. Но в окружающей жизни разбираюсь во́ как.

— Да? А я вот вдвое старше вас, а не могу разобраться в жизни.

Она призадумалась и вдруг решительно повернула заплаканное лицо к Максу.

— Скажите, Мастаков — пара для моей Лиды или не пара?

— Мастаков-то? Конечно, не пара.

— Ну вот: то же самое и я ей говорю. А она и слышать не хочет. Влюблена до невероятности. Я уж, знаете,— грешный человек — пробовала и наговаривать на

него, и отрицательные стороны его выставлять — и ухом не ведет.

— Ну знаете... Это смотря какие стороны выставить... Вы что ей говорили?

— Да уж будьте покойны — не хорошее говорила: что он и картежник, и мот, и женщины за ним бегают, и сам он-де к женскому полу неравнодушен... Так расписала, что другая бы и смотреть не стала.

— Мамаша! Простите, что я называю вас мамашей, но в уме ли вы? Ведь это нужно в затмении находиться, чтобы такое сказать!! Да знаете ли вы, что этими вашими наговорами, этими его пороками, вы втрое крепче привязали ее сердце!! Мамаша! Простите, что я вас так называю, но вы поступили по-сапожнически.

— Да я думала ведь, как лучше.

— Мамаша! Хуже вы это сделали. Все дело испортили. Разве так наговаривают? Подумаешь — мот, картежник... Да ведь это красиво! В этом есть какое-то обаяние. И Герман в «Пиковой даме» — картежник, а смотрите, в каком он ореоле ходит... А отношение женщин... Да ведь она теперь, Лида ваша, гордится им, Мастаковым этим паршивым: «Вот, дескать, какой покоритель сердец!.. Ни одна перед ним не устоит, а он мой!» Эх вы! Нет, наговаривать, порочить, унижать нужно с толком... Вот я наговорю так наговорю! И глядеть на него не захочет...

— Макс... Милый... Поговорите с ней.

— И поговорю. Друг я вашей семье или недруг? Друг. Ну значит, моя обязанность позаботиться. Поговорим, поговорим. Она сейчас где?

— У себя. Кажется, письмо ему пишет.

— К черту письмо! Оно не будет послано!.. Мамаша! Вы простите, что я называю вас мамашей, но мы камня на камне от Мастакова не оставим.

II

— Здравствуйте, Лидия Васильевна! Письмецо строчите? Дело хорошее. А я зашел к вам поболтать. Давно видели моего друга Мастакова?

— Вы разве друзья?

— Мы-то? Водой не разольешь. Я люблю его больше всего на свете.

— Серьезно?

— А как же. Замечательный человек. Кристальная личность.

— Спасибо, милый Макс. А то ведь его все ругают... И мама, и... все. Мне это так тяжело.

— Лидочка! Дитя мое... Вы простите, что я вас так называю, но... никому не верьте! Про Мастакова говорят много нехорошего — все это ложь! Преотчаянная, зловонная ложь. Я знаю Мастакова, как никто! Редкая личность! Душа изумительной чистоты!..

— Спасибо вам... Я никогда... не забуду...

— Ну, чего там! Стоит ли. Больше всего меня возмущает, когда говорят: «Мастаков — мот! Мастаков швыряет деньги куда попало!» Это Мастаков-то мот? Да он, прежде чем извозчика нанять, полчаса с ним торгуется! Душу из него вымотает. От извозчика пар идет, от лошади пар идет, и от пролетки пар идет. А они говорят — мот!.. Раза три отойдет от извозчика, опять вернется, и все это из-за гривенника. Ха-ха! Хотел бы я быть таким мотом!

— Да разве он такой? А со мной когда едет — никогда не торгуется.

— Ну что вы... Кто же осмелится при даме торговаться?! Зато потом, после катанья с вами, придет, бывало, ко мне — и уж он плачет, и уж он стонет, что извозчику целый лишний полтинник передал. Жалко смотреть, как убивается. Я его ведь люблю больше брата. Замечательный человек. Замечательный!

— А я и не думала, что он такой... экономный.

— Он-то? Вы еще не знаете эту кристальную душу! Твоего, говорит, мне не нужно, но уж ничего и своего, говорит, не упущу. Ему горничная каждый вечер счет расходов подает, так он копеечки не упустит. «Как, говорит, ты спички поставила 25 копеек пачка, а на прошлой неделе они 23 стоили? Куда две копейки дела, признавайся!» Право, иногда, глядя на него, просто зависть берет.

— Однако он мне несколько раз подносил цветы... Вон и сейчас стоит букет — белые розы и мимоза — чудесное сочетание.

— Знаю! Говорил он мне. Розы четыре двадцать, мимоза два сорок. В разных магазинах покупал.

— Почему же в разных?

— В другом магазине мимоза на четвертак дешевле. Да еще выторговал пятнадцать копеек. О, это настоящий американец! Воротнички у него, например, гутта-

перчевые. Каждый вечер резинкой чистит. Стану я, говорит, прачек обогащать. И верно — с какой стати? Иногда я гляжу на него и думаю: «Вот это будет муж, вот это отец семейства!» Да... счастлива будет та девушка, которая...

— Постойте... Но ведь он получает большое жалованье! Зачем же ему...

— Что? Быть таким экономным? А вы думаете, пока он вас не полюбил, ему женщины мало стоили?

— Ка-ак? Неужели он платил женщинам? Какая гадость!

— Ничего не гадость. Человек он молодой, сердце не камень, а женщины вообще, Лидочка (простите, что я называю вас Лидочкой),— страшные дуры.

— Ну уж и дуры.

— Дуры! — стукнул кулаком по столу разгорячившийся Макс.— Спрашивается: чем им Мастаков не мужчина? Так нет! Всякая нос воротит. «Он, говорит она, неопрятный. У него всегда руки грязные». Так что ж, что грязные? Велика важность! Зато душа хорошая. Зато человек кристальный! Эта вот, например, изволите знать?.. Марья Кондратьевна Ноздрякова — изволите знать?

— Нет, не знаю.

— Я тоже, положим, не знаю. Но это не важно. Так вот, она вдруг заявляет: «Никогда я больше не поцелую вашего Мастакова — противно».— «Это почему же-с, скажите на милость, противно? Кристальная, чудесная душа, а вы говорите — противно?..» — «Да я, говорит, сижу вчера около него, а у него по воротнику насекомое ползет...» — «Сударыня! Да ведь это случай! Может, как-нибудь нечаянно с кровати заползло»,— и слышать не хочет глупая баба! «У него, говорит, и шея грязная». Тоже, подумаешь, несчастье, катастрофа! Вот, говорю, уговорю его сходить в баню, помыться — и все будет в порядке! «Нет, говорит! И за сто рублей его не поцелую». За сто не поцелуешь, а за двести небось поцелуешь. Все они хороши, женщины ваши.

— Макс... Все-таки это неприятно, то, что вы говорите...

— Почему? А по-моему, у Мастакова ярко выраженная индивидуальность... Протест какой-то красивый. Не хочу чистить ногти, не хочу быть как все. Анархист. В этом есть какой-то благородный протест.

— А я не замечала, чтобы у него были ногти грязные...

— Обкусывает. Все великие люди обкусывали ногти. Наполеон там, Спиноза, что ли. Я в календаре читал.

Макс, взволнованный, помолчал.

— Нет, Мастакова я люблю и глотку за него всякому готов перервать. Вы знаете, такого мужества, такого терпеливого перенесения страданий я не встречал. Настоящий Муций Сцевола, который руку на сковороде изжарил.

— Страдание? Разве Мастаков страдает?!

— Да. Мозоли. Я ему несколько раз говорил: почему не срежешь? «Бог с ними, говорит, не хочу возиться». Чудесная детская хрустальная душа...

III

Дверь скрипнула. Евдокия Сергеевна заглянула в комнату и сказала с затаенным вздохом:

— Мастаков твой звонит. Тебя к телефону просит...

— Почему это мой? — нервно повернулась в кресле Лидочка.— Почему вы все мне его навязываете?! Скажите, что не могу подойти... Что газету читаю. Пусть позвонит послезавтра... или в среду — не суть важно.

— Лидочка,— укоризненно сказал Двуутробников,— не будьте так с ним жестоки. Зачем обижать этого чудесного человека, эту большую, ароматную душу!

— Отстаньте вы все от меня! — закричала Лидочка, падая лицом на диванную подушку.— Никого мне, ничего мне не нужно!!!

Двуутробников укоризненно и сокрушенно покачал головой. Вышел вслед за Евдокией Сергеевной и, деликатно взяв ее под руку, шепнул:

— Видал-миндал?

— Послушайте... Да ведь вы чудо сделали!! Да ведь я теперь век за вас молиться буду.

— Мамаша! Сокровище мое. Я самый обыкновенный земной человек. Мне небесного не нужно. Зачем молиться? Завтра срок моему векселю на полтораста рублей. А у меня всего восемьдесят в кармане. Если вы...

— Да господи! Да хоть все полтораста!..

И, подумав с минуту, сказал Двуутробников снисходительно:

— Ну ладно, что уж с вами делать. Полтораста так полтораста. Давайте!

САМОНОВЕЙШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

I. Писатель Деревянкин в гостях у Чехова

— Скажите, Антон Петрович сейчас дома? Павлович? Почему же Павлович? Отца Павлом звали? Ну, это еще не доказательство.

Вы говорите, нет дома? А чей же это профиль я вижу там, над письменным столом? Стыдно врать, девушка. Такая молодая — и уже врешь. Скажу твоему барину, он тебя и прогонит.

Что? Нет, я прямо к нему в кабинет пройду. Что? Ничего... Как писатель к писателю. Это в нашей среде допускается.

— Здравствуйте, коллега. Что? Конечно, коллега. Вы пишете, и я пишу. Помешал? Пишете? Ну ничего. Отдохнете. Вам же и полезно — вон все говорят, что у вас чахотка. Молоко нужно пить, капусту есть, сало, гулять больше. А работа не уйдет. Посидим, поболтаем... Ну, расскажите что-нибудь о себе... Голова болит? Это от работы.

Хотя ведь эти штучки, что вы пишете, они не должны утомлять. Чик-чик, и готово!

Вот Достоевский писал — это я понимаю. Не вертопрах был. Сто печатных листов, полтораста.

Послушайте, Антоша... (Вы позволите мне вас так называть?) Почему бы вам не написать большую вещь какую-нибудь... Роман, что ли. А то так — что же... Ведь физиономии не видно! Пишет, пишет человек, а физиономии и нет.

Конечно, я понимаю, рассказ писать легче, чем роман. Но милый мой! Нужно же идти вперед.

Да! Был со мной вчера случай — совсем тема для вашего рассказа. Вы эти штуки хорошо делаете. Вот — изобразите: еду я вчера на извозчике, вдруг ветер шляпу с головы — хлоп! А на земле лужи после дождя. Шляпа прямо в лужу. Я погнался за шляпой, да ногой в лужу — хлоп! В это время одна барыня и проходи

мимо. Я ее грязью из лужи — хлоп! Все платье! Ахнула она, схватилась за голову и выпустила из рук веревочку, на которой вела собаку!.. Собака удирать, барыня орет, я чищу шляпу — шум, гам. У вас это хорошо выйдет.

Что? Почему нельзя курить? Не переносите? Ах да... Простите. Я забыл совсем, что туберкуленок не любит дыму. Ну, сейчас брошу. Докурю и брошу. Что? Жалко же так бросать.

Чуть не забыл! Просьба у меня к вам. Подарите мне свою карточку с надписью. А я вам свою. Я, впрочем, уж приготовил! «Певцу сумерек от певца яркого солнечного света и красивой жизни. Чехову — Деревянкин». Вы замечаете эпическую простоту последних слов?

Кто такой Чехов? Не нужно объяснять — все знают. Кто такой Деревянкин? Не нужно объяснять — все знают.

А вы напишите так на карточке: «Певцу яркого солнечного света и красивой жизни — от певца сумерек. Деревянкину — Чехов». Понимаете? Наоборот.

Неудобно? Почему неудобно? Странно... Если я сделал такую подпись, почему же вам неудобно? Что? Как же вы не певец сумерек? Вас так и критика называет. Пишите, пишите. Вот вам перо.

Что это вы виски трете? Голова болит? Я вам надоел, наверно, своей болтовней? Нет? Ну, спасибо. Что? Посидеть еще пять минут? Посижу, посижу.

Ну, что бы вам еще такое рассказать? Кстати! Тема у меня есть для вас... я вам дам только канву, а уж вы там... размажете пофигуристее. У моего знакомого Булкина есть две дочки... И появляется на горизонте молодой человек Островерхов! Понимаете? Ну, влюбляются... А Островерхов в это время к какой-то вдове-купчихе стал захаживать... Но та на него — нуль внимания, пуд презрения — спит и видит, как бы ей познакомиться с баритоном Драбантовым. И чем же, вы думаете, это кончилось — обобрал ее Драбантов и бросил! Каково? Вот вам и сумерки русской жизни. Как раз для вас... Вы уж эту коллизию распутайте сами. Что? Ах, я и забыл, что нельзя курить... Совершенно машинально. Что? Где плакат? Ах, да, да. «Просят не курить». Ну, не буду. Докурю и брошу.

А анафемская эта штука — туберкулез. У нас один учитель чистописания... Куда же вы? Послушайте!..

Ушел... Вот оригинал-то. Вечные причуды у этих «имен». Слушай, Глаша! Как? Катя? Все равно. Послушай, Кэтти, куда это убежал твой барин? Это, знаешь ли, не совсем гостеприим... Наверх? А что там у него наверху? Просто комната? Ага... Ну, тогда, значит, можно. Пойдем в просто комнату...

— Антонеско! Здесь вы? Ишь ты, куда забрался... Что это вы удрали так сразу? Ну да ничего, ничего. Какие там между коллегами церемонии... Вы полежите, а я около вас посижу... Поболтаем...

Скажите, что такое вышло с вашей «Чайкой»? Говорят, прежестоко провалилась... Что? Почему неприятно вспоминать? Наплюйте! Вон когда у меня провалились в Останкине «Звоны женского сердца» — что ж, я страдал или нет? Нет! Пошел после спектакля и так нализался с комиком Горшок-Ухватовым, что до сих пор на шее два шрама... Водевиль мой «Ах, ах, Матреша, что же это такое?» так освистали, что до сих пор в ушах шум... Нет, пьесы — это чепуха! Нужно роман писать...

Что? Голова болит? Я вам еще не надоел своей болтовней? А? Что? Почему же вы молчите? Послушайте! Я спрашиваю: я вам еще не надоел своей болтовней? Нет? Ну ладно. Посидеть еще две минуты, вы говорите? Ну, посижу.

Ах да! Еще одна тема у меня для вас есть...

Что? И тут нельзя курить? Почему? Тут же нет плаката! Ну, извините. Не знал. Не буду. Докурю и брошу.

Куда же вы? Антон Павлыч! Антонелли! Антонио!..

Ушел... Вот непоседа!

Послушай, Миликтриса Кирбитьевна! Где барин твой? В сарай пошел? Зачем? Просто так? А где этот сарай? Ага! Спасибо.

— Послушайте, вы, чудачина... Что вы тут в сарае делаете? Сыро тут, а у вас чахотка... Вот оригинал: сидит на дровах и молчит. Подвиньтесь-ка...

О чем я, бишь, начал тогда? Ах да! Тема для вас есть. Как раз в вашем духе... Мне теща рассказывала. Побились об заклад два мужика в нашем городе, что один из них выпьет сорок бутылок пива. Начал... Пьет он десятую бутылку, пятнадцатую, шестнадцатую... Все сорок выпил и пошел, как ни в чем не бывало. Это вам, батенька, не сумерки!..

Что это вы? Заснули? Послушайте... А зачем же

лицо руками закрывать... Плачет! Вот чудак... С чего это вы! Ведь мужик же не умер, а пошел себе, как ни в чем не бывало, по своим делам... Вот чувствительная душа-то! Плачет... Ну, успокойтесь, Антонио, Антонаки! Хотите папиросочку? Не курите? Слушайте... Я вам не надоел, а? Вы скажите... Если надоел, я уйду.

Молчит... Вот чудак-то! Антуан! Чего же вы молчите? Я спрашиваю — надоел я вам? А? Оригинал! Как я его своим мужиком расстроил... Молчит, а слезы по лицу текут...

Антонеско! Куда ж вы! Господи! Опять ушел... Прямо даже обидно.

Повар, послушайте... Эй, как тебя... Красная рубаха! Вы не повар? А кто же вы? Кучер? Ну, на вас не написано, что вы кучер. Скажите, кучер, в какую сторону пошел Антон Павлыч?

На ко-ню-шню?.. Что только этот человек может выкинуть! Где его там найти, кучер?

А у вас лошади не кусаются? То-то. Где же твой барин? Его здесь нет. В стойлах погляди! Нет? А тут? За мешками? Нет?

Наверху у вас что? Сеновал? А где же лестница? Ну конечно, он там, наверху... Вон и конец лестницы торчит. С собой втащил. Принеси другую!

Антоний! Ты здесь? Ишь ты, шельмец... Забрался и молчит. Где ты тут? Ишь ты, как в сено зарылся...

Опять плачет! Что с ним такое? Ну, успокойся, Антонадзе! Неужели тебя история с дочками Булкина так расстроила? Ишь заливается! Что это, в самом деле, у тебя за сумеречное настроение?.. Пойдем отсюда, милый... Тут нехорошо, сыро, холодно... Я тебя уложу дома в постель, попою чем-нибудь, посижу около тебя. Ну, пойдем! Эй, Никита! Принимай снизу барина... Лови — бросаю! Гоп!..

. . . .

II. Певец сумерек

(Воспоминания друга покойного — Егудиила Деревянкина)

Десять лет...

Десять лет прошло со дня смерти певца сумерек, а он будто сейчас живой стоит перед нами.

С покойным писателем я был хорошо знаком.

Правда, таланты у нас были разного характера: я — весь в солнце, в красивой яркой жизни, Чехов — сумеречный, бледный, весь в блеклых полутонах...

Эта антитеза запечатлена даже самим Чеховым в надписи к его портрету, подаренному мне в одну из наших долгих бесед с покойником.

Вот эта надпись:

«Певцу яркого солнечного света и красивой жизни — от певца сумерек. Деревянкину — Чехов».

Как сейчас, помню тот светлый для меня день, когда я получил этот портрет...

Писатель работал: писал какой-то новый рассказ, но, узнав, что я приехал, моментально отложил работу.

Он очень любил такие неожиданные наезды друзей.

Бывало, сидит и слушает приятеля с каким-то загадочным выражением лица.

И серьезный же был человек — редко услышишь его смех: все больше мрачное настроение... Да оно и неудивительно: страшная болезнь подтачивала организм великого певца сумерек, о чем он знал из слов близких ему людей.

Особенно запомнилось мне одно посещение... Именно то, когда я получил от Чехова портрет с такой ценной для меня надписью.

Я долго тогда просидел у него... Писатель был в каком-то угнетенном состоянии духа, но долго не отпускал меня, и, когда я собирался уходить, все упрашивал: «Посидите еще пять минуточек». Однако вместо пяти минуточек мы провели в задушевной беседе несколько часов.

Тут же, помню, я дал ему сюжет его знаменитого «Дама с собачкой».

Маленькая подробность: на стене висел двусмысленно составленный плакат:

«Просят не курить».

Я говорю «двусмысленно составленный», потому что все-таки было неясно: можно в конце концов курить или нет?

Поэтому я несколько раз вынимал папиросу, но Чехов всегда в шутливой форме указывал на плакат, и я поспешно бросал окурок.

Мы долго потом смеялись над моей рассеянностью.

Вообще, в пылу разговора Чехов совершенно забывал, где он и что с ним.

Он был способен в задушевной беседе повести собеседника на мезонин, потащить его в сарай и даже очутиться в конце концов на сеновале, как и было однажды...

И вот — милая чеховская шутливость: на сеновале он вдруг, среди разговора, так зарылся в сено, что я насилу его нашел.

И так он мог шутить среди тяжелого, «нудного», как он любил говорить, настроения, среди приступов жесточайшего кашля!!

В это посещение я прожил у дорогого друга три дня, из которых большую часть провел у его постели (он тогда занемог и слег)...

И эта шутка с сеном была его лебединой песней. При моих последующих посещениях он уже не шутил, а угрюмо молчал, еле отвечая на вопросы...

Болезнь делала свое дело...

И вообще я нахожу все слова о его жизнерадостности сильно преувеличенными. Я иногда по целым неделям не расставался с ним и уж изучить-то характер покойного певца русских сумерек мог основательно...

Спи, дорогой друг... Там — свидимся.

ПРИЕЗЖИЙ СЕЛЬДЯЕВ

Посвящ. Ник. Серг. Шатову

Я прислушался...

Из передней донесся голос моей горничной:

— Барин дома, но очень занят.

Другой голос приветливо согласился:

— Ага... Так, так. Это хорошо. Ну, пусть себе занимается. Я мешать не буду. Доложите, что я хочу его видеть...

— Да барин занят. Пишет.

— Ну вот и хорошо. Наверное, какую-нибудь забавную вещь пишет. Скажите, что я хочу его видеть...

— Барин сказал, что его отрывать нельзя.

— Да я и не оторву. Ей-богу. Только десять минут. Желает, мол, видеть его Сельдяев. Он меня примет.

— А они сказали, что никого не будут принимать.

— Ну да. Вообще. А я Сельдяев.

Голос у него был кроткий, убедительный, как у человека, который погряз с головой в разных деликатностях.

— Не знаю уж, как и быть.

— Вы только скажите ему, что я из провинции.

Этого он мог бы и не говорить. Весь предыдущий разговор достаточно убедил меня в этом.

Я с силой бросил перо на письменный стол, вскочил, выбежал в переднюю и, заложив руки в карманы, отрывисто спросил:

— Что?

— Мамочка! — закричал он, умиленный.— Не узнает! Вот смехи-то... Сельдяева не узнал. Да какая же жизнь после этого... Дайте-ка я перво-наперво вас облобызаю.

Он привлек меня к себе, а горничная в это время стаскивала с его плеч шубу. Вышло так, что мы спутались в один странный комок, состоящий из горничной, Сельдяева, шубы его и меня.

— Простите, не узнаю,— пролепетал я, прижимая Сельдяева к сердцу.

— Сельдяева-то? Помните, вы в Армавире у нас читали лекции, а я зашел приветствовать вас от имени армавирского общества любителей таксомоторной езды. Еще после мы с Гугенбергом и Чихалиным вас на таксомоторе возили, город показывали. Кстати, знаете, Чихалин-то... Кинематограф открывает в Армавире!

— Что вы говорите! — деликатно поразился я.— Это неслыханно! Кто бы мог подумать... Эх, Чихалин, Чихалин... Не выдержала русская душа окружающей беспросветной мглы... Садитесь.

— Сяду. Я ведь вам мешать не буду. У меня только одна просьба: покажите мне ваш Петроград.

Я поглядел на Сельдяева; взглянул на неоконченную рукопись. Первый все равно не отстанет; вторую все равно окончить не удастся.

— Пойдем,— сказал я.

— А работа? Вы не беспокойтесь, пишите. Я минуточек пять подождать могу.

— Что вы! Тут работы часа на два.

— Ну, тогда, конечно, бросьте. Хе-хе... Сельдяевы не каждый день в Петроград приезжают. Верно?

— Пойдем.

Мы оделись и вышли.

* * *

— Вот это Невский проспект,— сказал я приостановившись, чтобы полюбоваться на его ошеломленное лицо.

Однако лицо его было спокойно, как морской залив в тихое летнее воскресенье.

— Невский?.. Так, так. Далеко тянется?

— Верст десять!

Я опять искоса взглянул на него.

— Десять? Так. Но это в обе стороны?

«Нет,— подумал я,— улицей его не удивишь. А что ты, голубчик, запоешь, когда увидишь Казанский собор?!»

— Это вот Казанский собор. Каково, а? Хотите внутрь зайти?

— Нет, зачем же,— пожал он плечами.— Собор как собор.

— Ну, не скажите... Колонны-то все-таки... Видали, какие?

— Да, серые. Сто штук будет?

— Что вы,— сказал я и хотел добавить «меньше», но потом решил ошеломить его: — Больше! Около трехсот.

— С каждой стороны или в общем?

Я резко повернулся:

— Пойдем.

Желание поразить этого человека пропало во мне. Я вяло водил его за руку и не менее вяло указывал вялым пальцем:

— Исаакиевский собор. Полтораста миллионов обошелся.

Сельдяев значительно поджимал губы и, подняв одну бровь, спрашивал:

— С землей или без земли?

— А это вот Нева. Видите?

Он перегнулся через перила и стал рассматривать реку так, будто бы хотел разглядеть какое-то насекомое, ползущее внизу.

— Это вот Нева и есть?

— Нева. Кажется, что не широка, а на самом деле обман зрения: пять верст!

Никакого изумления не отпечаталось на его лице.

— Ну, вода-то здесь, говорят, ядовитая,— задумчиво опершись о перила, промямлил он.

— Вода? Страшно ядовитая. На один кубический

сантиметр воды четыре миллиарда бактерий. Ежели нападут все вместе, человека растерзать могут.

— Так, так. А эта штучка там торчит — что это такое?

— Где?

— Вот эта. Кривая какая-то.

— Это — Троицкий мост! (Мы стояли от него в ста шагах.) Хорошая «штучка»!.. Одна постройка обошлась полтораста милл... (все равно!) миллиардов.

— Все-таки он металлический?

— А вы какой же хотели?

— Да нет, я так. Мне все равно. Металлический так металлический.

Я призадумался.

— Когда кессоны устанавливали, около трех тысяч народу погибло.

Это был единственный раз, когда он изменил себе, заметив:

— Ну, на такой большой мост неудивительно, что столько народу пошло.

Я сразу погас, потух, обессилел и побрел, еле перебирая ногами и неохотно влача Сельдяева за руку.

Были впереди еще — музеи, памятники, вся красота и мощь Петрограда.

Но — что это все Сельдяеву?

Я решил не церемониться с ним.

* * *

Мы шли по какой-то неизвестной мне узкой улице; я указал на серый двухэтажный дом и значительно сказал:

— Самый знаменитый дом в Петрограде.

— А что?

— Здесь Пушкин написал своего «Евгения Онегина».

— Пушкин? — переспросил Сельдяев.— Александр Сергеевич?

— Да.

— Он тут что же... всегда жил или так только... Для «Онегина» поселился?

— Специально для «Онегина». Заплатил за квартиру двадцать тысяч.

Печать холодного равнодушия лежала на каменном лице Сельдяева.

— Вы что же думаете,— сурово спросил я,— что прежние двадцать тысяч все равно, что теперешние? Теперь это нужно считать в пятьдесят тысяч!

— Гм... да! А он за «Онегина»-то много получил?

Я бухнул:

— Около трехсот тысяч.

— Ну, тогда, значит,— рассудительно заметил Сельдяев,— ему можно было за квартиру такие деньги платить.

Мы молча зашагали дальше.

— А вот этот дом — видите? Тут несколько лет тому назад произошла страшная драма: один молодой человек вырезал обитателей четырех квартир.

— Это сколько ж народу?

— Да около так... пятидесяти человек.

Он осмотрел фасад и спросил:

— В один день?

— А то как же?

— Этак, пожалуй, и не успеешь, если без помощников. За что же он их?

— Из мести. Они съели его любимую невесту.

Сельдяев качнул головой.

— Людоеды, что ли?

— Нет!! — отрезал я, дрожа от негодования.— Это был такой клуб, где ради забавы каждый день ели по человеку. И полиция молчала, потому что ей платили около трех миллионов в год.

— Рублей?

— Нет, фунтов стерлингов!!! В фунте — девять рублей шестьдесят копеек.

— Английские фунты?

— Да! Да!

Он улыбнулся краешком рта.

— Гм! Просвещенные мореплаватели...

* * *

— Стойте! Вот дом, который вас позабавит. Здесь помещается питомник полицейских собак. Есть тут одна собака Фриц, которая не только разыскивает преступников, но и допрашивает их.

— Овчарка? — спросил он, оглядев фасад.

— Черт ее знает!! Недавно захожу я сюда, а она сидит за столом и спрашивает какого-то парня: «Как же вы говорите, что были в тот вечер на Выборгской стороне, когда я нашла ваши следы на лестнице дома Гороховой улицы?» Так парень на колени: «Ваше высокородие! Не велите казнить, велите слово молвить!.. Так точно, повинюсь перед вами».

— Да, да,— сказал Сельдяев, шумно вздыхая.— Читал и я, что где-то в цирке показывали собаку, которая разговаривает; потом кошку... тоже. Показывали... которая разговаривает...

Я погасил искорку ненависти, мелькнувшую у меня в глазах, и сказал, хлопнув его по плечу:

— Так слушайте, что же дальше! Собака, значит, к нему: «А, так ты сознаешься?!» — «Так точно. Только вот что, ваше высокородие; так как говорим мы глаз на глаз, то разделимся по совести. Я вам бриллиантовые сережки отдам, что украл, а вы меня отпустите...» И кладет перед ней серьги. Собака только плечами пожала: «Куда мне они... Ведь всем ювелирам приметы и описание сережек разосланы. Попадусь еще... Есть у тебя рублей пятьдесят наличными — так дай. Тогда, черт с тобой, иди куда хочешь».— «Тридцать пять есть!» — «Ну ладно, давай, да сережки-то не здесь сбывай, а где-нибудь в Берлине или Дрездене!» Опустила деньги в карман, да прочь со стола.

Сельдяев выслушал меня, и в глазах его мелькнула тень интереса к моему рассказу.

— Да откуда ж у нее карман?

— Карман сюртука. Они ведь одеваются в форменные сюртуки. Шашка. Сапоги. Свисток. Жалованье одиннадцать рублей с полтиной.

Но Сельдяев снова погас. Взял меня под руку и спросил:

— Ну, а что тут у вас вообще в Петрограде интересного?

— Вы лучше расскажите, что у вас слышно в Армавире?

Он остановился, обернулся ко мне, и лицо его сразу оживилось:

— Да ведь я вам и забыл сказать; вот будете поражены... Ерыгина помните?

— Не помню.

— Ну как же. Так можете представить, этот Ерыгин решил ехать в Сибирь! Нашел в Иркутске магазин, который ему передали на выгодных условиях,— и переезжает туда... Не чудак ли?.. Что вы на это скажете?!

И он залился закатистым смехом.

— Господи Иисусе! Кто бы мог подумать! — воскликнул я и вслед за ним залился смехом.

Как это часто бывает, смеялись мы по разным поводам.

ПРИМЕЧАНИЯ

Мелочи жизни (стр. 13) — так называлась книга сатирических очерков М. Е. Салтыкова-Щедрина, вышедшая сто лет назад. Сейчас, через сто лет, мы повторяем это название и предпосылаем нашему сборнику отрывок из тех давних «Мелочей жизни», поскольку многое из того, о чем писал Щедрин, живо и в наше время.

Щедрин — современный писатель. Он современен всем временам. Через десять лет после смерти Щедрина его печатали «не без риска... получить цензурные кары» (Гиляровский), через двадцать лет после его смерти писали, что его не хватает русской литературе (Горький). И впоследствии не раз говорили, что литературе нужны Щедрины...

Такова была его посмертная жизнь: его отсутствие постоянно ощущалось и постоянно пугало его присутствие.

Смутно всюду, темно всюду...— Стихи принадлежат А. Мицкевичу («Дзяды», часть II) и даны в не совсем точном переводе. ...*туторов*...— Здесь: воспитателей. ...*концертов*...— Здесь: обозначение политических выступлений европейских стран. *Прелиминарии* — предварительные переговоры, подготовительные мероприятия.

Алексей Константинович Толстой
(1817—1875)

Поэт и драматург. Пьесы его до сих пор идут в наших театрах, поются его песни («Колокольчики мои...», «Средь шумного бала...», «Звонче жаворонка пенье...»), читается его роман «Князь Серебряный». Но особое место в творчестве А. К. Толстого занимают юмористические и сатирические произведения.

⟨Великодушие смягчает сердца⟩ (стр. 18).— По мнению одного из биографов поэта, высмеивает теорию непротивления злу. ...*совета*...— то есть Государственного совета.

История государства Российского... (стр. 20).— *Гостомысл* — новгородский посадник, призвавший,

по преданию, на Русь варяжских князей. *Тимашев* А. Е. (1818—1893) — министр внутренних дел. *И сделал нам Иордань...*— совершил обряд крещения. *Дидерот* — Дени Дидро (1713—1784). *Мальтийский кавалер* — кавалер ордена мальтийских рыцарей. *...Louis le Désiré* (Людовик Желанный) — французский король Людовик XVIII, возведенный на престол при содействии Александра I. *Veillot* (Велио И. О.; 1830—1899)— директор почтового департамента министерства внутренних дел, где тайно просматривалась корреспонденция. *Норов* А. С. (1795—1869) — государственный деятель, одно время министр народного просвещения. *Путятин* Е. В. (1804—1883) — адмирал и дипломат, бывший короткое время министром народного просвещения. *Головнин* А. В. (1821—1886) — министр народного просвещения после Путятина. *Панин* В. Н. (1801—1874) — министр юстиции. *Метлин* Н. Ф. (1804—1884) — управляющий морским министерством. *Брок* П. Ф. (1805—1875) — министр финансов. *Замятнин* Д. Н. (1805—1881) — министр юстиции после Панина. *Корф* М. А. (1800—1876) — управляющий II Отделением собственной императора канцелярии.

Сон Попова (стр. 32).— *К Цепному мосту...*— У Цепного моста (ныне мост Пестеля) находилось III Отделение. *Причинный казус* — неожиданная неприятность. *Лазоревый полковник* — жандарм (жандармы носили голубую форму). *Санкюлот* — вольнодумец, революционер. *Комплот* — заговор.

⟨М. П. Арнольди⟩ (стр. 43).— Обращено к давнему приятелю А. К. Толстого.

Козьма Прутков

Коллективный псевдоним Алексея Константиновича Толстого и братьев Алексея (1821—1908) и Владимира (1830—1884) Михайловичей Жемчужниковых, приобретший самостоятельное значение. Образ самодовольной и ограниченной посредственности, претендующей на мудрость и талант.

Разочарование (стр. 44).— Пародия на стихотворение Я. П. Полонского «Финский берег».

В альбом красивой чужестранке (стр. 46).— Пародия на стихотворение А. С. Хомякова «Иностранке».

Желание быть испанцем (стр. 47).— *Альгамбра* — крепость в Гренаде. *Эстремадура* — провинция в Испании. *Сьерра-Морена* — горный хребет в Испании. *Эскурьял* — город со знаменитым дворцом и монастырем.

Эпиграмма № II (стр. 49).— *Лизимах* — римский философ III в.

Плоды раздумья. Мысли и афоризмы (стр. 50).— *Метемпсихозия* — религиозно-мистическое учение о переселении души. *Терпентин* — смолистый сок хвойных деревьев.

Василий Степанович Курочкин
(1831—1875)

Поэт, редактор сатирического журнала «Искра», тесно связанного с революционно-демократическим движением в России.

Семейная встреча 1862 года (стр. 72).— *Российского весь блеск тысячелетья.*— В 1862 г. праздновалось тысячелетие России. *Жданов* Н. И.— изобрел средство от зловония («ждановскую жидкость»).

Великие истины (стр. 74).— *«La goguette»* — «La goguette ancienne et moderne» («Веселое застолье в старину и теперь» — фр.) — сборник французских поэтов-песенников (Париж, 1851). *Кач* — владелец петербургского универсального магазина, прославившийся своими рекламами. *Точек компрометирующих нет.*— Точками заменялись места, не пропущенные цензурой.

Дмитрий Дмитриевич Минаев
(1835—1889)

Псевдоним «Обличительный поэт» выражал сущность его творчества. Хотя поэт Н. Ф. Щербина острил по этому поводу, что «он «обличает» всех и вся, не обличая дарованья», дарование Д. Д. Минаева достаточно зарекомендовало себя не только в прошлом, но и в нашем времени. Поэт-демократ, начавший свой литературный путь в некрасовском «Современнике» и продолживший его в «Русском слове», «Искре», «Гудке» и других демократических журналах, Минаев не смог пережить смерти Щедрина — так высоко он ценил великого сатирика.

Сказка о восточных послах (стр. 76).— Написана в связи с приездом в 1862 г. японского посольства.

«Жизнь наша вроде плац-парада...» (стр. 77).— Пародия на стихотворение М. П. Розенгейма «Не вспоминай о бурном прежде».

Мотивы русских поэтов (стр. 77).— «*Мотив мрачно-обличительный*» — направлено против либерального «обличительства». «*Мотив слезно-гражданский*» — навеян, возможно, стихотворением Никитина «Горькие слезы». «*Мотив ясно-лирический*» — пародия на Фета. «*Юбилейный мотив*» — пародия на стихи Майкова и Розенгейма к юбилею Ломоносова. «*Мотив бешено-московский*» — пародия на стихотворение Бенедиктова «К отечеству и врагам его».

Эпиграммы (стр. 83).— *Тамберлик* Энрико (1820—1889) — итальянский певец. «*Сапожник*» — картина художницы О. А. Кочетовой. *Буренин* В. П. (1841—1926) — в первой половине 60-х годов поэт и журналист радикального направления; перешел в правый лагерь, был одним из основных сотрудников газеты А. С. Суворина «Новое время».

Леонид Николаевич Трефолев

(1839—1905)

Поэт. Жил в Ярославле, где редактировал газету «Ярославские губернские ведомости». Сатирические его стихи печатались в «Искре», «Будильнике», «Осколках». В то время о нем писали, что «он был и остался одним из рыцарей правды, неподкупным противником кривды». Таким он остался и в наше время.

Буйное вече (стр. 84).— *Гиперборея*.— Древние греки так называли расположенные на севере неведомые счастливые страны. Здесь имеется в виду Россия. *Вадим* — легендарный герой древнего Новгорода, предводитель народного восстания против князя Рюрика. *Устрялов* Н. Г. (1805—1870) — реакционный историк, профессор, автор школьных учебников. *Вашу братью гонят... через Вержболово...*— то есть высылают из России. Вержболово (ныне Вирбалис Литовской ССР) — железнодорожная станция на границе России с Германией. *Советов* А. В. (1826—1901) — видный русский агроном, автор многих трудов по сельскому хозяйству. «*Пчела златая!*» — первая строка стихотворения Державина «Пчелка».

Почему они поют о девах и розах? (стр. 91).— *Хромой Тимур* — Тамерлан (1336—1405), полководец, жестокий завоеватель, создатель государства со столицей в Самарканде.

Генерал Ерофей (стр. 93).— *Абшид* — отставка (нем. Abschied). «*Норма*» — опера итальянского композитора В. Беллини (1801—1835).

Действительный тайный советник Константин Петрович Победоносцев (стр. 95).— Стихотворение варьирует эпиграмму, напечатанную в «Вестнике «Народной воли»:

Победоносцев он — в синоде,
Обедоносцев — при дворе,
Бедоносцев он — в народе,
И Доносцев он — везде.

Победоносцев К. П. (1827—1907) — обер-прокурор синода, один из главных столпов реакции.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
(1826—1889)

По поводу «Сказок» Щедрина цензор докладывал: «То, что Салтыков называет сказками, вовсе не отвечает своему названию, его сказки — та же сатира, и сатира едкая, тенденциозная, более или менее направленная против общественного и политического нашего устройства... Сказки эти, появляясь по временам в периодических изданиях, постоянно возбуждают в наблюдающей за прессой власти сомнение в том, не следует ли их воспретить».

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил (стр. 96).— Самая ранняя сказка Щедрина. «*Московские ведомости*» — газета реакционера Каткова. «*Шекснинска стерлядь золотая*» — начальный стих оды Державина «Приглашение к обеду».

Обманщик-газетчик и легковерный читатель (стр. 108).— Прототипом газетчика является издатель «Нового времени» Суворин. *Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман...* — цитата из стихотворения Пушкина «Герой».

Вяленая вобла (стр. 111).— При жизни автора и долго еще после его смерти распространялась в нелегальных изданиях.

Орел-меценат (стр. 122).— Печаталась за границей, в России до 1906 г. распространялась в нелегальных изданиях.

Иван Федорович Горбунов
(1831—1895)

Писатель и актер, создатель жанра устных юмористических рассказов. Близкий друг А. Н. Островского.

Травиата (стр. 136).— «*Фру-фру*» — комедия Г. Мелья-

ка и Л. Галеви, одна из самых популярных пьес русского провинциального репертуара. *Аделина Патти* (1843—1919) — итальянская певица. *Канцеляри* — искаженная фамилия итальянского тенора Энрико Кальцолари (1823—1888).

⟨Т о с т г е н е р а л а Д и т я т и н а...⟩ (стр. 140).— Тост на обеде в честь И. С. Тургенева 13 марта 1879 г. *Дмитриев* И. И. (1760—1837) — поэт, занимавший крупные государственные посты, вплоть до министра юстиции. *Каченовский* М. Т. (1775—1842) — известный критик 20-х годов XIX в. *Михайловский-Данилевский* А. И. (1790—1848) — военный историк и писатель. *Закревский* А. А. (1783—1865) — московский генерал-губернатор, крепостник и реакционер. *Филарет* (1782—1867) — московский митрополит, ярый реакционер.

Николай Александрович Лейкин
(1841—1906)

Очень популярный в свое время писатель, автор многочисленных юмористических рассказов и сценок, редактор журнала «Осколки», в котором начинал свою литературную деятельность А. П. Чехов.

А й в а з о в с к и й (стр. 146).— *Кобургский* — Фердинанд I Кобургский (1861—1948) — князь Болгарский с 1887 по 1908 г. Способствовал усилению германского влияния в Болгарии. *Бисмарк* (1815—1898) — рейхсканцлер Германской империи в 1871—1890 гг. *Кальноки* (1832—1898) — министр иностранных дел Австро-Венгрии в 1881—1895 гг. Сторонник союза с Германией. *Шамиль* (1799—1871) — руководитель освободительного движения горцев Дагестана и Чечни. После сдачи в плен в 1859 г. был поселен в Калуге. *Баттенберг* Александр (1857—1893) — князь Болгарский, ставленник великих держав, глава созданного по решению Берлинского конгресса (1878) Болгарского княжества в 1879—1886 гг.

Виктор Викторович Билибин
(1859—1908)

Писатель-юморист и журналист, секретарь редакции, а после смерти Н. А. Лейкина редактор журнала «Осколки».

Антон Павлович Чехов
(1860—1904)

До того, как читатель узнал Чехова, он успел узнать и полюбить Антошу Чехонте — так подписывал Чехов свои короткие юмористические рассказы, которые печатал в «Осколках» и других изданиях на заре своей всемирной славы. Первым его печатным произведением было «Письмо к ученому соседу».

Н а г в о з д е (стр. 158).— Получив этот рассказ, Лейкин, редактор «Осколков», писал Чехову: «Это настоящая сатира. Салтыковым пахнет».

К а н и т е л ь (стр. 182).— Из рапорта цензора Верещагина начальнику Главного управления по делам печати: «Рассказ этот предназначен для публичного чтения на общественных концертах. Разрешить рассматриваемый рассказ к исполнению мне представляется неудобным, так как он осмеивает церковные порядки...» На рапорте резолюция: «Согласен».

У н т е р П р и ш и б е е в (стр. 192).— Цензор Сватковский докладывал: «Статья эта принадлежит к числу тех, в которых описываются уродливые общественные формы, являющиеся вследствие усиленного наблюдения полиции. По резкости преувеличения вреда от такого наблюдения статья не может быть дозволена». Комитет определил: «Статью к напечатанию не дозволять». В «Петербургской газете» рассказ был напечатан под названием «Кляузник».

Владимир Сергеевич Соловьев
(1853—1900)

Философ и поэт, сын известного историка С. М. Соловьева. Шуточная его поэзия сродни шуточной поэзии А. К. Толстого, ей свойственна та же романтическая ирония. Связь с А. К. Толстым видна и в его биографии: В. С. Соловьев подолгу жил в имении покойного поэта, питая дружеские чувства к его вдове и более глубокие — к его замужней племяннице.

Т а и н с т в е н н ы й п о н о м а р ь (стр. 210).— Пародия на романтическую балладу. *Стихарь* — часть торжественного облачения дьякона.

С в о е в р е м е н н о е в о с п о м и н а н и е (стр. 211).— Стихотворение написано в защиту Л. Н. Толстого от нападок церкви. Согласно библейской легенде, бог послал на землю *Моаб* за грехи жителей жестокую кару. Когда же царь Моаба попросил пророка Валаама проклясть врагов его земли, бог «затворил

уста» пророку, заставив его вместо проклятия благословить их, и «отворил уста» ослице Валаама, наградив ее даром речи. *Билеам* — Валаам. В стихотворении автор также обличает цензурные гонения.

⟨П а р о д и и н а р у с с к и х с и м в о л и с т о в⟩ (стр. 212).— Пародии включены в рецензию Соловьева на сборник «Русские символисты», вышедший под редакцией В. Я. Брюсова. Пародии предшествует цитата из брюсовского перевода стихотворения М. Метерлинка:

И под кнутом воспоминанья
Я вижу призраки охот,
Полузабытый след ведет
Собак секретного желанья.

«Быть может,— пишет далее Соловьев,— у иного строгого читателя уже давно «залаяла в сердце собака секретного желанья» — именно того желанья, чтобы авторы и переводчики таких стихотворений писали впредь не только «под кнутом воспоминанья», но и «под воспоминанием кнута»...» *Мандрагора* — корень растения «адамово яблоко», которому в средние века приписывалась плодотворящая сила. *Паникадила* — светильники.

Александр Алексеевич Измайлов (1873—1921)

Поэт, беллетрист и литературный критик. Особенно известен своими пародиями (в сборниках «Кривое зеркало» и «Осиновый кол»).

З. Г и п п и у с (стр. 215).— Пародия на стихотворение Гиппиус «Боль».

Н о в ы й в е к (стр. 215).— *Дульцинировало, альдонсировало* — словообразования от имени крестьянки Альдонсы, которую Дон Кихот называл Дульцинеей Тобосской. *Салтыковился... гневный смех* — смех сатиры Салтыкова-Щедрина. *Рамолизирует* — от слова ramolli (ф р.), означающего старческую немощь, близкую к слабоумию. *Санатолит, нафедорит* — от имен поэтов Каменского и Сологуба (Анатолий и Федор).

Александр Александрович Блок (1880—1921)

Поэт-лирик, А. А. Блок редко обращался к сатире. Но два его стихотворения («Поэты» и «За гробом») были напечатаны в «Сатириконе». Сатирические элементы встречаются и в других его стихах.

Окончательный вариант стихотворения «П о э т ы» датирован 1908 г., но первый его набросок сделан в 1903 г. Много событий произошло за это время в России, и одним из них была «куцая конституция», о которой говорится в стихотворении.

Влас Михайлович Дорошевич
(1864—1922)

Писатель-сатирик, публицист, очеркист, театральный критик. Один из самых остроумных юмористов начала века, стяжавший славу «короля фельетонистов». В младенчестве был брошен матерью и усыновлен московским приставом — единственный случай, когда постоянное стремление полиции воспитывать русских писателей дало положительный результат.

Г а м л е т (стр. 228).— *Крэг* (Крэгг) Эдуард Гордон (1872—1966) — английский режиссер и художник, в 1911 г. принимал участие в постановке трагедии Шекспира «Гамлет» на сцене Московского Художественного театра. *Станиславский* (Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938) и *Немирович-Данченко* Владимир Иванович (1858—1943) — основатели и руководители Московского Художественного театра. *Вишневский* Александр Леонидович (1861—1943), *Качалов* Василий Иванович (1875—1948) — артисты Московского Художественного театра. *«Собака садовника»* («Собака на сене») — комедия испанского драматурга Лопе де Вега (1618). *Сабуров* С. Ф. (1868—1928) — актер и антрепренер, в 1890—1893 гг. был управляющим труппой в московском театре «Эрмитаж».

Илья Маркович Василевский (псевдоним Не-Буква)
(1882—1938)

Писатель, автор юмористических, и не только юмористических, рассказов, исторических памфлетов, очерков.

В г л у ш и (стр. 233).— *...всеобщая, прямая, равная и тайная...*— лозунг избирательного права, которого добивался пролетариат: всеобщее, прямое, равное и тайное голосование. *Максималист* — член группы, возникшей в 1904 г. в партии эсеров. Основными методами политической борьбы группа признавала индивидуальный террор и экспроприации.

Б е з с м е х а (стр. 241).— *Бертело* Пьер-Марселен (1827—1907) — знаменитый французский химик, занимавшийся

синтезом органических веществ. *Эдисон* Томас Алва (1847—1931) — американский изобретатель в области электротехники. *Гомункулус* (л а т. homunculus — человечек) — искусственно созданное человеческое существо, упоминается в «Фаусте» Гете. *Карл Моор с братцем* — персонажи драмы Шиллера «Разбойники» (1781).

Тэффи
(псевдоним Надежды Александровны Бучинской; 1872—1952)

Писательница. В начале века печаталась во многих, в том числе и в большевистских, изданиях, впоследствии ее творчество целиком связано с «Сатириконом». С 1920 года — в эмиграции.

Бедный Азра (стр. 246).— В стихотворении пародируется ситуация стихотворения Гейне «Азр». Только действие происходит не у фонтана, а на Фонтанке и бедный Азра, которому дева предлагает свою любовь, тоже оказывается другим человеком. *Гороховая шуба* — вариант «горохового пальто», обычной клички полицейских агентов.

Проворство рук (стр. 247).— *...черной и белой магии...*— Магия — обряды, связанные с верой в сверхъестественное; белая связана с добрыми духами и святыми, черная — с «нечистой силой».

Корсиканец (стр. 253).— *Фигнер* Вера Николаевна (1852—1942) — революционерка-народница, двадцать лет провела в Шлиссельбургской крепости.

Когда рак свистнул (стр. 280).— *Астральный* — звездный, мистически связанный с небесными светилами.

Петр Петрович Потемкин
(1886—1926)

Поэт, драматург, беллетрист, литературный критик. Секретарь редакции и постоянный сотрудник «Сатирикона». Издал три книги стихов, первая из которых называлась «Смешная любовь», а последняя, «Отцветшая любовь», вышла в эмиграции.

Некоторые желания кузины моей Нюры (стр. 289).— Напечатано в номере «Сатирикона», посвященного 80-летию Л. Н. Толстого. *Чтоб громил он казни гневно.*— Толстой выступал против смертных казней в России.

Чтоб в церквах он проклинался...— За выступления против церкви Толстой был отлучен от церкви и предан анафеме. *Чтобы злу не противлялся...*— Речь идет о толстовской теории непротивления злу насилием.

У дворца (стр. 289).— *Дворцовый мост* — мост через Неву у Зимнего дворца. *Прачечный мост* — через реку Фонтанку, у Летнего сада.

Владимир Сергеевич Лихачев
(1849—1910)

Печатался в журналах «Будильник» и «Зритель», в последние годы был постоянным сотрудником «Сатирикона».

Аркадий Сергеевич Бухов
(1889—1937)

Словно оттого, что родился в год смерти Щедрина и Минаева, с успехом писал и прозу, и стихи. До революции активно сотрудничал в «Сатириконе» и других журналах, после революции — в «Крокодиле» и других журналах. В 1914 году, призванный в армию, был признан «политически неблагонадежным». В 1937 году был арестован, посмертно реабилитирован.

Вспомните! (стр. 293).— Напечатано в номере «Нового Сатирикона», посвященном 25-летию со дня смерти Щедрина. *Тимбукту* — древний город в Африке.

Владимир Васильевич Воинов
(1878—1938)

Поэт, прозаик, драматург, постоянный сотрудник «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». После Октябрьской революции работал в РОСТА, печатался во многих сатирических журналах.

Эхо (стр. 313).— *Съели марковские мыши октябристский катехизис.*— Вместо октябристов (конституционных монархистов) в Думе стали хозяйничать черносотенцы во главе с Марковым. *Пахнет порохом в Китае.*— Имеется в виду китайская буржуазная революция 1911 г. *Прогрессивные гучковцы* — октябристы, лидером которых был А. И. Гучков.

Николай Яковлевич Агнивцев
(1888—1932)

Автор юмористических стихов, эстрадных песенок и куплетов.

С к а з к а о т р е х н а б о б а х (стр. 315).— *Набоб* — титул мусульманских правителей в Индии.

Саша Черный
(псевдоним Александра Михайловича Гликберга; 1880—1932)

Поэт. Первый сборник его стихов — «Разные мотивы» — был конфискован. Во избежание ареста автор до 1908 г. скрывался за границей. Подробнее о нем — в предисловии.

«В с е в ш т а н а х, с к р о ё н н ы х о д и н а к о в о...» (стр. 317).— *Лейтенант Глан* — герой романа Кнута Гамсуна «Пан» (1894), охотник, одиноко живущий в лесной хижине.

В с е р о с с и й с к о е г о р е (стр. 318).— *Брахмапутра* — река в Индии. «*Месяц в деревне*» — пьеса И. С. Тургенева (1850).

Г о р о д с к а я с к а з к а (стр. 320).— *Леди Годива* — легендарная красавица, жившая в XI веке, героиня поэмы Теннисона «Годива». *У Калинкина моста* — на Фонтанке, рядом с венерической лечебницей.

К р е й ц е р о в а с о н а т а (стр. 324).— *Бигус* — тушеная капуста с мясом.

И с к а т е л ь (стр. 326).— *Гунияди-Янос* — горькое слабительное.

М я с о (стр. 327).— *Астарта* — финикийская богиня плодородия. *Шнель-клопсы* — биточки.

Ц е н з у р н а я с а т и р а (стр. 328).— *Шварц* А. Н. (1848—1915) — министр просвещения в 1908—1910 гг.

П е р е у т о м л е н и е (стр. 331).— *Пильский* П. М.— критик и фельетонист. *Вакс Калошин* — Максимилиан Волошин (1877—1932), поэт и художник.

В р е д а к ц и и т о л с т о г о ж у р н а л а (стр. 333).— *Позитивизм* — направление буржуазной философии; утверждает, что подлинное (позитивное) знание — совокупный результат специальных наук и не нуждается в какой-либо стоящей над ним философии. *Некто в сером* — персонаж пьесы Л. Андреева «Жизнь человека» (1906). *Флёр* — имеется в виду черный флёр — траурное покрывало.

Аркадий Тимофеевич Аверченко

(1881—1925)

Писатель, редактор журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», которых он был и основным автором. Подробнее о нем — в предисловии.

К о р и б у (стр. 350).— *Толмачев* И. Н.— одесский генерал-губернатор, жестокий самодур.

Тексты печатаются по изданиям: М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 16, кн. 1 и 2. М., Художественная литература, 1974; А. К. Т о л с т о й. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1963; Сочинения Козьмы Пруткова. М., Гослитиздат, 1955; Василий К у р о ч к и н. Стихотворения. Статьи. Фельетоны. М., Гослитиздат, 1957; Дмитрий М и н а е в. Избранное. Л., Художественная литература, 1986; Л. Н. Т р е ф о л е в. Стихотворения. Библиотека поэта (Большая серия). Л., Советский писатель, 1958; И. Ф. Г о р б у н о в. Избранное. М.—Л., Художественная литература, 1965; Писатели чеховской поры. Избранные произведения 80—90-х годов. В 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1982; А. П. Ч е х о в. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах, т. 1—6. М., Наука, 1974—1976; Владимир С о л о в ь е в. Стихотворения и шуточные пьесы. Библиотека поэта (Большая серия). Л., Советский писатель, 1974; А. И з м а й л о в. Кривое зеркало. Пародии и шаржи. СПб., 1912; Александр Б л о к. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 2. Л., Художественная литература, 1980; В. М. Д о р о ш е в и ч. Избранные рассказы и очерки. М., Московский рабочий, 1962; И. В а с и л е в с к и й (Не-Буква). Житейское кабаре. СПб., 1910; Т э ф ф и. Юмористические рассказы. СПб., 1910; Т э ф ф и. Человекообразные. СПб., 1910; Т э ф ф и. И стало так... СПб., 1912; Т э ф ф и. Дым без огня. СПб., 1914; Т э ф ф и. Неживой зверь. Пг., 1916; Т э ф ф и. Рассказы. М., Художественная литература, 1971; Русская стихотворная сатира 1908—1917-х годов. Библиотека поэта (Большая серия). Л., Советский писатель, 1974; Поэты «Сатирикона». Библиотека поэта (Большая серия). М.—Л., Советский писатель, 1966; А. Б у х о в. Такие неприятности. Пг., 1915; А. Б у х о в. Жуки на булавках. М., Художественная литература, 1971; С а ш а Ч е р н ы й. Стихотворения. Библиотека поэта (Большая серия). Л., Советский писатель, 1960; Аркадий А в е р ч е н к о. Чудеса в решете. Пг., 1918; Аркадий А в е р ч е н к о. Избранные рассказы. М., Советская Россия, 1985.

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Д. Минаев

Л. Н. Трефолев

М. Е. Салтыков-Щедрин

И. Ф. Горбунов

Н. А. Лейкин

В. В. Билибин

А. П. Чехов

В. С. Соловьев

А. А. Измайлов

А. А. Блок

В. В. Дорошевич

И. М. Василевский (Не-Буква)

Тэффи

П. П. Потемкин

В. С. Лихачев

А. С. Бухов

М 47 **Мелочи жизни.** Русская сатира и юмор второй половины XIX — начала XX в./Сост., вступ. статья и примеч. Ф. Кривина. — М.: Худож. лит., 1988. — 415 с. (Классики и современники, Рус. классич. лит.)
ISBN 5-280-00026—4

В сборник включены избранные произведения русской сатиры и юмора второй половины XIX — начала XX в.: сказки М. Салтыкова-Щедрина, рассказы А. Чехова, Н. Лейкина, В. Дорошевича, И. Василевского (Не-Буквы), Тэффи, А. Аверченко, А. Бухова и др., сатирические и юмористические стихотворения А. К. Толстого, В. Курочкина, Д. Минаева, Л. Трефолева, В. Соловьева, Саши Черного, П. Потемкина и др.

М $\frac{4702010100\text{-}136}{028(01)\text{-}88}$ 20-88 **ББК 84Р1**

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Русская классическая литература

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Русская сатира и юмор второй половины XIX—
начала XX в.

Составитель
Феликс Давидович Кривин

Редактор *С. Чулков*

Художественный редактор *А. Моисеев*

Технические редакторы *Л. Платонова, Н. Кошелева*

Корректоры *Н. Замятина, Т. Сидорова*

ИБ № 5181

Сдано в набор 22.05.87. Подписано в печать 20.11.87. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкнов. новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 22,26. Уч.-изд. л. 22,32. Тираж 3 000 000 (6-й завод 1 000 001—1 300 000) экз. Заказ № 999. Изд. № I-2709. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

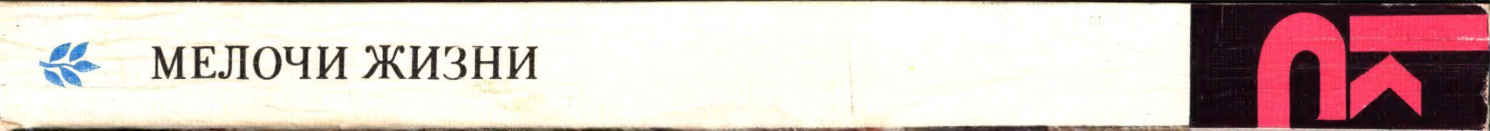
Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано во Владимирской типографии Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

1 р. 80 к.



Русская классическая литература




МЕЛОЧИ ЖИЗНИ